



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

4(16)'2015

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2016

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Петрусевичюте. Рахат-Лукум. <i>Стихи</i>	4
Одесса – Котгбус: Ефим Ярошевский. «В предчувствии нирваны...». <i>Стихи</i>	26
Одесса: Екатерина Янишевская. Перед воскрешением. <i>Стихи</i>	30

ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. 11. <i>Повесть</i>	35
--	----

ПОЭЗИЯ

Киев: Ирина Иванченко. Меж стрельцов и дев. <i>Стихи</i>	70
Санкт-Петербург: Елена Тихомирова. Беспокойная сердцептица. <i>Стихи</i>	73
Ташкент: Вячеслав Карижинский. Ante Noctem. <i>Поэма</i>	79
Киев: Елизавета Радванская. Сколько сил у твоей души. <i>Стихи</i>	85

ПРОЗА

Москва: Елена Черникова. Тысяча рублей. <i>Рассказ</i>	91
Одесса: Светлана Малыш. Ночь после премьеры. <i>Рассказ</i>	93

ПОЭЗИЯ

Петах-Тиква: Вадим Гройсман. Урок геометрии. <i>Стихи</i>	97
Одесса – Германия: Елена Рышкова. Подустанок, как забытый подиум. <i>Стихи</i>	102
Александров: Лев Готтельф. Путь дождя. <i>Стихи</i>	106

ПРОЗА

Москва: Александр Люсый. Активизм и меланхолия. Основные фигуры «Венского текста» русской литературы. <i>Очерк</i>	109
---	-----

«ФОНОГРАФ»

М.В. Цомакион. Эпистолярные прогулки у берегов Абсолюта... (<i>с предисловием Ст. Айдиняна</i>)	117
--	-----

«ОКОЕМ»

От редакции: «Провинция у моря – 2015». О фестивале. Часть вторая	140
Санкт-Петербург: Аркадий Ратнер. «Донна Анна, словно капелька росы...». <i>Стихи</i>	143
Нью-Йорк: Галина Ицкович. «Нечто иное, чем дым пожара...». <i>Стихи</i>	146
Киев: Тамара Синеева. Игра «белых мух». <i>Стихи</i>	150
Одесса: Анна Стреминская. «Облака говорят на санскрите...». <i>Стихи</i>	153
Москва: Леонид Подольский. Пленум ЦК. <i>Рассказ</i>	157
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. Смерть дело житейское. <i>Записки из реанимации</i>	165
Киев: Владимир Гутковский. «Если ты в силах остановиться...». <i>Стихи</i>	172
Москва: Александр Карпенко. В твоём саркофаге. <i>Стихи</i>	177
Киев: Владимир Каденко. «Уже проявляются даты...». <i>Стихи</i>	181

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Евгений Деменок. Хлебников и Одесса	185
Москва: Андрей Краевский. Беседа с небом на ты	190
Курск: Александр Бубнов. Велимир Хлебников в «исполнении» Петра Митурича	213
Москва: Надежда Перцова. О рукописи Хлебникова «Слова разговоров»	219
Нью-Йорк: Хенрик Баран. «Сверхповесть» Хлебникова «Дети Выдрь»	227

«ШКАФ»

Симферополь: Марина Матвеева. Гармония контрастов. Рецензия	239
Москва: Станислав Айдинян. О поэзии Елены Ивановой-Верховской. Рецензия	242

«АВИАРИЙ»

Одесса: Сергей Главацкий. Перевод с римского	244
Одесса: Геннадий Тарасуль. Ave Maria	246

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

РАХАТ-ЛУКУМ цикл стихотворений

На Итаку вернись, Одиссей, потому что темно на Итаке.
В доме тесно, и люди сидят за накрытым столом.
Одиссей, посмотри – разве это узилище – *дам?*
Это зал ожидания смерти. И воют собаки.
И грызутся собаки у ног захмелевших гостей,
Вырывая куски пожирнее гостям на забаву,
Добывая себе в поединках награду и славу...
Полно, кто там рычит и грызётся? – Взгляни, Одиссей.

Разогнать эту свору, и вымыть до блеска полы,
И впустить тишину, Одиссей, в полусонные своды,
И узнать, наконец, что такое границы свободы,
И опять распустить на полотнище брачном узлы.

Скажи мне, скрипка, что в тебе такого,
Чего не передаст ни кисть, ни слово,
Чем не владеют скульптор и поэт,
Чего вообще нигде на свете нет?
Скажи мне, скрипка, как огонь и ветер
Смогли ужиться в деревянной клетке,
Меж хрупких рёбер в гулкой глубине,
Как в раковине полой – и во мне?
Из уст в уста, подобно поцелую,
Ты жизнь мою передаёшь живую.
Подобно сердцу в деревянной клетке
В тебе дрожит и мечется бессмертье.
И если смерти нет, и нет печали, –
Тогда о чём же плачешь ты ночами?

Последняя осень в Париже. Прозрачное небо,
Покатые крыши и город, в котором ты не был,
Рисованный тушью, – пастелью, – да нет, – акварелью –
Как властно зовёт он тебя, как он любит и ждёт;



Сирена, сирена – из пены сознания, небыль,
Поднявшись по пояс над водами Леты иль Сены,
Он тянет ладони к тебе, но скрывает колени,
И где-то вдали Пенелопа иль Клото прядёт
Стальную упругую тонкую нитку-дождинку,
Удавку железную – нет, ариаднину нить.
Он жаждет тебя притянуть, защитить, закружить.
А серая нитка ведёт на лесную тропинку.
Прозрачная осень. Бесплотный заплаканный лес.
Тропы не касаясь стопами, стоишь на опушке,
И слушаешь лепет дождя, и далёкой подружки
Ты слышишь такую знакомую звонкую песнь.

Холод ночи и час оправдания худших поступков,
Самой горькой печали, глухой беспробудной тоски.
И пустые глазницы пустых сожалений близки,
И бессонные очи сомнений особенно жутки.
Где-то там, на песке, львиногривый рокошет прибой,
И ладонь моя ищет тебя в темноте, и находит,
И гудит вдалеке одинокий ночной пароходик,
Чтобы нам никогда не пришлось расставаться с тобой.
Чтобы нам никогда не пришлось у ночного окна
Заходиться отчаянным криком и плачем беззвучным,
Мы друг друга научим теплу и молчанью научим,
И она не найдёт нас, и вновь промахнётся она.

Предчувствие падения страшнее
Падения. Предчувствие – страшней.
А после кто-то дует на коленку
И говорит: ну не реви, не надо,
Уже не больно, видишь, всё в порядке,
Уже не больно, видишь, обошлось,
И я с тобой. О, кто тебя согреет,
В стальной груди стальной зимы? Согрей
В ладони тёплой часовую стрелку
Дрожащую. Вечерняя прохлада
За шкуру лезет, и уходит в пятки
Душа, и мёрзнет, мёрзнет волчий хвост.

Но я с тобой. И всё гораздо проще,
Чем чаялось три месяца тому.
Мы пережили долгую чуму,
Мы перешли заснеженную площадь,
Мы в дом вошли, и стали жить в дому.
Чего же больше? Друг мой, почему
Я не могу поверить в тишину,
И тишина мне кажется затишьем?
Найдя покой, чего ещё мы ищем?
Зачем нам кажется, что мы в плену,
А с ветки падают на скатерть вишни...



Посмотри – я совсем седой,
У меня уже нет сил.
Я ходил за живой водой,
Да видать, не туда ходил.

Я искал золотой лес,
А нашёл нежилой дом.
Я всё время бродил здесь,
Всё откладывал на потом.

Это ты – золотой лес,
Ты – моя живая вода.
И когда-нибудь – Бог весть,
Может быть, уже никогда, –

Серый волк меня унесёт,
Заметая хвостом путь.
И царевна меня ждёт.
Я сокру ей чего-нибудь,

И вернусь – босиком – к тебе,
И приду – налегке – туда,
Где шумит золотой лес
И поёт живая вода.

С недавних пор, мой друг, мне всё трудней дышать.
Нехватка воздуха, и недостаток сил.
И тесный круг заброшенных могил,
И голосов лепечущая рать –
Со мной, во мне, снаружи и вовне.
Слушаются пространства, времена,
Опять идёт Троянская война,
И дело не в Елене, а в войне.
Война не кончится, Елена не умрёт,
Ахилл восстанет и пойдёт в атаку,
И Одиссей вернется на Итаку,
И повторится весь круговорот.
И снова ты вдохнёшь мне в губы жизнь,
И скажешь: ангел мой, душа моя, держись.
Пока идёт Троянская война,
Душа моя, Елена жить должна.

С недавних пор, мой друг, я задыхаюсь.
Нехватка воздуха. И всё трудней вдохнуть.
Какая-то усталость вяжет грудь.
Какая-то усталость. Или слабость.



И в воздухе разлит холодный яд.
 ...О, помнишь ли в июне снегопад
 И град над ошалелою Москвой,
 Раздавленной немыслимой жарой?
 Как нам легко дышалось век назад!
 И всё тонуло в розоватой дымке,
 В июньское стекло стучали льдинки,
 И мыслилось как бы сквозь молоко.
 Легко дышалось, и жилось легко.

И мнилось: эта легкость навсегда,
 Открыты города и поезда,
 А время и пространство иллюзорны.
 Реально небо, и реальны волны,
 И дремлющие рыжие холмы,
 И нет зимы, разлуки и войны.
 И это было ложью, и сбывлось,
 Сто лет спустя исполнилось всерьёз.

Я задыхаюсь, в жилах бродит яд.
 Сижу в траве, зажав руками рану.
 Я здесь умру, но быть не перестану.
 Смешай нам кровь и соверши обряд.

О.М.

Я хочу быть тобой. Понимаю, что всё уже было.
 Я хочу твоё тело примерить, как старый пиджак,
 А потом на ресницах, на вдохе тебя удержать,
 Привести в равновесие твердь и дневные светила.
 Ощутить твою силу и слабость хотя бы на час,
 Хоть на час, да прозреть, чтобы мир опрокинулся ливнем,
 И узнать его – горьким, желанным, безумным, любимым,
 И вдохнуть его, и захлебнуться им – здесь и сейчас.
 Хоть на день, хоть на час дай мне очи свои напрокат,
 И гортань, и ещё сокращение мышцы сердечной,
 И язык – хоть на миг – чтобы вымолвить-вымолвить вечность,
 И отдать её снова за этот внимающий взгляд.

Мы погибли в дороге. Куда и откуда мы шли –
 Больше некому помнить. И, в общем-то, некому плакать.
 Мы забыли отчётливый запах раскисшей земли,
 Этот хлипкий снежок, эту робкую первую слякоть.
 Мы забыли дорогу и боль, и последний испуг,
 И глаза наши слепо уставились в мёрзлое небо,
 Но когда годовой над моей головой совершается круг,
 Я прошу ледяными губами горячего хлеба.
 Я прошу ледяными губами горячей земли,
 И щепоть пересоленной горькой рассыпчатой глины,
 Чтобы вспомнить, кого на земле называют любимым,
 Чтобы вспомнить, кому на земле не хватило любви.



ПБ.

Люблю тебя. Мой мир тобой наполнен –
И вдох, и выдох, и вода в горсти.
Усни, любимый мой. И отпусти
Холодный снег на землю с колоколен.

Холодный снег, и стаю белых птиц,
Кружащихся над лабиринтом зданий.
Ты создаешь миры своим дыханьем,
Едва взглянув на них из-под ресниц.

Ты создаешь гармонию и строй
Из хаоса и слёз, из тьмы и тени,
Из путаницы страхов и сомнений
Ты создаёшь жилище нам с тобой.

Я сплю в ковше твоих прохладных рук.
Как спит зерно в земле, ядро в орехе,
А снег летит, летит с небес в прорехи,
А снег летит, и замыкает круг.

Играет музыка, и ночь идёт по кругу,
Как едет карусельная лошадка,
Как вертится пластинка. Дай мне руку –
Во времена всеобщего упадка
Честней стоять на звуковой дорожке,
Чем егозить, опережая скорость.
Пластинка треснула. Реальность раскололась,
И в трещину вползла сороконожка,
Нелепо, неуместно – как в кино
Усами, лапами, хвостом и длинным жалом
Нас напугав до дрожи, убежала
И было и противно, и смешно.

Реальность сломана. В разломы лезет страх
И клочьями сползает оболочка,
Бежит по краю дыр кривая строчка
И остаётся пылью на губах.

Тает ночь. Умирает голос.
Кто-то держит в руках весло.
Мы, похоже, вступаем в область,
Где теряет себя Число.

Ничего не значит пространство,
Время – звук, и притом – пустой.
В кулаке зажато лекарство –
Гладкий камень, гольши простой.



Он – спрессованная реальность,
Он архив, и он – концентрат,
И последнее, что осталось
Для убитых в бою солдат.

Словно в яблоке скрыто царство,
В нём пружиной свернулась жизнь,
Чтобы в нужный момент взорваться
И на мёртвых устах остаться,
Обретя напоследок смысл.

в самом деле – пустая забава, игрушка, безделка,
согревать своей кровью и жаром живого дыхания
вещный мир – разноцветный конструктор, кирпичное здание,
из упрямства не глядя на злую дрожащую стрелку

согревать эти веточки, нити в озябших ладонях
оживлять паутину и хаос травы, чтобы струны звучали
каждый кубик игрушки, не стоящий нашей печали,
каждый винтик машинки, изломанной в детских погонях

оживлять, обживать уголок позабытой вселенной,
находить не гармонию даже, а метрику ритма,
что подспудно течёт по ветвям, потаённо и скрытно,
что тантся в подсоленной крови на уровне генов

Не лес, не море. Глиняные склоны.
Моя нора. Убежище и дом.
Сегодня шторм. Грохочут за холмом
И сотрясают звук седые волны.

Здесь только ветер гнёт к земле траву
И пахнет мёдом и вишневым цветом.
Жизнь обернулась непрерывным летом,
И только этим летом я живу.

Среди тяжелых пчёл и медуниц
Мой хлеб просолен чёрным ветром с моря.
Шепчу слова, наречьям листьев вторя,
И узнаю в лицо крикливых птиц.

Я здесь останусь камнем у воды
И ящеркой весёлой на обрыве –
И всё-таки собой. Пока мы живы,
Ты будешь находить мои следы.



В этом холоде, лягзе я слышу то флейту, то скрипку.
Отзовись, улыбнись, Виолина, фонарик на нитке,
Перевертыш, Виола, серебряный паж, колокольчик,
Разноцветный, смеющийся шарик, пушистый комочек.

То ли в горле, а то ли в груди ты щекочешь и дразнишь,
То касаешься сонно мерцающих в сумерках клавиш,
То смеяшь, пробегаешь дощатой верандой на дачу.
Я не плачу, Виола, гляди, – я пока что не плачу.

О, зелёное мокрое яблоко, пасмурный август,
Перекрученных веток и листьев задумчивый хаос.
Вечера всё прохладнее. Кофту надень. Подбирается ветер.
Как фонарик на нитке, зелёное яблоко светит.

Как стрелы в плоть святого Себастьяна,
Безжалостно нацелив остря,
Вонзаются секунды в тело дня,
И каждый миг кровотоцит, как рана.
Трепещет, истекая болью, миг.
Возьми его, как светлячка, в ладонь,
Как в чистый Четверток несут огонь,
Неси его домой в горстях своих.

Пусти его по венам, как иглу,
И через сердце пропусти, как нить.
Не удержать сумеи, но сохранить
Живой огонь, не мёртвую золу.

Не мёртвую безжизненную плоть,
А эту боль и радость бытия
Храни в горсти, душа и жизнь моя,
Храни живой воды живую горсть.

О музыка, молчи – тебе бы только лгать,
Из тысячи причин упрямо выбирать
Единственную нить, ведущую на свет.
Пусть лабиринта нет, и света тоже нет.

А нить ведёт неведомо куда.
Но два крыла не ведают стыда,
Вздываясь, и сияют обнажённо,
И ясный свет струит их нагота
Так откровенно вверх, так напряжённо,
Что кажется доступной высота.



И словно бы ладонь сквозь времена
Протянута – бесспорно и открыто,
Чтоб вывести на свет из лабиринта.
Прощается вина. И спит война.

Что скажет мне сегодня собеседник,
Мой со-бесенок, теневой посредник,
Шалун зарёванный, двойник, дитя, сверчок,
Из-за стекла казавший язычок,
Стрелявший угольками ярких глаз –
Вот он хихикнул, и огонь погас.

Два слова утешенья и надежды
О том, что будет, и что было прежде.
Два слова оскорблений и угроз –
С такой досадой и почти всерьёз.
А после – непрерывный монолог,
Сплошным абзацем, без разбивки строк:
Смеясь, бранясь, грозя, благословляя,
Сожжённые ладошки подставляя,
Колотится в стекло с той стороны,
Ломаясь в реальность. Ну, хотя бы в сны.
И прорывается в прямую речь,
Чтобы дыхание в слова облечь.

Ослепительно-рыжий, гнедой, золотой,
Конь мой, солнечный конь, ну, куда мне с тобой,
Вперемежку меж явью, забвеньем и тьмой,
Между ритмом и криком, меж днем и огнём
Мы проходим по узенькой кромке вдвоём.
Мы проходим след в след по цепочке планет,
Где ни прошлого нет, ни грядущего нет.

Уведи меня, конь, разреши мне уйти.
Рвутся нити, обрывки зажаты в горсти.
Перекрыты пути, перебиты мосты,
И дома опустели, и руки пусты.

Это сон, или может быть, это игра.
Мы по кромке уходим *сейчас* из *вчера*.
И песок обретает реальность для нас,
Засыпая вчера, просыпаясь сейчас.

От вечерней зари до рассветной зари
Польхали за городом монастыри
И скользили беззвучно по рыжей земле
Тени птиц, приносящих огонь на крыле.



Полыхали огни, и кружили в ночи
 Остроклювые тени, стальные грачи.
 Над распаханной глиной, над пашней немой
 Пахло гарью и копотью, пахло золой.

И безумный художник метался в полях
 И взахлёб рисовал свой отчаянный страх,
 Пеплом, сажей, углём, ржавым краем монет,
 На больничном белье, на обрывках газет.

Хлопя сажки летели, как стая грачей
 Над сожжённой землёй, над деревней ничьей,
 Над безлюдной дорогой вдоль мёртвых оград.
 И никто никогда не вернулся назад.

Я знаю уход из-под стражи,
 Задетый осколком рассвет.
 Бежит электричка в пейзаже
 По целому ряду планет.

И тот, кто жизнь свою, как ягоду с куста,
 Снимает, и рука его пуста,
 Поймёт и мой побег, и немоту,
 И вкус железа в пересохшем рту.

Сними, как ягоду, свой недоспелый день,
 Сожми губами, вздрогни от ожога,
 Как ягоду с куста, сними до срока
 И ветку, словно женщину, раздень.

Нагую и дрожащую, возьми
 В свои ладони тоненькие пальцы
 И постарайся навсегда остаться
 Там, где алеют ягодами дни.

То ли кутаться в ткань бытия, то ли рвать покрывало,
 То ли глохнуть, закрывшись рукой, то ли плакать устало,
 То ли корчиться под остриём раскалённым стрекала,
 То ли падать в дорожную грязь, чтоб не видеть оскала.

Снег идёт в этом доме, летит с потолка, невесомый,
 И не тает, ложась на паркет, и лежит на устах.
 Это сон; и не в наших краях, и не в этих местах
 Кто-то будет сидеть у окна, неживой и бессонный.

Онеметь, онеметь – превратиться в горячечный взгляд,
 Лихорадочный, жадный, несытый, больной, ненасытный.
 И пока от меня этот мир горстью глины засыплют,
 Всё глядеть и глядеть, как взахлёб перед смертью глядят.



И лето, которое бродит за мной анфиладами комнат,
Которое ищет меня в темноте, и наощупь находит,
Которое ждёт меня на перекрестке, как платный убийца,
Оно уже близко. Оно неизбежно стучится.

Не с нами, так с кем-нибудь произойдёт непременно,
Взорвется гранатой, ворвется бежавшим из плена,
Обнимет с размаху, прижмётся сухими губами,
Во сне, наяву, навсегда, с кем-нибудь или с нами.

Мне нужно вдохнуть, обжигаясь, твой бешеный август,
Как пламя вдыхают, чтоб выжечь заразу и слабость,
Как залпом глотают сто грамм и уходят в атаку,
Как разом срывают одежду, как всходят на плаху.

О лето, возьми мою жизнь, но верни мне свободу
И право быть слабым и гибким в любую погоду,
Верни мне свободу любить и остаться любимым
И право рассыпаться рыжей просоленной глиной.

Когда любила я тебя, Гийом,
В кафе сидели часто мы вдвоём,
И я спала, не закрывая глаз.
И долгий день был, как единый час.
И помнишь – ты во мне искал опору?
Когда входил ты в сумрачную пору –
Я приносила свечи и коньяк,
И в хаосе исчерканных бумаг
Искала снова музыку и слово,
И находила вдох и выдох. Шаг
С одной ступени на ступень иную
Подобен не прыжку, но поцелую,
И переходу к близости иной.
Ты помнишь эти дни перед войной?
И слепота в те дни была подарком,
И благом – смерть. В огне её неярком
Сгорали города и корабли,
А мы глядели, словно с тёмной башни,
Как древний сфинкс из тьмы глаза тарашил,
И наглядеться не могли...

Это вывих. Как больно растянуты гибкие связки!
Хромота – немота, и ни звука, ни шагу, ни дня.
Если можно – сегодня ещё пожалейте меня.
Если можно – сегодня позвольте уйти без опаски.



То ли в лоб, то ли в спину – пока ещё не решено.
И прекрасно, что не решено – я ещё погуляю
По осеннему лесу, по стылому серому краю,
Погляжу на растрёпанный дождик в ночное окно.

Я люблю тебя, щит и крыло, и опора моя.
Ты мой лес, я найду в тебе тысячу тайных дорог.
Я уйду с облаками, уйду поутру на восток,
Где у раны на резком ветру багровеют края.

Чутко, сторожко глядишь в темноту,
Хищная кошка, солдат на посту.
Кто-то идёт по ночному двору.
Может, отпустит тревога к утру.

Ты не уснешь. За окном тишина
Мягко крадётся сквозь заросли сна,
Лезет в окошко, за дверью стоит,
С лампы свисает, что твой сталактит.

И – между нами – хранится тепло
(Оледенело, замерзло стекло,
Ночь в январе, снег лежит на дворе,
Холодно в доме и в мышьей норе).

Холодно всюду – снаружи, извне,
Снег на ступеньках, на крыше, на дне,
Снег на асфальте – на нём ни следа.
За ночь в стакане замерзнет вода.

Холодно всюду, и только у нас
Теплится пламя. Светильник погас.
Теплится пламя меж створками век.
Теплится жемчуг. И падает снег.

Как мы, глухие, в том январе улыбаться учились,
Просыпаясь, глядели в окно на ночной снегопад.
Жизнь меняла обличье. Грядущее шилось на вырост
И по белому снегу кроилось на глаз наугад.

Эти чистые-чистые свежие с хрустом рубахи.
Хоть на свадьбу, хоть в гроб, хоть на плаху, а хоть на престол.
Мы глядели в окно и смеялись, а мелкие страхи
Расшивали рубахи узорчатым мелким крестом.

Так нарядно, так празднично было, и так непривычно.
И хотелось поверить, и боязно было глядеть.
Жизнь меняла обличье, и время ловило с поличным
Разбросавших на ветер шальную счастливую медь.



Стервозные девки, сестрички мои, идиотки,
Кривляки, ломаки, стрекозы, мартышки, гюрзы,
Стихи сочиняя во власти любви и пшизы,
Зачем мы со всякой покупки сдираем обёртки?

И сразу съедаем конфету, зачем не храним?
Зачем про запас, напоследок не прячем конфету,
Зачем бестолково по белому мечемся свету,
Как будто ведёт нас по свету слепой херувим.

Крылатый вожатый смеётся, подставив ладонь
Под медленный дождик медовый, под медные капли.
Остынут слова, и о нас будут ставить спектакли,
Остынут слова, и останется скрытый огонь.

Тобой закрываюсь от смерти –
Щитом, а вернее – крылом.
По улице мечется ветер
И ломится, ломится в дом.

Шатается по переулкам,
Бросается из-за угла,
И в воздухе медном и гулком
Качаются колокола.

Два медных крыла, мой любимый,
Раскинь над моей головой.
Вода не бывает сладимой,
Вода не бывает водой.

Где ночь обнимает за плечи
Немую кликушу – луну,
Шатается сумрачный ветер,
И вечер уходит ко дну.

Сквозь толщу стеклянного света
Уходит на тёмное дно.
Останься со мной до рассвета.
Смотри – ещё очень темно.

Птичьи мосты над Парижем,
Живые мосты.
Что мы сегодня услышим,
Что разглядим с высоты?
Крышами, облаками
Мы пробегает вверх,
Ласточкиными мостами
Сквозь череду прорех.



Мы пробегаем смело
 Над лабиринтом крыш.
 Сверху летит фанера,
 Снизу лежит Париж.
 Как тебе в этом небе?
 Лучше, чем на земле?
 Кажется, мы ослепли.
 Видимость на нуле.
 Как мы бежим навстречу
 Сквозь толпу облаков.
 Там, над Парижем, – вечер.
 Здесь, наверху, – любовь.

И с тех пор мы узнали, как людям живётся вдвоём,
 Поверяя друг другу печали, с тех пор мы живём.
 Согревая друг друга всем телом, живём в тишине
 И уже не боимся ни стука, ни взгляда извне.
 Прирастая друг к другу, тела прорастают насквозь,
 Постигая науку ответа на скрытый вопрос,
 Постигая науку тепла и урок тишины,
 Мы уже научились заглядывать в тёмные сны.
 Если я заблужусь наяву в чёрно-белой стране,
 Ты найдёшь меня сразу во сне или в ближнем окне.
 Ты отыщешь меня, и за руку назад приведёшь
 Сквозь ночной снегопад, сквозь бессмысленный ласковый дождь.

И ты был мой, как сон: не поделить, ни взять,
 И не пересказать обычными словами.
 Мы жили сном, состав гремел над нами,
 По гулкому мосту, гремел опять.
 Вагоны уходили в никуда
 И грохотали новые вагоны,
 И, словно ошалелые вороны,
 Летели вслед за ними города
 Кусками льда. Поутру стыли лужи,
 И только-то тепла, что в кулаке.
 Мы прятались у Вечности в руке
 Храня друг друга от январской стужи.

В час тёмной радости моей
 Забудь про светлые печали.
 Нам будет холодно вначале,
 Но с каждым мигом всё теплей.
 Кузнечик мой зажжёт в ночи фонарь.
 Он светлячок, фонарик, он фонарщик,
 Закутанный в прозрачный летний плащик
 Ночной державы славный государь.



Ночной империи бессмертный бог,
Для нас творящий темноту и звёзды,
Он для кого-то был ужасно грозным,
А нас с тобой лелеял и берёт.

не выбирай себе обличий
и не выдумывай лица
меня зовёт твой голос птичий
голодный жадный писк птенца
тоскливый резкий журавлиный
усталый сумрачный ночной
и в небе силуэт совиный
беззвучно в метре надо мной
зови меня люби меня кричи мне
по имени оклики на лету
и я приму тебя в любой личине
и с края света я к тебе приду

...И ветер сбросит со стола
Буханку хлеба и бутылку молока.
Был душный летний вечер. Ты пришла,
Укутав плечи крыльями платка.

Сказала: будет дождь. Твоя рука
Белела в сумерках, и молоко белело,
И стало ясно, как непрочно тело,
И что любовь моя, как смерть, крепка.

Прохладой веяло от ясного чела,
Покоем веяло от тихих рук и речи.
И стало ясно, что такое вечность,
И что у вечности два шерстяных крыла.

Ещё одна невестрача. Добрый вечер.
Платком укутав зябнущие плечи,
Проходит гостя в комнату мою.
Садится у стола, глядит покойно.
А в комнате светло, и дышится привольно,
И знаю я, что я ещё живу.
А дом стоит у мира на краю.

Я взять хочу живую боль твою,
И пронести хотя бы до подъезда,
Как сумку помогают донести,
Как раненого поят из горсти
Водой солёной с привкусом железа,



Как делят хлеб дорожный, разломав,
 Как слушают попугчика в вагоне,
 Как давятся слезами на перроне,
 Вцепившись молча намертво в рукав.

Тот город был пустым и разорённым,
 И в нашем доме не было стены.
 Сбывались сны. Болтали болтуны
 О временах проклятых и речённых,
 И падал снег, и капал с потолка,
 Подтаявший, и промокали книги,
 И плёл паук в углу свои интриги,
 Их расплетали пальцы сквозняка.
 Ладонь земли, открытая для всех,
 Не закрывала нас от взгляда неба.
 А нам казалось, что оно ослепло,
 И вместо слёз роняет первый снег.

...во сне моём летел щеглёнок
 по тёмным комнатам к раскрытому окну.
 И было радостно – не знаю, почему, –
 Мне снилось, будто ты ещё ребенок,
 Навстречу мне по комнатам бежишь –
 Такой смешной, и перемазан краской –
 Как медвежонок, и глядишь с опаской.

Мне снилось, будто ты ещё малыш.
 На руки взять, на ухо нашептать,
 Обнять, целуя в щеку, и пригреться,
 И спрятать твоё детство в своё сердце,
 Проснуться рядом, и уснуть опять.

Искать себя, найти себя, расстаться
 С собой, и вновь искать себе лицо,
 Среди живых и среди мертвецов,
 Меняя маски юноши и старца,

Меняться, как вода, как зеркала,
 Собою наполнять живую форму,
 Зверьком трусливым, юрким и проворным
 Выглядывать из тёмного стекла,

И узнавать себя в чужих словах,
 Свой взгляд ловить на незнакомых лицах,
 И находить себя в летящих птицах,
 И вновь терять себя в чужих устах.



И вырванное с корнем прорастает
Корнями сквозь ладони – снова в грунт
Вгрызается. О, роста тяжкий труд,
Гораздо проще улететь со стаей,

Оставить страхи где-то позади,
Заглатывая жадно высоту,
Взбегая вверх по птичьему мосту,
Полнеба развернуть в своей груди.

И захлебнуться небом в полный рост
До темноты в глазах, до боли в венах,
И рухнуть вниз, и грянуться о землю,
И над собой увидеть птичий мост.

Я не понимаю, о чём говорю.
Эпохи дитя, я войны не боюсь.
И не по плечу мне обыденный груз
Из двух похоронок за год на семью.

Окопов рытьё и проклейка окон
Газетной бумагой на случай стрельбы,
Поход на слободку с утра по гробы,
Кривящие рожу часы, зеркала –

Мой мир перевернут, и в сетке окна
Не страх, не тоска, – только жадность и страсть, –
Поглубже вдохнуть, захлебнуться, упасть,
В последние дни надышаться сполна.

Пусть болтают слепые ловцы простаков
О неволчьем уделе твоём.
Слишком часто мы видели мёртвых волков,
Мы по горло набиты враньём.
Человек человеку эпоха и мор,
Человек человеку ловец.
Ты по крови был волк. Ты по крови был вор.
Ты по крови итенец и певец.
Из заветных углов серебристую тишь
Воровал ты у всех на виду.
Ты повадкой былмышь. Ты повадкой былстриж.
Ты былрыбой, замерзшей во льду.
Мы вмержаем меж стеклами мёртвых домов,
Онемев или остекленев.
Ты ловец и улов. Вереницами слов
Ты из смыслов выводил напев,



Волчью песню, стрижиный бессмысленный свист,
 Водной глади беззвучный мотив.
 Остается пробитый прожилками лист,
 Каплю крови твоей сохранив.

Звонят созвучия мечами,
 Колоколами, птичьим свистом,
 Дождями льются, кумачами
 Кичатся на торгу речистом,
 Колдуют, молят, заклинают,
 Работают с эфирным телом,
 И умирают между делом,
 И между делом умирают.

Я хочу говорить на других языках,
 Чтоб слова оживали, меняли обличья,
 Чтоб статичные смыслы и щебет птицы
 Находили прибежище в наших устах,
 И, как птицы, слетали из уст на уста,
 Как молекулы воздуха, как поцелуй,
 В эти ткани и в кровь проникали живую,
 И служили в пространстве подобьем моста.

Птичий мост, волчий край –
 Отыщи-передай –
 Из ладони в ладонь, не жалея, не теряя.
 Из ладони в ладонь, с языка на язык
 То ли плач, то ли смех, то ли вздох, то ли крик.

И там, где лошади свернут с тропы
 И углубятся в сумрачную чашу,
 Мы дом поставим среди сосен спящих
 На перекрестке жизни и судьбы.
 Мы дом поставим в море тишины,
 И дни – как бы косящий бег оленей –
 Промчатся мимо спящих поселений.
 А мы на них глядим со стороны.
 И лес – олений дом и наш приют –
 Укроет нас, и спрячет от погони,
 Как сложенные домиком ладони
 Свечу в ночи от ветра берегут.

И страха нет – я где-то возле дома,
 Сижу в траве, и местность так знакома –
 Забор, тропинка, серенькое небо,
 И мелкий дождь, и радостный покой, –



Дай мне уснуть под ласковой рукой,
Не думая, но доверяя слепо.
Плывёт туман, и пасмурное лето
Стоит во всеоружьи надо мной.
Пока ещё на привязи челнок,
И бродит чья-то лошадь на кургане,
И шёпотом рассказывают камни
Свой наизусть затверженный урок.
И всей-то тяжести – монетки в кулаке,
И никакого веса в теле кроме.
Сейчас отдам их деду на пароме –
И дальше буду ехать налегке.

Проблема идентификации себя.
Проблема идентификации эпохи.
Мы оборвали шторм на полувдохе
И начали движение с нуля.
Но область неизвестна, и число
Не определено, и цель невнятна.
И, в общем, совершенно непонятно,
Куда на этот раз нас занесло.
Железом пахнет воздух. Стынет ртуть,
И током бьют поверхности предметов.
Давай-давай, классифицируй это,
Ищи ему название и суть.
Ищи его в таблицах и рядах,
Логарифмических и звёздных схемах,
Среди имен, ещё не нареченных,
Ищи его на стенах и устах.
Найди ему лицо и сотвори
Явление эпохи. Ход столетий
Оплёл историю железной сетью,
И мы на звёзды смотрим изнутри.

Всё это ложь. Они прогнили изнутри.
Они отравлены нечистыми устами.
Бессмысленными общими местами
Они смердят, пуская пузыри.
В них щучья ложь и рыба пустота,
Они больны водянкой и раздуты,
Они повсюду сеют страх и смуты.
И нет суда на них, и нет стыда.
Трещат, трещат, раздвоив языки,
И щёлкают калёные орешки,
И скалятся в приветливой усмешке,
Змеиным ядом напитав клыки.
В них выморочный смысл и мёртвый звук.
Мы безнадежно вязнем в их трясине.
Мы путаемся в липкой паутине,
Которую плетёт слепой паук.



А если их поджечь – они горят
 Так хорошо, так ярко и бездымно.
 И остаётся неисповедимо
 То, что не уместилось в звукоряд.

И любимые мной убегают в сады,
 Чтобы прятать улыбки меж мокрых цветов.
 Мой осенний подарок, должно быть, готов –
 С горьким запахом дыма и вкусом беды.
 Тонкокожий и хрупкий осенний листок,
 Разноцветный фонарик дождливого дня.
 И беда обойдёт и тебя, и меня,
 И уйдёт с облаками на хмурый восток.
 Разноцветный кораблик на всех парусах
 Пробегает по чёрной поверхности луж
 В тридцатое царство невиданных стуж,
 Чтобы тенью остаться на наших устах.

А потом эта ночь расстреляет меня, как маньяк.
 Расстреляет в упор всю обойму огней, хохоча,
 И бессвязное что-то крича, наобум, просто так.
 Я её выбираю на роль своего палача.
 После ночи такой не бывает, не может быть дня.
 Всё закончится тут же, едва подберётся рассвет.
 Я уйду на рассвете, и вынесут деда меня
 На широких плечах в этот город, которого нет.
 Кладка каменных улочек, узкие щели бойниц,
 Городская стена, а за ней над полями туман,
 Ошалелая стая каких-то испуганных птиц,
 Одиный табун, и у самого моря курган.

Вся эта математика смешна.
 Меж пальцами текут тысячелетья.
 Нас наказали. Нас побили плетью.
 Нам объявили, что идёт война.
 Чума упразднена, зимы не будет,
 Вино и хлеб отменены как факт.
 Дыханья ритм и пульс на целый такт
 Сместились, изменившись в самой сути.
 И что же нам осталось своего?
 Болит рубец, и боль не иллюзорна.
 Кто скажет, что бездействие позорно –
 Не сможет больше сделать ничего.

Пена бессмертна, а тело бессильно и тонко.
 Музыка плачет, а слову милей немота.
 Пламя, рождаясь внутри, обжигает уста,
 Музыка рвётся наружу и рвёт перепонки.



Встань, Афродита, из волн, и державу прими
Пены и пламени, музыки, слова и тела,
Ты, что мой голос желаньем и плотью одела,
Ты, что меня научила бояться любви.

Выдох и вдох, сокращение мышц, напряжение вен,
Волны о берег, движение магмы, изгибы ветвей, –
Области и элементы державы твоей,
Белая пена у розовых тонких колен.

Плоти сияющей вечный и радостный плен,
Песня огня и бессмертие вещей воды,
И полнота погружённой в себя немоты –
Вечный закон постоянной цепи перемен.

Где любовь улыбалась нам, сплёскивая молоко, –
Нынче маленький остров, затерянный в северном море,
Знать не знавший сплошного потока всемирных историй.
Там легко умирать, и не нужно ходить далеко.

Я готовлю обед на веранде, и вижу тебя
То у кромки прибоя, то возле скалы, то за рощей.
Не модель мироздания, в общем, немного попроще –
Алгоритм дыхания, выдох и вдох осторожный, –
Это медное царство свернулось под яблочной кожей,
Это выдох и вдох, это тихий восторг бытия.
Я тебя охраню от беспамятства и немоты,
Я сумею пути заплести перед каждой напастью.
Равно радуясь ясному небу, ветрам и ненастью,
Я над северным островом птичьих раскину мосты.

Мы умеем всего ничего – умирать, где не надо:
Не у стен, не в траншее, не в госпитале – вне обряда.
Взорваны страхом, сомненьем, случайным снарядом,
Мы умираем в постели, забыты отрядом.
Пули для нас пожалели, добить поленились.
Оборвалась, перетёрлась от времени привязь.
Нас не заметила наша родная эпоха.
Было не больно. И, в общем-то, было неплохо.
По мостовым растекались обычные лужи.
Мы умирали вне времени – где-то снаружи.
Нас не заметили. И потому не загрызли.
Смерть оказалась обычным явлением жизни.

А потом мы, конечно, поймём, и слова подберём,
Назовём это странное чувство белградским синдромом,
И научимся переживать, как обычный синдром,
По привычке не жалуясь родственникам и знакомым.



Мы привыкнем к бессилию воли и к власти тоски,
К беззащитности собственной, и к безответности неба,
И научимся бегать быстрее, чем летает ракета,
Чем взрывается бомба, наш дом разнося на куски.

А в конце мы разучимся бегать, и ляжем на снег,
И почувствуем холод и ненависть, и, замерзая,
Будем молча давиться холодными злыми слезами,
Равнодушных светил наблюдая бессмысленный бег.

Это странствие к мёртвым богам и другим берегам
Ни за что не сменяю я, и никому не отдам.
По плечам одиноких курганов, ладоням степей,
Вслед за эхом летящих в неведомый край журавлей,
До реки, до излучин, до раковин в мокром песке,
Не спеша, сунув руки в карманы, идти налегке,
Не спеша, примечая детали, намёки, значки,
Попадать в поле зрения тысячеокой реки.
Быть в своём одиночестве частью, и целым, и всем,
Распадаясь и вновь собираясь гирляндой систем,
Растворяться и видеть себя как бы со стороны,
Удивляясь, как странно сбываются старые сны.

То ли лебеди, то ли – представьте себе – журавли
Унесли в тридцатое царство меня, унесли,
От осенней земли, что теперь остывает вдали,
На затерянный остров, куда не идут корабли.

Пусть я мёртвый кузнечик в колючей осенней траве,
Пусть я дым над костром, пусть я камень в остывшей золе,
Я здесь есть – в этом стыллом пространстве, на этой земле,
Я беспорнее капель дождя на вагонном стекле.

Я твой северный остров, твой дом на морском берегу,
И сюда не добраться вовек никакому врагу.
От гусей-лебедей, от летящих на юг журавлей
Я тебя сохранию в бесконечной державе моей.

Не глядели бы глаза мои на снег,
Не дышала бы душа моя зимой.
Убежала девка шалая домой,
Улетела лебедь белая навек.
Только в лестничный пролёт бежит вода.
Пробежали дни, и в луже календарь.
Каблуком по корке ледяной ударь –
И нога примерзнет навсегда.
Мой любимый, сохрани моё тепло
На ладонях, на губах и в глубине
Мы хотели бы погибнуть на войне,
Но, похоже, перепутали число.



Равнодушное небо. Холодные капельки смысла.
Нескончаемый дождь поливает размокшую твердь.
Оскользясь, съезжаем по склону. Дорога раскисла,
В чистом поле вдыхает рассвет наша чистая смерть.

Этот воздух промыт до стеклянного тихого звона.
Это наша свобода траву задевает крылом.
Мы уходим из дома. Съезжаем с раскисшего склона
И уходим искать наш затерянный в осени дом.

Среди трав, за холмом, возле моря, на запад от ветра,
На восток от луны, возле моря, на старом плато,
Мы находим свой дом. И не ищем иного ответа.
Просто входим и молча стоим, не снимая пальто.

И двор, и улица меня уже не помнят.
Асфальт не узнаёт моих шагов.
Мы остаемся быть в цепочках слов,
И в обстановке опустевших комнат.

Чужие улицы. Ни одного лица.
Чужие запахи, и нет ключей от дома.
Зияют трещины великого разлома
На скорлупе вселенского яйца.

И я иду – чужой среди чужих,
Друг другу безразличных и ненужных,
И отражаюсь в зеркалах и лужах,
И ухожу, и растворяюсь в них.

Я клянусь над огнём, я клянусь тебе в вечной любви.
Я не знаю, откуда берутся слова этой клятвы.
На осенней воде их чертили крылом журавли,
На осипшем ветру их упрямо твердили солдаты.

Я в свидетели клятвы беру эту иву, и степь.
Пусть они предадут меня, если я слово нарушу.
Пусть мне некуда станет вернуться, чтоб плакать и петь,
Пусть меня из души моей вышвырнет море наружу.

Я присягу свою повторяю над рыжим огнём,
Обжигая лицо и ладони, и губы словами.
Я клянусь тобой вечно дышать. Я живу этим днём.
Слышишь шорох? Не бойся – мы просто врастаем корнями.

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

«В ПРЕДЧУВСТВИИ НИРВАНЫ...»

(из книги стихотворений «Непрошенная речь»)

ДВОР

Как проба первая пера,
рассвет уборных робок.
Как птичий обморок, пора
перегоранья пробок.

Пока ещё в уборных тьма
стать предрассветной тужится,
вольфрама ниточка одна
подслеповато мружится.

Пока ещё кипит во рту
ночное электричество,
перегоняет небо ртуть
из качества в количество.

Пока холодное депо
полно пустот и сырости,
и полон двор сырых грибов,
и им уже не вырасти,

пока ещё у сосен грипп,
и им не скоро выздороветь, –
весне не выйти из игры б,
но только б раму выставить.

Больными зубками рассвет
посасывает лампочки,
сырой парадной слабый свет
ночь делит пополам почти.

Пока губами сквозь туман
ещё деревья всхлипывают,
пока ещё идёт роман,
пока перо поскрипывает,



Когда сияет жизнь в твоих глазах,
как золото портьер в картинах у Ван-Дейка,
когда лежит весь мир в таинственных слезах, –
о нет, тогда не скажешь: «Жизнь – копейка!»

Но стоит ледяным ветрам подуть –
и ты увидишь, как тебя завертит...
Страшишься забыться, берегись уснуть –
и пинешь, и живёшь, и спишь на грани смерти.

Опять дожди, опять тревога,
опять далёкая дорога
и рельс холодная тоска...
В окно вагона дождик колкий.
Свернёшься на последней полке,
вздремнёшь, пожалуй... Ночь близка.

Не спится. Мы всё также едем,
своей отчизной так же бредим,
состав всё так же в ливень мчит.
Мелькают огоньки во мраке,
и паровозы, как собаки,
перекликаются в ночи.

Там, где Еврейская больница,
весна, как раненая птица,
в операционную стучится.

В халате белом няня мчится.
Прохожий еле шевелится
и замирает на ходу –
и то, что на его роду
написано, должно случиться
в пургой засыпанном году.

Пока я медленно бреду
по опозоренному льду,
мне что-то видится (иль снится):
графиня там бежит к пруду
в каком-то пламенном бреду,
Толстой, как встрепанная птица,
стоит на пасмурном ветру...
Метель последняя кружится,
и мерзнет в северной столице
чугунный памятник Петру
(я знаю, это не к добру).



Ну что ещё должно случиться
в стране иль в полночь, иль к утру?
Молчи. Не стоит торопиться...

Не спит Еврейская больница.
Пока я жив, я не умру.

НАМ СНИТСЯ ЕРУШАЛАИМ

Когда замелькает февраль
и снежные лапы окраин
обнимут кварталы зимы –
начнутся великие сны,
и мальчик по имени Хаим
откроет ворота тюрьмы,
и крикнут народы: «Лехаим!»
Тогда мы на лире сыграем,
тогда просветлеют умы.

Пока мы над высью порхаем,
над глыбами мрака и тьмы,
сквозь сумерки грозной зимы,
от самых ворот, от Москвы
до самых далёких окраин,
идет по стране как хозяин
двоюродный брат сатаны –
предвестник сумы и тюрьмы,
не Авель, а брат его Каин.

Кто скажет, что это не мы
в ответе за козни зимы,
за грозные лапы окраин,
в которых погрязли умы, –
в угрюмых краях Колымы,
в Рязани, в Казани, в Перми.
В объятых родимой земли
нам снится Ерушалаим,
нам видятся вещие сны.

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

ПЕРЕД ВОСКРЕШЕНИЕМ

забери меня, Господи, в мир, где мужчины не выбирают женщин,
друг на друга похожих до жути,
где нельзя наступить на грабли больше одного раза,
где лучезарные звёзды не только старательно всем освещают путь,
но и следят, чтобы не схлопотали фонарь под глаз

неразумные странники с котомками на плечах,
уходящие от себя, зазывающие беду
забери меня, Господи, в мир, где позволят молчать,
когда слов не останется. где не нужно по тонкому льду

осторожно вышагивать, силясь найти польню
где дрожащий луч света не стоит столетий
отшельничества во тьме
где не жертвуют истину, тем дав дорогу вранью
где свободу не купишь за время, проведённое в тюрьме

забери меня, Господи, в мир, где легко найдёшь
клад в страшный час нищеты,
в стоге свежего сена – иглу, просеку средь чащоб,
в мир, где помимо мертвецкой усталости и тщеты
осталось что-то ещё.

буду твоей декабристкой.
в колодцах спят страшные тайны.
тихое побережье пахнет раковой шейкой,
прячутся под камнями саламандры,
в пустыню торопятся василиски.
буду твоей декабристкой. буду живой мишенью.

от самого края трои до голубоглазой будвы
пройду по крошащейся гальке,
по горному гордому бездорожью,
меня напоят целебным отваром молчуны,
целовавшие ногти Будды
умоют меня снегом – первым
и молоко вотрут в кожу



буду твой декабристкой. соломой в вертепе,
 маленьким юрким чертиком с копытцами и гаданиями,
 накрахмаленная манишка, раболепие, боголепие.
 буду твоей декабристкой. на казни как на свидание.

письма твои сожгу, одежду твою сожгу, всё о тебе сожгу,
 всё о тебе забуду. и чёрные титры плёнок,
 и углый матросский ялик,
 и пуговицы, и китель,
 и то, что в тумане на некогда
 солнечном берегу

в вечной памяти жизнью клялась

иоганн разглядывает
 анемичную кожу, его ладонь
 больше напоминает женскую.
 ему пророчат успехи в музыке:
 фортепиано, гитарные струны...
 в крайнем случае, саксофон
 иоганн тяжело вздыхает,
 неслышно произнося «tres bon»
 на его сердце лежит
 непосильный и страшный груз

иоганн слышит песни погибших,
 чей бесприютный дух,
 обречён оставаться здесь,
 доколе не сбросит с себя бремя слов
 иоганн слышит плач нерождённых,
 у него удивительно тонкий слух
 иоганн слышит стоны травы,
 что вобрала в себя человечью кровь

иоганн любит ту, кого больше нет:
 анна собой украшает семейный склеп
 иоганн курит опиум с того дня,
 как её забрала земля
 иоганн откровенно плох:
 он подавлен, он пуст и квёл
 и когда краем глаза он видит её подол,
 говорит себе «лучше бы я ослеп»
 и когда краем уха ловит её «Es-tu là?»
 говорит себе «лучше бы я оглох»

что мне делать, коль я люблю тебя так, что не остается сил
 раствориться в гражданской войне
 не остается страха лежать в окопах и никчемную жизнь беречь
 ты как будто младенец Христос, что нашёлся в сарае лежащим



на грязной, измызанной пелене
но, ускорив события, в тебя тут же выпустили картечь

что мне делать, коль я люблю тебя так, что на собственной же крови
я замешал для тебя питьё, обещая бессмертие во плоти
я тебе показал свой Дамаск, свой Бейрут, свой Каир и свой Тель-Авив
да и душу продал за бесценок, ведь был я во власти желания перекрестить
пути,

так, чтоб реки твои водопадом вливались в мой океан,
так, чтоб звёзды твои сотворили созвездия прямо над моей головой
так, чтобы я забыл, что советует Библия, Тора или Коран
так, чтобы умер во сне, и проснулся уже и с религией, и паствой

что мне делать, коль я люблю тебя так, что сердце
беснуется, требуя пару ударов ремнём
и стальная цепь с новым замком ни за что не удерживается на нём
что мне делать, коль рвусь к тебе, словно лосось,
обречённый попасть на обеденный стол рыбака
что мне делать, коль страшно желаю пить сладкие
вина из твоего пупка?
я расколот, как грецкий орех, я доведен до ручки,
как Пауль Целан
но тебе ни к чему моя жалкая половина

ты божественна. ты цела.

вспомни, как я нашёл тебя
по запаху крови среди хотонных зимовищ,
как лёг рядом с тобою, укрывшись
тяжёлой медвежьей шкурой
в морозный декабрь сон разума
породит наизлейших чудовищ,
в человеке пробудит мистическую натуру.

вспомни, как я нашёл тебя.
ты носила богато украшенную сороку,
и словно бы взглядом одним
потайённо нанизывала меня на вертел,
ведь тебе не известна догматика
принципов «око за око»
и слияние с тобой всякий раз
равносильно смерти

в каждом из воплощений
нас разбивают на пару
(богам ведь не чужды привычки)
«висельник и мертвец», «инквизитор и ведьма»,
«гробовщик – свежеврытая могила»
и длится дольше оргазма ощущение того,
что я стану твоей добычей
оттого и прошу, чтобы ты меня не щадила



проблема дурака в том, что он ищет дорогу
к Богу, не замечая своё неприкрытое жлобство
проблема Бога в том, что каждый дурак метит на место Бога,
чем создает ему множество неудобств

у Маргариты проблема в том, что не придуман коктейль «Маргарита»
в довоенной России. что горело внутри – угасло
проблема Мастера в том, что на каждую Маргариту
приходится один кот и несколько литров масла

твоя же проблема в том, что я действую как опият,
мелю необычный вздор
в ошеломление тебя вводя, разрываю мозг на куски
моя же проблема в том, что самое примечательное во мне –
это нарочно твердеющие соски
у нас не клеится вдумчивый разговор

к концу ночи приходит прозрение
– торопись да готовь карман
говорят, перед просветлением –
самая страшная тьма.

говорят, перед процветанием
неприменно тюрьма, как вариант, сума
перед тем, как отправить тебя
на серьезнейшее
задание
постепенно сведут с ума

говорят, перед согрешением
надо б пряник откусать,
отведать плеть
говорят, перед воскрешением
...неплохо бы умереть.

вот и распяли Христа, вот и надобно расходиться,
почему-то отчаянно медлишь, когда стоишь у преступной черты
но в кашу смешалась речь, и солнца не стало, и тут же толпа поглотила лица
значит, сказке конец, значит, нет больше старого мира.
остались лишь я да ты

вот и сняли Его с креста, ожидая безудержного веселья
но ничего не произошло, только резко зажало в груди.
у тебя пустота, у меня пустота, у него – новоселье
ну пойдём же толкать валун и кричать ему «выходи»



как на месте затоптанных кладбищ
не к спеху селиться в дома,
как территория рая –
не место ночлежке и лепрозорию
как стыдно признаться родным,
что ты по-тихому сходишь с ума,
как восточный курорт не сравнится никак
с государственным санаторием

как тоска наступает,
лишь только напьешься абсента дэ морави,
как от сердца чужого ключ
не упрячут в обычной ключнице,
так не стоит бесцельно топтаться
на месте былой любви –
ничего ведь хорошего не получится

АЛЕКСЕЙ РУБАН

11

повесть

Посвящается А.Б. Как ни крути.

*У нас нет надежды, но этот путь наш...
Аквариум. «Поколение дворников и сторожей»*

Меня зовут Шмерц, мне тридцать с гаком, и я всё ещё продолжаю искать то, что сам даже не представляю. Как и одиннадцать лет тому назад, стоит изнурительно жаркое лето. Целыми днями я брожу по улицам, встречаюсь с какими-то людьми, разговариваю с ними, пью и истязая себя воспоминаниями. Не знаю, почему я говорю сейчас именно о том самом времени. В сущности, я так жил всегда. И всё же иногда мне кажется, что в то далёкое лето произошло нечто важное, что-то, что я не смог уловить. Мне смутно вспоминается какой-то странный сон, неясные образы, но как бы я ни старался, всё тонет в дымке тумана. Все эти попытки не имеют совершенно никакого смысла, но с другой стороны свободного времени у меня сейчас предостаточно, и нужно его как-то занимать, иначе можно тронуться мозгами. Иногда (чаще всего в подогретом состоянии) включается моя пресловутая тяга к структурированию, и я начинаю анализировать все свои достижения и потери за последние одиннадцать лет. Классифицировать и раскладывать по полочкам я стал ещё в детстве, причём в самом прямом смысле. У меня была отдельная полка для всего, связанного с футболом, полка для подаренных игрушек и даже особое место в серванте, где хранились так называемые призы. Под последними подразумевались всякие безделушки, которые я выигрывал в кегельбане чешского луна-парка, или календарики, с трудом выуженные из жувальнического монстра-автомата, получившего от меня прозвище «доставалка». Ну, вы поняли: на чем-то посыпанном дне автомата раскиданы всякие кайфы, есть две кнопки, которыми ты управляешь такими себе металлическими щупальцами, подводил их к выбранному предмету, щупальца опускаются, цапают дно и само собой возвращаются на исходную позицию пустыми. Календарик – максимальное, на что можно было рассчитывать. Термин я, кстати, подобрал лучше некуда, могу только представить, как доставали моих родителей периодические походы в зал игровых автоматов. Точно такой же календарик в ближайшем киоске стоил в пять раз дешевле, чем одна игра, а сколько нервов и слёз уходило на то, чтобы добиться искомого результата. Я рос тихим бесппроблемным ребёнком, но в этой ситуации психика моя давала сбой. Собственно, азартность мне всегда была, мягко говоря, не чужда. Именно поэтому я никогда не играл в разные стрёмные игры на деньги с малознакомыми людьми. «Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк», как сказал классик. Впрочем, это не мешало мне однажды проиграть другу-гитаристу десять долларов за ночь. На тот момент сумма была достаточно весомой для бедного студюозуса, месячная стипендия или что-то около. Мама друга ко мне относилась неплохо, но ночевать бы явно не пустила, а разгорячённый алкоголем организм требовал экстрима. В итоге я забрался в комнату на первом этаже через окно, сжимая в руках бутылку вина, и мы до утра резались в покер. Выяснилось, что блеф – это явно не моё. Хорошо хоть тогда у меня был крепкий мочевой пузырь, а то каждый поход в туалет превращался в опасную вылазку за линию фронта. В другой раз я последовательно продул, кажется, в дурака, свою коллекцию аудиокассет и квартиру школьному другу. К слову, десять долларов я отдал.

Но вернёмся к достижениям и фэйлам. Картина вроде бы вырисовывается достаточно оптимистичная. Как я частенько люблю говорить, видел бы я семнадцатилетний себя нынешнего, точно бы кипячком

ходил от восторга. Из лаборанта в своём НИИ я вырос аж до кандидата наук. Теперь преподаю в ВУЗе историю западной цивилизации и, представьте, даже получаю от этого удовольствие. Ставить оценки я не фанат, больше всего мне нравится читать лекции, демонстрируя свои недюжинные интеллект и эрудицию. Есть в этом немало от самолюбования, чего уж греха таить, но, чуваки, имейте же совесть, есть и у меня право немного от себя поторчать. В свободное от работы и прочих мелких радостей и напрягов бытия время, я стучу на ударных в банде единомышленников. «Light of underground», понятно вам? На ум немедленно должны приходиться грязные подвалы где-нибудь в Осло, тусклые лампочки, бухающие братки-сатанисты с четырёхдневной щетиной и в коже, пьяный товарищ Фенриз из Дарктрон дрыхнет в углу, зажав в руке банку с пивом. Есть какие-то амбиции, периодические концерты, но если честно, делаем мы это исключительно себе в кайф. Хотя порой, когда всё не прёт, и думаешь только о сне на любимых простынях, вечерние репетиции превращаются в муку. А финансы... Некто Фауст, известный любому блэкеру барабанщик, отсидевший кучу времени в норвежской тюрьме, сказал, что на его родине этой музыкой заработать практически невозможно, и посему он заколачивает деньги, сидя за баранкой грузовика. Да и кому он нынче нужен, блэк-металл, перефразируя Андрея Вадимовича. Ох и тянет меня сегодня на цитаты, не к добру это.

Цитаты, цитаты... Ни фига я, конечно, не литератор, но пописываю уже лет одиннадцать, и некоторым даже нравится. За это время на деле познал смысл таких штук, как сублимация или катарсис. Всё это есть, маститые мэтры не врут. Да и мистики тут немало. Ночью откуда-то приходит в голову идея, перевозбуждаешься, не можешь уснуть, крутишь её так и эдак. Понемногу скелет обрастает мясом, появляются какие-то совершенно неожиданные детали, и в итоге получаем нечто весьма отличающееся от того, что было на входе. Писать мне на самом деле тяжело, сказывается излишняя замороченность на том, чем я занимаюсь, да и кайфа от завершённой работы не так много. Разослал по друзьям-знакомым, закинул в нужную папочку на компьютере, продублировал, само собой, пригладил хайры и пошёл дальше по своим делам. Вот придумывать сюжетные ходы – это действительно увлекательно и совершенно не напрягает. Ну, каждому своё. А что касается идей... Однажды я прочитал один весьма впечатливший меня рассказ. «Снежная архитектура» Дэвида Моррелла (того самого, который написал «Рэмбо», как ни странно). Молодому редактору в издательстве попадает в руки рукопись гениального романа. Имя автора ничего ему не говорит. По сюжету, отец с маленьким сыном оказываются на несколько дней отрезанными от окружающего мира из-за снежного бурана. Внезапно у мужчины случается острый приступ аппендицита. Роман представляет собой хронику усилий мальчика, которые тот предпринимает, чтобы спасти отца. По особенностям стиля редактор определяет, что произведение могло принадлежать только одному человеку, Р. Дж. Вентворту. В своё время его первые книги вызвали настоящий фурор, а затем жена писателя и двое его сыновей погибли в автокатастрофе. Вентворт покинул общество, и с тех пор о нём уже многие годы ничего не известно. Редактору получает задание разыскать писателя и получить от него согласие издать книгу под его собственным именем, иначе она не будет иметь никакого коммерческого успеха. Выясняется, что всё это время Вентворт продолжал заниматься литературой. Он не хочет возвращаться в мир, но всё же просит редактора оценить одну из его рукописей. Тот погружается в чтение. Для мальчика Эдди, мать которого, проститутка и алкоголичка, по несколько дней оставляет сына одного в квартире, радио – единственная отдушина. Он слушает передачи некоего комика по имени Джейк. Мальчик почти не понимает его шуток, но ему очень нравится голос ведущего. Однажды он узнаёт, что Джейк собирается переезжать в другой город. Тогда вопреки запрету матери Эдди покидает квартиру и отправляется на поиски комика, который в итоге оказывается его собственным отцом. Редактору безумно нравится роман, но он говорит Вентворту, что, по сути, все его произведения эксплуатируют одну и ту же тему. И тогда писатель рассказывает, что был растлён своим отцом в восемь лет. В конце концов, Вентворта убивают ворвавшиеся к нему грабители и сжигают дом, уничтожив всё написанное им. Редактор увольняется из издательства, на собственные деньги публикует оставшуюся у него рукопись и ездит по стране в попытках поделиться книгой с людьми. Это небольшой и бесконечно печальный рассказ. Я не смею и мечтать о таланте Вентворта, но если разобраться, то тоже кручусь вокруг одной темы. Впрочем, нет, пожалуй, двух. Меня одновременно ужасает и притягивает гнусность человеческой природы, геноцид, сатанизм, серийные убийства и детская порнография. Я хочу знать, почему мы такие, и как выкорчевать из себя мерзость, которой предостаточно почти в каждом. А ещё я пишу о том, что от себя не уйдёшь, с кем бы ты ни был, в каком месте бы ни оказался. Совсем недавно я в очередной раз понял... Но чу, мне придётся ненадолго прерваться для осуществления первого запланированного на сегодняшний день дела.

– Литровый сидр, пожалуйста, да, да, вот тот, который справа.



– Что-то вы рановато сегодня, обычно до четырёх никогда не появляетесь. Отпуск, наверное?

Она смотрит на меня и улыбается. Я, конечно, прекрасно знаю всех продавцов в магазине напротив моего дома, и вижу эту девушку минимум три раза в неделю. Не красавица, но миловидная, со светлыми волосами до плеч и тонкими чертами лица. Фигура, насколько я могу судить, тоже весьма неплоха. В общем, всё как мне нравится. К тому же она, как оказалось, равнодушна к тяжёлой музыке. В нерабочее время я по-прежнему ношу футболки с логотипами любимых групп, и мы несколько раз перекидывались замечаниями по поводу путей развития современной музыкальной индустрии, пока она укладывала мои покупки в пакет и пробивала чек. Недели три назад, находясь в утаре, я даже подумывал подежурить напротив магазина, встретить её после работы и предложить опрокинуть пару стаканов. Хорошо, что в тот день у них был какой-то переучёт или аврал, и я бесцельно протусовался на улице до восьми, время от времени прикладываясь к литровому пакету с вином. Не знаю, что лучше: наткнуться на недоумение и отказ или же обнаружить себя утром в постели с абсолютно чужим человеком. Так уже случалось со мной, и ничего кроме опустошения и отвращения к себе ты в итоге не испытываешь. Особенно, когда в мире есть кто-то, кого ты любишь. А она, кажется, была бы не прочь, вон как улыбается. Хотя я давно уже бросил всякие попытки понять женщин. Они могут выказывать тебе внимание, а потом резко обломать, или же напротив, вести себя сдержаннее некуда, после чего выясняется, что тебя преданно любят. Парадокс, что уж тут поделаешь. Нееееет, нас теперь этим не возьмёшь, у нас теперь есть сидр и предвкушение лёгкой алкогольной эйфории.

– Да, отпуск, – протягиваю я продавщице банковскую карточку. – Самое время погрузиться в царство безысходности и чернухи, ну, вы поняли, умному человеку нельзя давать много свободного времени (ну что же я опять несу, снова этот мой проклятый пафос).

– Наверное, но лично я бы сейчас мечтала недели две спать до обеда, а потом ничего не делать.

– Это да, – задумчиво протягиваю я, – на самом деле я вас понимаю, недосып штука несладкая. Удачи вам.

Перехватываю бутылку сидра и выхожу на раскалённую улицу. В уши сразу ударяют звуки города. Ну и чёрт с ними со всеми, пускай трудятся, а у меня есть дела поважнее. Отворачиваю пробку, и прохладная жидкость начинает струиться по пищеводу. Вообще этот сидр – редкая гадость, особенно по сравнению с другими, более дорогими сортами, продающимися исключительно в стекле. К тому же через минут двадцать он станет тёплым, а это уже просто преступление. В деньгах я сейчас не слишком стеснён, можно было бы приобрести что-нибудь подороже в формате 0,5 и выпить на месте, дабы не привлекать внимание бдительных стражей правопорядка. Другой вопрос, что это чревато последствиями. И вот тут мы снова возвращаемся к ранее затронутой теме, только на этот раз речь пойдёт о недостатках. Точнее о проблемах, теперь уже можно говорить именно так. Долгое время мне казалось, что я контролирую свой алкоголь, и скорее всего так оно и было. До относительно недавних пор. Постоянные самокопания приводят ко внутренним стрессам, ну а излюбленный народный способ их снимать известен всем и без моих пояснений. Постепенно начинаешь ходить с утра в магазин за пивом (благо пока ещё только по выходным), да и после работы не отказываешь себе в удовольствии принять. Сидишь бывало, в перерыве между парами, не знаешь куда себя деть, и вдруг мир озаряется мыслью. Уже час дня, следовательно к трём я смогу оказаться на ступеньках кабака. И сразу хочется работать, кому-то что-то рассказывать, развивать бурную деятельность. В принципе, так можно жить, главное не перебарщивать, хотя бывает непросто выносить бессонницу в ночь с воскресенья на понедельник и утреннюю опустошённость. Гораздо страшнее периоды дикой тоски и депрессии, когда срываешься с цепи, и начинаются чад с утаром. Самое интересное, что в моей жизни за последние одиннадцать лет все они приходились на конец учебного года. Начинаешь подумывать, что это такая изощрённая месть судьбы за наплевательское к ней отношение. Мол, хочешь, чувак, себя разрушать, вот тебе отпуск с отпускными в придачу, вперёд и с песней. Две недели назад, окончательно от всего озверев, я принял волевое решение несколько поменять концепцию и отказаться от крепких напитков. Стало немного полегче. Теперь я постоянно ношу с собой в рюкзаке литровку сидра. Суть в том, чтобы поймать ощущение расслабленности и не пить до тех пор, пока оно явно не начнёт спадать. Так удаётся продержаться целый день, особенно благодаря беседам с друзьями-товарищами. К сожалению, о последних иногда начинаешь вспоминать лишь в критические моменты бытия. Вот вам альтруизм и человеческая натура. Впрочем, боюсь, что сегодня мне не удастся соблюсти концепцию до конца. К трём часам дня я должен быть за городом на дне рождения басиста великого и ужасного коллектива «Свет в подземелье». А там, господа, пленных не берут, кому как ни мне об этом знать. Посему последуем примеру миссис О'Хара и подумаем об этом завтра. Если силы будут.



А ещё за эти годы я отпустил бороду, проколол соски и наделал кучу татуировок, разумеется, на закрытых одеждой частях тела. Вот такое вот оно, лицо нынешнего образования.

Теперь, пожалуй, можно и закурить. О, эта божественная смесь никотина и спиритус вини, почему никто не воспел тебя доселе в стихах? Дай время, и я посвящу тебе оду или на худой конец сонет. Размеренным шагом двигаюсь вперёд, а вокруг рай-о-ны, квар-та-лы, жи-лы-е мас-си-вы... Ой, ой, ой, эк меня торкнуло всего-то от нескольких затяжек. Чувствуешь себя отщепенцем в окружении занятых людей. Они с самого утра уже чем-то торгуют, стригут, кредитуют, наливают, а ты, бестолочь такая, наслаждаешься заслуженным отдыхом и при этом ещё смеешь претензии к жизни предъявлять. Бестолочи, кстати, тоже есть о чём подумать, накопило за месяц возлияний. В общем так, по порядку: пыль на всех возможных поверхностях, пол в подозрительного вида пятнах, на ковре крошки, и что-то мне подсказывает, что я не собрал с него все осколки разбитого в порыве экстаза бокала. Да, и ещё потерянная где-то вместе с бумажником банковская карточка. Её я успел заблокировать, но новую тоже получить не мешает. Хорошо, что в нашей стране пока ещё осталась добрая традиция хранить накопленные деньги в корпусе басового барабана, а не в банке. Но самое страшное это, безусловно, вешалка. Вернее, металлическая хрень в стенном шкафу, на которую нужно крепить вешалки с одеждой. Не спорю, она десять лет служила мне верой и правдой, но теперь, видимо, не выдержав морального состояния хозяина, решила рухнуть. Плевать на рубашки и джемпера, их всё равно никто не носит, давно можно было бы выбросить, но футболки с Агатой Кристи и Мунспеллом! Зачем же так топтаться по святому, серпом по этому самому месту! Ужасает то, что я знаю, что рано или поздно мне придётся возвращаться в мир разумных людей, договариваться с кем-то из рукастых знакомых, способных восстановить статус кво в шкафу, выдраивать квартиру. Потом, глядишь, и в банк сходить можно, а там и до первого рабочего дня недалеко. И от этих мыслей тело внезапно содрогается, будто от удара током, и хочется бить кулаком о стенку, отвлекаясь на физическую боль. Собственно, иногда, проснувшись посреди ночи, я начинаю лупить по твёрдой спинке кровати, прося неизвестно кого дать мне хоть ненадолго забыться. Фиг там. Это глупо, совсем по-детски, но надо же за что-то цепляться. Кажется, если постараться отпустить сейчас эти мысли и чувства, погрузиться в совершенно другое существование, то предашь всё святое, что есть в твоей жизни, и потеряешь надежду, которой и так нет. А стоило бы, но нет, не дождётеся. Герои рок-н-ролла идут до конца...

– Закурить не найдётся?

Найдётся, конечно, мне что жалко? Напариваю в сумке помятую пачку, выгаскиваю сигарету и протягиваю просителю. Тому на вид лет шестнадцать, не больше. Я в его возрасте, между прочим, только начинал курить и на улицах не аскал, хотя денег не было вообще. Зато имелись бабушки на перекрёстках, которых нынешняя демократия искоренила раз и навсегда. У них сигареты можно было купить поштучно, волшебное слово, давно выпедшее из лексикона. Блин, мне всегда казалось, что я не то чтобы прогрессивный, а в принципе вне возраста, а выясняется, что старпёрство подминает кого угодно. Хотя может я и утрирую, тяжело судить, пацану сто процентов виднее. Последний, буркнув нечто отдалённо напоминающее «спасибо», отчаливает. Возвращаюсь в себя. Так вот, по поводу материального мира. Что-то он совсем перестал меня интересовать. Ну не то чтобы совсем, просто знали бы вы герра Шмерца раньше. Квартира, забитая свидетельствами собственной, якобы, интеллектуальной состоятельности, дипломы, постеры, барабаны, труды философов вкупе со Стивеном Кингом и исследованиями современной порноиндустрии. В общем, всё вперемежку, но при этом в идеальном, едва ли не алфавитном порядке, с бирочками, патентами и лицензиями. И никакой пыли. Уборка два раза в неделю в одни и те же дни. Какие там женщины? Они же начнут расставлять на знаменитых полочках свои причиндалы, двигать с места вещи, и вообще не родилась ещё та, ради которой я мог бы сказать: «Всё моё, что есть здесь, теперь и твоё, двигай на здоровье». И что мы наблюдаем сейчас? Непотребство одно, аж плевать хочется. Но делать нечего, придётся вкладываться в творчество. Да, признаюсь, сейчас мне хочется восхвалений, славословий и прочих панегириков. А почему бы и нет, это, в конце концов, неплохо успокаивает нервы. И вообще (сидр, кстати, уже начинает греться), мне есть что сказать этому миру, и поэтому я жажду давать интервью. Сидеть в деревянном кресле с крутами под глазами и порезами на руках и вещать, попивая сухое красное. Правда, тут тоже не обойтись без материальных атрибутов. Придётся обрядиться в косуху, всякие там висюльки-кольца-браслеты... Нет, тогда уже лучше заделаться странствующим буддийским монахом. Хайр жалко, конечно, зато прямая перспектива нирваны, минимум одежды, никакой поклажи, все кормят-привечают святого человека. Только святость на рынке не купишь, вот в чём вопрос, так что и эта карьера мне не светит. Творчество... Есть у меня миниатюрка с таким названием. Там талантливый тип в юности играл на басу, с девочками закигал, кайфовал. А потом даруг понял: хочешь быть гени-



ем, не разменивайся на мелочи, ограничь все контакты с миром и пиши. И получил в итоге Нобелевку. Думаете, он стал счастливым? Не знаю, я просто его придумал, но, по-моему, не особо. Хотя... Порой я размышляю о жутких вещах. Любой путь кажется мне бессмысленным. Куда бы ты ни шёл, конец один, черви, тьма, книжки твои истлеют, вирусы уничтожат файлы. Зато есть и те, кто об этом просто не думает, живёт себе, сочетая на первый взгляд плохо уживающиеся вещи. Таким был и остаётся мой хороший товарищ Сист. Уже одиннадцать лет назад он нехило рубил в компьютерах, получал зарплату в валюте и прочие вытекающие отсюда прелести существования. Чувак кучу времени проводил в офисе, но тамошние традиции его явно не устраивали. Систу хотелось декаданса и рок-н-ролла, и мы частенько проводили время в его буржуйской квартире. Блевать и употреблять наркоту строго воспрещалось, нарушители немедленно получали статус персон нон-грата, но лично меня всё устраивало. Иногда я даже, пользуясь благосклонностью хозяина и наличием ключей, приводил туда барышень или просто отсыпался, не желая беспокоить своим непотребным видом маму. Последнее случалось гораздо чаще. Не поймите меня превратно, просто где-то выше вроде бы уже упоминалось об утренних бессмыслице и отвращении. Хотя если накатить, можно вполне рассчитывать на продолжение марафона и ещё худший отходняк. Впрочем, был один случай. Ровно одиннадцать лет назад (просто наваждение какое-то, или это сидр неправильный) я пил дома у Сиса с очередной компанией. Девушка по имени Блэйд, стервозная дура, по моему тогдашнему мнению, активно выясняла отношения со своим очередным ухажёром-оруженосцем, в результате чего последний был послан по всем известному адресу. Я долгое время куролесил, воображал себя помесью Бодлера и Маяковского, а потом откровенно вырубился. Среди ночи я проснулся от того, что кто-то перелазил через меня. Мы немного поговорили. Она сказала, что ей скучно, что у неё никогда не было настоящей жизни. Я ничего не мог рассказать ей о счастье, и поэтому мы просто занялись сексом. Много позже я узнал, что она вскоре после произошедшего переехала в другой город, и следы её окончательно потерялись. Это был единственный раз, когда я изменил женщине, с которой состоял в отношениях, пусть даже на тот момент они и исчерпали себя в моих глазах. Но об этом позже, не завтра, простите, миссис О`Хара, но ближе к ночи, когда я выполню всё то, ради чего поднимал утром голову с подушки. Что же до Сиса, он тоже не изменил себе. Компьютерный гений таки женился на своей тихоне Пэйшенс, с которой встречался до свадьбы несколько лет (поди тут пойми, кому что нужно), и сейчас трудится на значительно более серьёзном посту в славном городе Ванкувере. Недавно у них родилась двойня. Интересно, как там дело обстоит с богемным общением, особенно с учётом необходимости заниматься детьми. Хочется верить, что всё это они сочетают в правильных пропорциях.

Тем временем на горизонте появляется памятник маститому деятелю отечественной культуры позапрошлого века. На скамейке рядом с ним уже должна сидеть Гифт. У неё опять разыгралась аллергия, и в течение двух недель она должна ходить на процедуры в близлежащую поликлинику. Мы созванивались вчера, и она сказала, что после поликлиники у неё встреча с подружкой в сквере. Последнее время мы очень часто видимся, но я всё равно решил не упускать возможность лишний раз пообщаться с прекрасным человеком. Подхожу ближе и уже могу видеть её, сидящую на лавочке в тени и затягивающуюся сигаретой. Она никогда не курит на ходу. Однажды Гифт сказала, что для неё курение это скорее процесс, способ занять чем-то руки. Я тогда, признаться, был несколько удивлён. Для меня курение носит сутобо прагматический характер, потребляемый никотин доходит до клеток мозга и приносит кратковременную эйфорию, которую, к сожалению, всё реже и реже испытываешь без наличия допингов. Не хочется говорить банальностей, но первая за день сигарета действительно самая... Нет, не вкусная, самая эйфориобразующая, что ли. Сильный неологизм, вполне в моём духе. Все последующие курительные палочки приносят уже значительно меньше удовольствия, если только не делать между ними значительные перерывы. Именно поэтому в быту я курю очень мало и, как ни странно, не испытываю почти никакой тяги, несмотря на где-то восемнадцатилетний стаж потребления легального наркотика. Исключения составляют ситуации, когда я принимаю на грудь (опять же банальнее некуда), либо такие состояния как сейчас. Сигареты помогают немного снять постоянное внутреннее напряжение, а это уже немало. Интересно, как это происходит у других. Можно было бы провести небольшой социологический опрос среди друзей и знакомых от нечего делать.

Гифт – моя самая близкая подруга, и нам немало пришлось пережить в жизни вместе. Мы знакомы очень давно, всегда замечательно проводили время, пили и беседовали обо всём на свете. Одиннадцать лет назад (спокойствие, только спокойствие, ангелы миллиард лет танцуют на острие иглы, но сегодня подустали немного и один за другим получают уколы) нас увлёк быт, и интенсивность общения несколько снизилась. Но вот уже лет восемь как мы видимся едва ли не каждую неделю. Это всегда в кайф, у нас

не закрываются рты, нам никогда не приходится придумывать темы для бесед. Тут вам и теологические вопросы, и творчество, ну и, знаю, грешен, мы не упускаем возможности немного помыть кости общим друзьям и знакомым. Всё это совершенно беззлобно, и думаю, этим страдает подавляющее большинство людей. Не вижу в подобном ничего предосудительного, такова жизнь, главное не выносить наружу никакие подробности. Мне безмерно сложно себя оценивать, но я никогда не меняю отношения к человеку, узнав о нём что-либо нелицеприятное. Я хорошо знаю, какими субъективными мы бываем в своих оценках других, да и вообще... Вот пусть мне лично сначала нагадят, а потом я уже буду разбираться. Надо признать, гадили мне в жизни крайне редко, в сравнении со многими другими я чист, как младенец. Или я чего-то не знаю? Ну и ладно, как по мне, неведение иногда значительно лучше знания. А ещё мы с Гифт всегда поддерживали друг друга в лихую годину. В моём понимании, друг – это далеко не только человек, который придёт на помощь в тяжёлый час, но согласитесь, когда вам плохо, поддержка близких значит больше, чем что бы то ни было. Даже возможность пить. У восточных народов есть такой метод выхода из кризисных ситуаций. Ты пятьдесят раз рассказываешь другим о своей беде, и на пятьдесят первый становится легче. Не то чтобы ты находишь решение, просто включаются какие-то внутренние механизмы. Вот только делиться с кем попало ты не будешь. У нас, конечно, принято хорошенько вмазать и потом излить душу полужнакомому собеседнику, но сие – явно не мой метод. Я счастлив иметь таких друзей. Одним летом (а именно в это время я особенно остро ощущаю недостаток тепла в своей жизни) мне даже показалось, что я в неё влюблён. Так бывает, знаешь человека кучу времени, а потом внезапно в голове что-то замыкает, и ты уже не ты. Это состояние продлилось где-то с неделю, само собой, я даже не пытался ничего ей говорить, хотя постоянно делал какие-то намёки, которые мог бы понять разве что владеющей техникой чтения мыслей. После очередной вечерней прогулки я крепко надрался пивом, на следующий день закрепил пройденное, и всё вошло в колею. А три года назад, летом, как вы уже поняли, я вдруг неожиданно взбрыкнул и пошёл в разнос. Гифт звонила мне каждый день, а я врал ей, что не пью, отхлёбывая при этом из горла. Естественно, она всё узнавала, и я крепко получал. С тех пор я стараюсь не врать друзьям, да вот получается не всегда.

– Привет. Давно сидишь?

– Минут пятнадцать. Смайл звонила, сказала, что задерживается. Как ты?

– Такое, честно говоря.

– Пьёшь?

– Держусь концепции. Две недели уже. Вроде помогает. Только бессонница замучила. Месяц уже не высыпаюсь. Проснусь часа в два и до утра маюсь. Творчеством бы заняться в это время, да сил, честно говоря, нет. Хотя мне вчера сказали, что Буковски, например, первый роман всего за двадцать ночей наваял. Только он каждый раз запасался литром вискаря и сигарами, а это сейчас не мой метод, сам понимаешь.

– А совсем не пить не получается?

– Блин, не знаю. Это же не первый раз у меня такое, опыт есть. Мучаешься, мучаешься, а потом организм как-то сам всё переламывает, и продолжаешь жить. Только полость незаполненная всё равно остаётся, ничего не поделаешь.

– Слушай, может тебе сегодня не ехать никуда? Ужрётесь же там, сорвёшься опять. Погуляем пойдём, у меня время есть.

– Да нет, это ж святое. Постараюсь себя контролировать.

– Ну, тогда только не езжай домой один, а то будет как в прошлый раз.

Здесь она права. Ещё в досидоровую эпоху мы с хорошим другом пошли на концерт. Послушали качественный нео-фолк, пообщались с музыкантами-англичанами, нагузились по самое не могу, а потом почему-то разошлись. В итоге по пути домой я споткнулся, влетел локтем в стекло припаркованной на обочине машины, порезался, а потом под покровом темноты отсиживался в кустах, чтобы не быть четвергованным хозяевами транспортного средства. Эпично, конечно, но перетрухал я тогда изрядно, даже протрезвел.

– Не будет, обещаю. Ладно, давай не будем о грустном. Смотри, вон подруга подходит.

Появляется Смайл. Прекрасная девушка, по-моему. Я не очень хорошо её знаю, но всегда задавался одним вопросом. Этот позитивный настрой, он от природы, или же это защитная реакция на какие-то события. Я всё-таки извращенец, не могу поверить, что человек может просто радоваться жизни.

– Что, жарко вам, в тени спрятались? А я вот только из бассейна, совсем по-другому себя чувствуешь.

– В аду бассейнов не будет, можешь даже не надеяться, – изрекаю я с мрачным видом. Смайл смеётся, и меня начинает нести. Классика жанра – Шмерц и его моноспектакль. Как же я всё-таки люблю выпен-



дриваться при наличии даже минимальной аудитории, хлебом не корми, дай полищедействовать. Хохляю, пошляю, рассказываю сомнительные анекдоты, вспоминаю не менее сомнительные случаи из жизни. Например, как на одной маёвке я решил искупаться, а потом друзья тащили меня через весь пляж, а ваш покорный слуга был при этом, как бы помягче сказать, в неглиже. Вечером того же дня я настолько достал всех своими текстами, что меня поочерёдно выгоняли из двух домиков, которые мы сняли с компанией, приехав на отдых. Мой голос становится всё громче, люди начинают посматривать в нашу сторону, но в этот момент меня совершенно не заботит, что среди прохожих могут оказаться мои студенты или коллеги. Я уже почти реву о том, как любил в своё время выгонять из бани распаренных купчих на мороз и валять в снегу, а потом в порыве чувств щипаю Гифт за ногу. «Что ты делаешь?» – возмущается она. «А что такого, – включаю я недоумение, – ты же не девушка». «А кто тогда?». «Боевая подруга». В конце концов, барышни понимают, что им пора ретироваться. Им пока ещё смешно, но я хорошо знаю, как могу достать даже самого терпеливого человека. Мы прощаемся, договариваемся с Гифт созвониться на следующий день, и они удаляются. Я некоторое время смотрю им вслед, потягивая горячий сидр. В бутылке полно пены и, как я подозреваю, моей слюны, но до ближайшего магазина далеко, а общество наше ещё не настолько цивилизовано, чтобы в городе на каждом углу стояли лотки со слабоалкогольными напитками на разлив. Я смотрю на прогуливающих мамочек с колясками, школьников, всюю наслаждающихся каникулами, девушек в минимуме одежды, и жду, когда жидкость жёлтого цвета снова начнёт заполнять пустоту внутри.

Проходит минут пять-семь, и искомое состояние понемногу восстанавливается. Смотрю на экран телефона. До встречи с Мэном ещё больше часа, а идти до условленного места максимум минут двадцать, и это с учётом захода в магазин за второй на сегодня порцией. У меня появляется прекрасная возможность приобщиться к шедеврам современного литературного творчества. Отправляясь на длительные прогулки подобные сегодняшней, я всегда беру с собой книгу и плеер, несмотря на немалую вероятность того, что их вполне может постигнуть судьба моего бумажника. Жаль старика, он верно служил мне много лет. В одном из его отделений хранилась коллекция визиток из интересных мест и заведений, которые я когда-либо посещал. Особое внимание заслуживает карточка, рекламирующая один давно почивший в бозе винный погребок. Там изначально существовало чудесное правило: за каждые купленные двадцать литров вина (расслабьтесь, не за раз, там действовала накопительная система) счастливый покупатель получал на выбор винный бокал или пивную кружку. Я умудрился стать обладателем двух бокалов. Вскоре магазин закрылся. Неудивительно. Это же никаких ёмкостей не напасёшься. Но всё это уже из области преданий, вернёмся к литературе. Извлекаю из сумки несколько потерявшую товарный вид последнюю книгу Стивена Кинга и, отхлебнув немного для лучшего восприятия, погружаюсь в другой мир. А там есть куда погружаться. В захолустный послевоенный американский городишко приезжает молодой священник с женой и маленьким сыном. Он умеет увлечь людей, помешан на опытах с электричеством, и вообще едва ли не гений, хотя, как и любой настоящий верующий, подвержен сомнениям. Он активно общается с местными детьми, с помощью собственноручно сконструированного электрического прибора излечивает от немоты знакомого мальчишку, а потом его жена и ребёнок гибнут в автокатастрофе. Дядюшка Стив всегда умел описывать как физические страдания, так и бесконечную душевную боль. И тогда священник читает в церкви городка свою последнюю проповедь, впоследствии получившую название кошмарной. В ней он, оперируя найденными в различных источниках фактами, доказывает, что бога либо нет, либо это такой мерзкий сукин сын, что лучше бы нам вообще не рождаться. Можете себе только представить, какой резонанс вызывает его речь. Кризис веры, богоискательство, разочарование и понимание, что со смертью *кончается всё* – как хорошо мне это знакомо. Нет, говорить, что ты живёшь в аду лишь потому, что тебя мучают неразрешимые вопросы, в то время, когда другие испытывают истинные мучения, это, конечно, кощунственно. Но сознавать, что всё прекрасное, созданное нами, рано или поздно бесследно исчезнет... Разве это уже не ад на земле? Сорок пять минут незаметно проходят в таких внутренних диалогах, и наступает время выдвигаться. Мэн – тип пунктуальный, насколько я помню. Он работает выездным прометеем, в смысле электриком, и постоянно разъезжает по командировкам. Помню, когда я делал одну из первых своих татуировок, орла, клюющего печень, мастер тоже спросил меня, не электриком ли я часом работаю. Это была знатная хохма. Так вот, видимся мы очень редко, но сейчас я уже понимаю, что дружба и частота встреч не всегда находятся в прямо пропорциональной зависимости друг от друга. Вопрос исключительно в качестве общения, в ощущении того, что диалог не прерывается. Смешно, но ещё в возрасте, кажется, двадцати пяти я продолжал выстраивать классификации типа «ближайшие друзья-друзья-товарищи-знакомые». Как всё-таки наивен человек. С этими мыслями я начинаю двигаться в том направлении, откуда относительно недавно пришёл. Парк, в котором мы с



Мэном условились прогуляться, находится в десяти минутах от моего дома. Снова районы и кварталы. Допиваю остатки жидкости, которую язык уже не поворачивается назвать напитком, и триумфально вхожу в давешний магазин. На этот раз продавщица ничего не говорит, однако понимающе улыбается. Я заговорщицки ей подмигиваю (не забывайте, в желудке плещется уже целый литр) и вновь покидаю заведение. Пищевод трепещет, наслаждаясь текущим по нему холодным потоком, в рот отправляется вторая на сегодня сигарета, и всё вокруг и внутри становится вполне даже сносным, словно бы начала действовать анестезия. На самом деле место для встречи выбрано не слишком удачно, с этим парком у меня связано слишком много воспоминаний. Вот и сейчас я постоянно натываюсь взглядом на знакомые скамейки под фонарями, некоторые из которых к тому же оккупировали целующиеся парочки. Потягиваю сидр, стараюсь поменьше смотреть по сторонам и думаю о том месте, куда направляюсь. Когда-то оно было одним из символов рок-н-рольной жизни нашего города, летом в нём проводили концерты, а сейчас остался только замусоренный каменный амфитеатр. Он надёжно укрыт от посторонних глаз зарослями зелени, которые дают тень и возможность спокойно предаваться возлияниям. Впрочем, Мэн практически не пьёт. Здоровье не позволяет, да и не тянет, по его собственным словам. Это сколько ж нужно своей дури в голове иметь, чтобы обходиться без алкогольной? А вот и он сам собственной персоной стоит в тени дерева. Бритая голова, футболка с какими-то психоделическими разводами, наводящими на мысли о Скандинавии, и молот Тора на груди.

– Здоров. Как оно?

– А что, по мне не видно?

– Рассказывай.

Рассказываю. Нельзя сказать, что Мэн сухарь или тем более циник, просто человек действительно интересуется происходящим со мной и поэтому хочет поскорее перейти к конкретике. Когда я заканчиваю, он трёт подбородок и заявляет, что всё сделано правильно. Я и сам это знаю, мне не нужны подтверждения, но вот облегчения такие мысли не приносят. Выговорившись и немного спустив пар, я начинаю расспрашивать Мэна о его житье. Разговор плавно уходит в прошлое, и мы вспоминаем всевозможные истории, происходившие за разные годы с людьми из нашей компании и просто знакомыми. Схождения-расхождения, случайный секс, дружба до гроба и смертельные обиды, всё как у всех, и при этом каждому кажется, что у него-то ситуация уникальная. Ну и ладно, всем нам хоть иногда нужно ощущение собственной исключительности, иначе жизнь очень быстро подомнёт под себя и переварит. В процессе выясняются всяческие интересные подробности о тех или иных личностях, и я думаю, что вот меня так точно обсуждать не смогут при моей цельности. И тут же сам себя обрываю. Кто, спрашивается, ещё несколько минут назад рассусоливал на тему желания быть уникальным? А как, любезный мой, насчёт твоих загулов, пусть они происходят и не так часто. Думаешь, друзья собираются в это время где-нибудь в кофейне и выдают тексты типа «Господа, он так страдает от своей неустроенности, мир слишком жесток, чтобы это могла вынести нежная ранимая душа. Пусть ещё попьёт, мы нальём, если что, а после, вспоминая с ним нынешние события, всегда будем говорить о них исключительно в торжественном тоне». Хрен там, языками по поводу меня полощут совсем не в положительном контексте, да и с чего, спрашивается, они должны это делать, когда я сам предоставляю материал вполне недвусмысленного содержания. Плюс мои интеллигентские штучки. Мэн, например, когда его что-то не устраивает, всегда об этом говорит, а если чувствует, что все попытки не приносят результатов, рвёт отношения. Не знаю, правда, чего ему это стоит, но факт есть факт. Я же продолжаю тянуть резину, усугубляя и без того нерадостное положение вещей. И так во всём. Раздаётся звук Мэновского телефона. Он прерывается и подносит его к уху. «Да, салют, нет, ещё занят, со Шмерцем общаюсь (слегка кивает мне головой, изображая переданный привет), через полтора часа где-то, хорошо, пройду через рынок, сколько взять?..». И внезапно меня страшно укрывает от того, что я на секунду представляю себя на месте своего друга. А смог бы я жить так, предоставь сейчас возможность, нашёл бы счастье в повседневной жизни, разделённой с другим человеком? Я страдаю от недостатка чувств, мечтаю о том, чтобы заниматься бытом с любимой, но когда всё внезапно срывается, вдруг начинаю этим тяготиться. Спасает только чувство ответственности, да и то надолго его не хватает. Единственный выход – постоянно подпитывать отношения, погружаться в воспоминания, искусственно провоцировать ревность. О детях я вообще молчу. А потом возвращаешься к привычной жизни, некоторое время наслаждаешься ею, придумываешь себе новые развлечения и в один момент вдруг опять срываешься с резьбы, и всё закручивается по-новой. Нет, друзья правы, не могу я жить без драмы. А может мне на самом деле только так и нравится, и пишу я и играю не для того, чтобы что-то понять и поделиться, а просто потакая своему латентному мазохизму. Но где же в таком случае моё место во всей



этой круговерти, неужели это и есть настоящая жизнь, а если да, то какой в ней смысл? Я не хочу так, мне нужны незбылемые ценности, которые всю жизнь ищешь и, заметьте, по этому поводу считаешь себя вправе пить и рефлексировать. И ещё я не хочу на старости лет успокоиться и осесть в уютной берлоге с хозяйственной спутницей жизни приблизительно моего возраста, чтобы коротать с ней досуг. Конечно, в тридцать с гаком легко так рассуждать, а вот когда тебя потряхнёт пару раз, сердце или там почки, запоёшь иначе. Плевать, Скарлетт О'Хара и сидр сегодня наши компас и флаг.

Пью. Тем временем Мэн заканчивает говорить по телефону. Мы ещё немного треплемся, а потом неспешно направляемся к выходу. По дороге говорим о новых альбомах, сходимся на мысли, что «Чужой» и «Терминатор» это классика, в отличие от современного многомиллионного шлага с кучей спецэффектов, Мэн вспоминает компьютерные игры. Зависать за компом я перестал давненько, хотя в своё время (началось это лет одиннадцать назад) немало часов провёл, рубясь в различные шутеры, РПГ и хорроры. Я тогда вообще ушёл от жизни, с людьми общался практически только на выходных, неукоснительно придерживаясь самому же себе навязанного распорядка, тоска, в общем. Не всё, конечно, было так мрачно, но сейчас неоспоримо значительно веселее. Другой вопрос, правильнее ли? Путь Мэна к рынку лежит через мой дом, и я думаю о том, что неплохо было бы взять с собой на пьянку какую-нибудь перкуссию. Блэк блэком, но все мы росли на русском роке, значит обязательно будет гитара, «Чайф» с «Наутилусом», а не подыграть под эти песни недостойно и вообще не в кайф. Прощаемся возле подъезда с Мэном. Мы здорово провели время, успели даже немного пофилософствовать на тему семейной жизни. «Хорошее дело браком не назовут», отлично сказано, почему я раньше этого не слышал? А ещё я узнал, что слово «невеста» происходит от «не ведающая», то есть не знающая. Не завидую нашим предкам, доведись им увидеть нынешних невест. Поднимаюсь по лестнице, наслаждаясь прохладой подъезда, вхожу в квартиру и первым делом ставлю сидр в морозильник, предварительно сделав небольшой глоток. В моей комнате, естественно, жуткая духота, что не удивительно, учитывая тридцатку в тени снаружи. Повсюду пыль и дух апокалипсиса, на ковре весело поблескивают малюсенькие осколки стакана, словно приглашая совершить наконец глобальную уборку. Не дождётесь, может дней через пять, не раньше. Хотя, скорее всего, порядок снаружи мог бы оказать некое позитивное влияние на нынешний образ моего мышления. Но всё это тлен, иначе говоря, в облом, есть ведь значительно более актуальные вещи вроде потребления холодного сидра. Беру в углу рюкзак, предназначенный для дальних поездок (фестивали уровня Вакена, не ниже), и вытряхиваю из него всяческие барабанные причиндалы. В освободившееся пространство помещаю купленный в своё время джембе (хорошо хоть, не одиннадцать лет тому назад). Он встал мне тогда в немаленькие деньги, но это был хороший период, и я мог себе позволить покайфовать. В конце концов, частных уроков английского и испанского ещё никто не отменял. Я немало поиграл на этом инструменте на различных сейшенах, вот и сегодня рассчитываю на достойную отдачу. Перемещаю содержимое сумки в многочисленные отделения рюкзака, извиняющиеся киваю заброшенной комнате, и тут взгляд мой падает на настенные часы. День рождения намечен на три, циферблат показывает без пяти час, ходьбы до маршрутки минут пятнадцать, ехать тоже не так уж и долго. Можно, конечно, попробовать немного поспать, но сидр уже всерьёз взялся за свою основную работу. О, идея, а не зайти ли мне по дороге к Дэнс? Я давно уже собираюсь передать ей кое-какие документы на корректуру, вот и повод образовался. Хватаю с полки нужную папку (там, по крайней мере, моя деструктивная деятельность ещё не успела оставить своих следов), укладываю её в рюкзак и быстренько чухаю к двери, по пути прихватив бутылку из холодильника. Ключ поворачивается в замочной скважине, наушники водружаются на голову, и под звуки Vampire Woodoo я представляю себя упырём, впервые касающимся лилейной шейки ещё не знавшей мужских объятий графини.

Есть такая великолепная чешская группа XIII Stoleti. Два брата-основателя – вокалист/гитарист и барабанщик, а также бас, клавиши и иногда какие-нибудь флейты. Поют почти исключительно на родном языке, что просто не может не зацепить чёрное сердце брата-славянина. «Тва поэзия – верши загробни», «твуй рот е мртвий», «чёрный Луцифер» – чувствуете всю мощь и силу посыла? Плюс не очень сложная, но невероятно атмосферная музыка, то, что я всегда ценил значительно больше любых технических наворотов, и что невозможно создать, не будучи истинным фаном своего дела. В текстах, конечно, Карпаты, Трансильвания, оборотни с вампирами, чародеи, а также куча исторических личностей. Здесь и миссис кровавая ванна графиня Батори, любительница конного стриптиза леди Годива, Торквемада, а также более современные товарищи типа Ницше, Шопенгауэра и даже Энди Уорхола. При этом чуваки не чужды чувству юмора, и порой возникает стойкое ощущение, что для них это не более чем вселенский стёб. Вот уже долгое время мой плейер не покидает сборник лучших вещей «Тжинапте столети».



Ты не спеша возвращаешься домой после пар, покачиваешь головой в такт музыке и наблюдаешь за прохожими с чувством внутреннего превосходства. Они суетятся, бегут по каким-то своим делам, не зная, что настоящая жизнь в том, чтобы посреди лесной чащобы закинуть голову к небу и завить на полную луну, внушая ужас всему окружающему. Особенно классно такая музыка идёт поздней осенью, особенно в дождь. Хорошо бы и сейчас... Хотя нет, о чём это я, какие осадки, сборище у нас сегодня всё-таки под открытым небом. В прошлом году, кстати, внезапно похолодало посреди дня. Было недолго, но интенсивно. Пришлось прятаться под столом. Лучше бы мы туда выпивку с закуской положили, честное слово, можно подумать, постояли двадцать минут под дождём. Где же ваша нордическая стойкость, где хмельная удаль? В общем, лучше всё-таки жара, тем более что с собой всегда есть возможность пополнить недостаток жидкости в организме. Сидр не особо успел охладиться за недолгое время пребывания в морозильнике, но и это всё же лучше, чем ничего. Припадаю к горлышку и делаю глубокий глоток. Оххххх, вот это кайф! Не успеваю убрать бутылку в рюкзак, как в кармане начинает вибрировать телефон. Кто там ещё Гамлета зовёт в столь неподходящий час? Стягиваю наушники и извлекаю аппарат, ласкающий ухо мелодией песни *Thousand million dollars in the fire* орденоносного коллектива *Lucyfire*. На экране светятся четыре буквы Базз. Ага, вот оно что, ну этому я отвечу с удовольствием.

– Улё (стандартное наше приветствие, иногда заменяющееся на «трям»).

– И тебе не хворать.

– Ну что ты там, бухаешь, как всегда?

– Естественно. Вчера, например, в фонтан пьяным упал, чуть не утонул.

– Ой, да что ты мне рассказываешь? Опять, наверное, весь вечер дома просидел и опусы кропал о том, что мы все вырождаемся, а скоро вообще придут рептилоиды, и тогда цивилизации точно конец.

– Гыгыгыгы (стандартное междометие, употребляемое в случае, когда мне нечего возразить).

– Слушай, я по поводу татуировки. Ты там не передумал ещё?

– А когда я передумывал? Как раз собирался размеры обсудить.

– Да, размеры – дело хорошее. Я, например, пятый люблю.

– Ты дебил.

На этом месте мы переходим к техническим деталям. На самом деле Базз – клёвый чувак, умный и начитанный тип, мой хороший друг и близкий по духу человек. Он недаром носит своё имя – жужжит Базз своей татуировочной машинкой весьма убедительно. Для него это скорее хобби, а не способ заработать, даже не хобби, а способ самореализации, возможность вспомнить посреди бытовой рутины о том, что ты всё же что-то оставляешь после себя. Причём, это что-то трудно не заметить, ведь оно имеет конкретные цвета, формы и, конечно же, размеры. Когда-то мне порекомендовали его как хорошего и недорогого мастера, мы один раз встретились, весьма достойно пообщались и разошлись. Результат работы меня вполне удовлетворил. А несколько лет спустя у меня снова случился рецидив «синей болезни», я вспомнил о Баззе, и понеслось. Мы стали видеться едва ли не регулярно, рисунки становились всё больше, и в итоге я умудрился даже получить приглашение в его квартиру. Ну а как гласит старинная народная мудрость «Если Шмерца однажды пустить в дом, он там может завестись». Так и вышло, пословицы не лгут. Попав в святая святых, я тут же почувствовал себя едва ли не полноправным членом семьи, сразу же стал вещать, сыпать остротами и давать космического масштаба советы по изменению некоторых деталей интерьера. Базз, интроверт по природе, стоически выдерживал поток меня, лишь изредка позволяя себе оборвать окончательно распоясавшегося собеседника. Смею надеяться, что его стоицизм обусловлен качеством нашего общения. Мы во многом похожи, иногда он говорит, что со мной неинтересно, потому что вещи, которые я озвучиваю, совпадают с его мнением. Мы читали одинаковые книги и оперируем одними и теми же цитатами из классических кинофильмов. Благодаря Баззу я получил ликбез в области чёрного рэпа, к которому он питал пристрастие ещё со школы, а также узнал, что такое правило 34. Но о последнем молчок, дамы и пуритане не дремлют и только и ждут, чтобы затащить безнравственных вырожденцев в геенну огненную. Там значительно жарче, чем сегодня на улице, не дают ни капли воды, не говоря уже о сидре, а единственное развлечение состоит в игре в бинго с компанией старых дев предпенсионного возраста. И так целую вечность. Кстати, как раз сейчас я прохожу мимо троллейбусной остановки, на которой мы относительно недавно сидели с ним. Тогда я в очередной раз проиграл ему спор. С чего я вдруг решил, что маршрут номер семь не проходит по этой улице? Все ограничилось пачкой буржуйских сигарет, которую я, кстати, до сих пор ему не отдал, но дело же не в материальном аспекте. Кто пару часов назад вспоминал о своей азартности и возможных её последствиях? То-то же, нечего себя распускать, особенно в трезвом виде, в такой ситуации оправдания не может быть по определению.



Мы некоторое время обсуждаем с Баззом размеры и концепцию моей новой татуировки (пока секрет, сорри) и ориентировочно договариваемся о встрече. Я бы с удовольствием почесал языком ещё полчаса, но у него работа, не все же в эти жаркие дни находятся в таком привилегированном положении, как я. Так что он желает мне на прощание «не бухать» и отправляется по своим офисно-компьютерным делам, я же продолжаю свой скорбный путь в компании забродившего яблочного сока. После разговора почему-то не очень тянет продолжать слушать музыку, поэтому наушники так и остаются висеть на шее. Перехожу дорогу на теннистую сторону улицы и двинусь в сторону конторы, где работает моя подруга Дэнс. По пути пересекаю городской сад. Здесь как всегда зелень, беседки, художники и пресловутый фонтан, в который я накануне нырял. Ладно, не было этого, хотя предыдущий вечер я и не провёл дома, сгорбившись за письменным столом, как утверждает мой друг Базз. Снова вытаскиваю телефон, набираю Дэнс и прошу её выйти меня встретить. Ещё минута, и я уже захожу во двор дома, где располагается переводческая контора ЛОГиКА. Сложное какое-то название, я бы даже сказал, неоднозначное. С первой частью вроде всё понятно, логос он даже в наших палестинах логос, и – это союз, а вот дальше логичнее (непроизвольный каламбур) выглядело бы Ко. Ну, типа, слово и его компания, в смысле все остальные слова. Или слово и компания тех, кто занимается его продвижением в массы. А может это просто сокращение фамилий владельцев, почему, собственно, нет? Артём Логвиненко, Елена Кандыба – мы в переводческом бизнесе глыба, ну чем не слоган? Всё забываю спросить Дэнс по поводу истинной этимологии столь заинтересовавшего меня названия. Вот и сейчас после традиционных объятий я тут же выбрасываю из голову свои рассуждения на тему и раз в тридцатый за последнее время начинаю завязшую в зубах повесть. «Вы всё сделали правильно, – говорит она мне, когда повествование, несколько раз пробуксовав, всё же подходит к концу, – если это та самая метафизика, она ещё выстрелит, вне зависимости от чего бы то ни было». Я и сам всё это знаю, только вот понимание ситуации зачастую не приносит желанного облегчения. Расспрашиваю Дэнс про её уроки румбы, про мироощущение и планы. Она говорит, как непросто ей иногда сопереживать своё видение жизни с желаниями и возможностями близких людей, и мне остаётся только кивать головой, затягиваясь в самых значимых моментах. Мне кажется, наши с ней отношения подтверждают старый тезис, гласящий, что для того чтобы быть друзьями, совершенно не нужно общаться каждую неделю или даже месяц. Главное, что при следующей встрече, как я сегодня уже упоминал, диалог продолжился, как будто бы и не было никакого перерыва. А ещё она говорит, что свои люди сходятся друг с другом мгновенно. И это правда, помнится, впервые встретившись в кабаке на одном из ранних концертов моей группы, мы уже через полчаса активно обсуждали прелести U2 и Depeche Mode. Под конец, внезапно вспомнив о якобы настоящей цели своего визита, я передаю ей папку с документами, сообщив, что сроки терпят. В принципе, я мог бы сделать перевод и сам, начальство мне доверяет, да и денег можно было бы сэкономить. С другой стороны я не так уж и копенгаген в специальном переводе, если честно, без наличия шаблонов сподобился бы лишь на жалкий подстрочник. Да и лень играет не последнюю роль, в мире же есть столько более интересных занятий. Короче, вы все в курсе. Мы снова обнимаемся, прощаемся, и я опять пересекаю горсад. Зелень, беседки, фон... «Эй, Шмерц, ты что ли?!». Не скажу, что застываю от неожиданности, не забывайте о концентрации крови в сидре, скорее даже любопытно, кто это так рад меня видеть. Поворачиваю голову на звук голоса, и да, фанфары и фейерверки, ко мне на всех парах летит Мерри-Берри, моя бывшая одноклассница, отъявленная тусовщица, красавица и умница. Она совершенно не изменилась с момента нашей последней встречи (года три назад, не меньше), о чём я с некоторым усилием сообщаю ей, когда пять десятков килограмм с разбега запрыгивают на меня. Стоящая в стороне компания с улыбками наблюдает за разворачивающейся сценой. Мерри обхватывает мне спину ногами, разворачивает лицо к покинутым собратьям и орёт на весь сад: «Подождите, это классный чувак!». Я чувствую лёгкий аромат алкоголя, и губы сами собой раздвигаются в улыбке. Наконец, вдоволь потискав мои телеса, школьная подруга водружает стопы на землю, берёт меня за руку и без промедления тащит к ближайшей беседке. Мы усаживаемся на выкрашенную в белый цвет скамейку, Мерри ныряет рукой в свою... ох, назовём это сумочкой за неимением лучшего определения, и тут же на свет появляется фляга. «За встречу», – не разменивается на лишние слова моя собеседница, и я понимаю, что всё пропало. Можно, конечно, чокнуться с ней сидром, но кому нужны полумеры, особенно когда я помню, что Мерри всегда предпочитала качественный вискарь. Она делает неслабый глоток и передаёт тару мне. Я зажмуриваюсь, мысленно возношу молитвы Одину, Кецалькоатлю и Агура-Мазде и вливаю в себя ядовитую жидкость. Как ни странно, всё проходит как нельзя лучше. Есть подозрение, что организм, приученный к двухнедельной сидровой диете, просто не успел среагировать на более сильные раздражители. Начинается вакханалия воспоминаний. В какой-то момент Мерри припоминает

день, когда незадолго после выпускного мы ещё сложившейся в школе компанией отправились на очередную рок-концерт на склоны. Поверх футболки Iron Maiden и отягощённых медальонами массивных цепочек я водрузил золотую медаль, полученную за особые успехи в учёбе. Блин, вот это мощный ход, удивительно, как я о нём забыл. Внезапно на Мерри накатывает волна ностальгии, и она просит меня напомнить ей кое-что из курса испанского. Учитывая разливающуюся внутри теплоту, сейчас я готов преподавать даже сушили всем демонам ада. Она ненадолго отлучается и возвращается уже с изрядно помятым блокнотом вкупе с фиолетовой ручкой. Стандартный вариант, три группы, AR, ER, IR, правильные и неправильные глаголы, она даже на какое-то время увлекается процессом. Я вывожу в блокноте строчки, попутно что-то привычно объясняю, и вдруг на меня наваливается невыносимая вселенская тоска. Этот алгоритм выполнялся уже миллион раз, и ещё столько же будет выполняться до тех пор, пока мы сами не угробим всё то, что не умеем ценить и хранить. Тогда четыре чумазеньких чертёнка сядут на коней и понесут с собой гибель для окончательно погрязшей в фальши цивилизации. Но ведь есть и те, кому это надо, например моя подруга Кэм. Она фанатична на иностранных языках, и мне в радость раз в неделю открывать для неё тайны романской филологии. Взамен она снимает на видео разнузданные оргии на концертах «Андерграундного света». Не подумайте, это ни разу не бартер, просто так здорово делиться друг с другом тем, что любишь. Но рано или поздно четыре замурзанных всадника всё же поглотят наш мир, и никому не будет спасения, и всему, что мы делаем, суждено навек погрузиться в чёртову черноту. А посему нужно выпить ещё. Хи-хи, ха-ха, она записывает мой номер телефона и обещает к следующей встрече подготовить какой-нибудь связный текст. На данный момент я ни секунды не сомневаюсь в успехе данного предприятия. Мы лобзаемся, я возвращаю Мерри вконец истосковавшейся компании, и с некоторым усилием приподнимаю своё седалище над поверхностью скамейки. Так, всё, до приезда больше никаких возлияний, тем более сидром, планка уже поставлена, и снижать её категорически нельзя. В который раз прорезаю муниципальный сад (ну не люблю я одни и те же определения) и застываю на обочине дороги в ожидании маршрутки.

Последняя не заставляет себя долго ждать, спасибо вышперечисленным богам. Я даже не успеваю достать из сумки сигарету. Мой друг Трикстер, ныне временно переместившийся в столицу нашей необъятной родины, дабы поправить своё материальное положение, а заодно и возродиться к новой жизни, когда-то рассказывал мне об одной из констант бытия. Стоит тебе закурить на остановке, как тут же появляется долгожданный объект. Сегодня мне удалось немного сэкономить на табаке. Картина внутри транспортного средства не слишком радует, однако я особо и не рассчитывал на свободное место. Потрясёлся стоя, не в первый раз. Конечно, неизмеримо круче засесть где-нибудь в конце салона, желательно у окна, надеть наушники и погрузиться в волшебный мир фантазий, окрашенный во все цвета когда-либо существовавших горячительных напитков. Но что делать, придётся наблюдать за жизнью сквозь давно немые окна в окружении сограждан, ничего не знающих о Сартре и предпочитающих экзистенциальным журавлям унылый звон пятаков в кармане. Внезапно я вижу в стекле Приста с большим кулком в руке, неторопливо несущего куда-то своё внушительное тело. Скорее всего, в церковь на службу. Вот с такими людьми я периодически общаюсь, притом с удовольствием. Недоумеаете? Что ж, готов пояснить, даром что ли во мне бурлит сотка виски. Когда-то, ещё не будучи Пристом, он учился в одной со мной школе, только на несколько классов младше. У них тоже подобралась компания начинающих рокеров и ниспровергателей ценностей, посему они с благоговением смотрели на нас, выпускников с хайрамаи и при девушках, которые не упустили случая преподать молодой поросли азы неформальной жизни. Впрочем, Прист достаточно быстро переплюнул нас всех, несмотря на разницу в возрасте. Уже годам к двадцати у него было несколько явно антихристианского толка татуировок, ну а о загулах его в компании ходили легенды. Он действительно допивался до белой горячки, хотя тогда нам это всё ещё казалось признаком крутизны, не имевшем ничего общего с состоянием физического и морального здоровья. Помню, как мы несколько раз просыпались с ним на каком-нибудь случайном флэту, где куролесили всю ночь, и, неопохмелённые, но тем не менее весёлые, рассказывали друг другу бесконечные байки из школьной жизни. Вы знаете, схождения-расхождения, случайный секс, гробовая дружба и прочие атрибуты нашей бестолковой жизни. Потом он куда-то пропал. Периодически до меня доходили слухи, что чувак заработал цирроз/сел известно куда/повесился/умер, но хотя бы своей смертью. И вдруг я узнаю, что бывший алкоголик и адепт тёмных сил переквалифицировался едва ли не в священники. Скепсис, неприятие и матерщина. А потом мы случайно встретились на улице. Прист погрузнел, раздался, но за всё время разговора меня ни разу не посетила мысль, что всё это он делает исключительно в попытке спастись, не погрузиться окончательно в пучину алкогольного безумия. Я всегда с неприязнью относился к экс-прожигателям жизни, которые к



пятидесяти столкнулись с суровыми реалиями бытия и быстренько обратились к богу. Здоровье уже не то, излишества чреватые, нагрешено достаточно, надо замаливать грехи. Кто знает, а вдруг там всё-таки что-то есть, лучше заранее перестраховаться. В конце концов, если бог создал нас по своему образу и подобию, значит, с ним тоже можно договориться. В случае с Пристом всё совершенно по-другому. Он не проповедует, не учит, хотя, конечно, христианская риторика периодически проскакивает в его речи. Он по-прежнему периодически слушает сырой тру-блэк и не считает это зазорным. Иногда мне непросто с ним, сами понимаете, тяжело ассоциировать образ батюшки с весёлым алконоидом и порноманом из прошлого. Впрочем, это всё мелочи. Прист нашёл свой путь (у него, кстати, жена и маленький ребёнок) и старается достойно по нему следовать. Не то что я, кусок глины, прекрасный материал для дьявола. Шучу.

Парочка, занимающая два кресла, возле которых я стою, вдруг поднимается и движется в сторону выхода. Вот он, мой шанс. Одним броском переправляю своё тело к вожделенному окну, кладу рюкзак на колени и довольно выдыхаю. Рядом устраивается какой-то слегка бомжеватого вида тип, но это меня сейчас совершенно не заботит. Алкоголь – лучшая дезинфекция. На радостях приоткрываю шторку, мешающую обозревать пейзаж. Районы, кварталы, всё то же, только на более высокой скорости. Мы долго будем ехать по бесконечно унылой дороге с её СТО, дешёвыми пролетарскими кабаками, фабриками и заводами технических резиновых изделий, а затем достигнем развилки. Если повернуть налево, то через пятнадцать минут достигнешь места, где мне нужно будет выходить, а ещё дальше находится славный портовый городок Приморск. Правое ответвление в конечно счёте приведёт путешественника в не менее славный посёлок городского типа Синеморское. Схожие названия, но какие разные пути. В Приморске я был дважды. В первый раз чуть больше одиннадцати лет назад, когда нас пригласили местные знакомые полазать на Дне города. Мы загрузились в на глазах разваливающийся автобус, с трудом выдержали дорогу, приземлились на каком-то флэту, выжрали всё имевшееся пиво, а потом вдвоём что-то пытались изобразить на водружённой на центральной площади сцене. Некоторым даже понравилось. Признаюсь, что убил бы того, кто захотел бы продемонстрировать мне записи того действия. Их в природе не существует, но всё равно лучше не рискуйте. Второй раз мы отправились туда четыре года тому назад с моим любимым другом Греем, предварительно слегка подогревшись кагором недалеко от автостанции. Сейчас я понимаю, что это было хорошее время. Организм требовал свежих эмоций и умеренных приключений, а недостаток драмы восполнялся за счёт периодических похмельных рассуждений на тему тщетности всего сущего. Тогда я использовал любую возможность, чтобы хоть ненадолго вырваться из привычного контекста. В маршрутке мы с Греем активно обсуждали перспективу того, как однажды заживём вместе (в хорошем смысле, вы же меня знаете). В нашей квартире будет здоровый диван, холодильник с бухлом и закуской, а также огромный плазменный телевизор, к которому мы подключим наш X-Vox 360, и сможем вечно наслаждаться шедеврами игровой индустрии. На нас, наверное, неодобрительно поглядывали, но кого это тогда волновало? Приморск, площадью всего в четыре квадратных километра, идеальное место для прогулок. Тишь, гладь, почти нет людей, всё тщательно убрано. В центре есть знаменитый каскад фонтанов – куча шарообразных штуковин, извергающих летом воду. Дело было зимой, ничего не работало, но нам с Греем это не помешало понять, что город на самом деле является прибежищем культистов, поклонявшихся Йог-Сототу (есть в книгах великого магистра ужасов Г.Ф. Лавкрафта такой не поддающийся человеческому пониманию персонаж, обычно изображаемый в виде скопления шаров). Ещё там есть своя стена Цоя, на это стоит посмотреть. Были сувениры и посиделки в кабаке с вином, и дорога обратно с хорошим настроением и ощущением выполненного дела. И всё же драма не дремала, и всё-таки настигла меня несколько месяцев спустя. «Свет во тьме» пригласили в Синеморское поиграть на небольшом фестивале. Ехать мы решили электричкой с целью экономии средств, которые предполагали вложить в значительно более приятные вещи. Собралась немаленькая компания. В дороге девушки аристократично попивали шампанское, мужская часть довольствовалась пивом (кое-кто страдал неслабым похмельем), а уравнивала всех снедь – пирожки, покушавшиеся у бабушек на полустанках, прямо как в песне Чиж. Два раза к нам подходили люди в форме, но что возьмёшь с нищих музыкантов. Я, к слову, держался дольше всех и в электричке практически не пил, зная, какое влияние заблаговременно принятый алкоголь оказывает на координацию движений. Принимать нужно минут за пятнадцать-двадцать до начала выступления, плюс немного в процессе, тогда эффект слияния с музыкой и публикой будет почти гарантированно достигнут. Главное, чтобы не вырубил электричество. Фестиваль проходил на открытой площадке какого-то бара. Было достаточно жарко, вторая половина мая, и некоторые из наших даже рискнули омочить телеса в водах местной реки. Я воздержался, предпочитая понемногу подогреться вином. Мы неплохо качнули в тот день, было много восторгов со стороны публики, автографы, наполнение бокалов



и рюмок, приглашения. Не хочу относить это на счёт нашей невероятной крутизны, просто в маленьких городах всегда наблюдался дефицит мероприятий, а тут вдруг тяж, пацаны едва ли не из столицы, месят угарно, да ещё и, вроде, на родном языке. Потом все большой компанией пьянствовали на пляже, и уже в темноте нетвёрдым шагом отправились на квартиру, где нас должны были разместить на ночь. В шесть утра мы собирались покинуть гостеприимных хозяев и отправиться домой на первой электричке. Опять полилось в стаканы и рюмки, начались братания-обнимания, в голове угрожающе сгустился туман, и вот тогда-то я и столкнулся с ней. Мы стояли на балконе и курили, я о чём-то разглагольствовал, потом начал читать стихи, классический расклад. Потом мы отправились в комнату, закрыв за собой дверь. Поверьте, во всём этом нет никакого удовольствия, лишь алкоголь и многолетняя жажда тепла и любви. В пять утра я громогласно заявил, что никуда не еду и вообще остаюсь здесь жить. Компания понимающе улыбнулась и отправилась на электричку. Утром я немного поправился портвейном, и она потащила меня к себе домой. Там я ел борщ и рассматривал её школьные фотографии. Выяснились некоторые подробности жизни: непростые отношения с матерью, финансовые напряжения и предыдущая любовь, от которой остался шрам на запястье и нежелание ни с кем сблизиться. Мне было плевать. К четырём я кое-как вызвал такси, доехал до автовокзала и погрузился в маршрутку. Душа пела, и я рассылая друзьям восторженные сообщения на тему того, как музыка помогла мне обрести счастье. Я представлял, как перевезу её к себе, и мы заживём настоящей жизнью. Дальнейшее нетрудно предположить. Она несколько раз ответила на мои звонки, при том что общение было скудным и сухим, а потом и вовсе пропала. «Если женщина не берёт трубку, значит, она не хочет с тобой разговаривать», – сказал мне в тот момент Степ, наш тогдашний басист, удивительно мудрый тип. В глубине души я понимал это и сам, но кто из нас способен сразу смириться с суровой правдой, не насилуя сознание иллюзиями? Я сорвался. К тому же в то лето в моей квартире был ремонт, и я скитался по обиталищам друзей и товарищей. В теории выглядит привлекательно: ты просыпаешься утром на чужом флэту, достаёшь телефон и вальяжно листаешь записную книжку, размышляя, кого бы ещё осчастливить своим присутствием следующей ночью. На деле за всей этой богемной шелухой нет ничего, кроме желания забиться в свою берлогу, принять душ и спокойно уснуть, оставив за бортом реальность. Тогда я всюду носил с собой тетрадь и ручку, используя любой подходящий момент, чтобы записать ещё несколько строчек задуманной вещи. Со временем выяснилось, что это была повесть. Я всё-таки дописал её и очень ценю именно потому, что до сих пор помню состояние тоски и безысходности, от которых меня хоть как-то спасало творчество. Потом начался учебный год, заиграла музыка, жизнь постепенно вошла в привычную колею. Но я ничего не забыл. Вы можете сказать, что глупо так страдать из-за человека, которого видел раз в жизни и совершенно не знал, и будете правы. Но что скажете вы, если я напомню вам о желании тепла и любви, вы, всё подсчитавшее прагматики с вашими бигудами и холодцами? Я не знаю, что из себя представляет наш мир, но если смысл лишь в том, чтобы хорошенько обустроить в нём свой зад, то увольте, я так не играю. Недаром Карлсон был одним из моих любимых литературных персонажей детства.

– Я же просила возле входа на пляж, квартал целый уже проехали! – возмущённый голос грубо выкидывает меня в реальность. Тётка с мягко говоря излишним весом стоит у задней двери и орёт так, что мясистое лицо багровеет, и складки на нём ходят туда-сюда не хуже чем у Великого Ктулху. Монументальной рукой тётка сжимает запястье маленькой девочки в белом сарафане. У девочки панамка на голове, удивительно интеллигентный вид и налитые слезами большие глаза. По-видимому, она совершенно не понимает, что происходит, и готова выйти где угодно, лишь бы прекратились эти вопли.

– А машины куда вы денете, или сами вылезете и их распахаете, не могу я нигде припарковаться, не ясно что ли?! – водитель старается не проигрывать по уровню выдаваемых децибел своей оппонентке. В этом конфликте я всё-таки в большей степени на его стороне, и дело совсем не в мужской солидарности. Во-первых, на обочине действительно громоздится куча машин, не дающих припарковаться, во-вторых, больно уж мерзкая у тётки рожа. Кем бы ни приходился ей этот ребёнок, я ему не завидую. Наконец, водитель бросает маршрутку в образовавшуюся на обочине щель и тормозит так, что по салону проходит волна. Тётка по-слоновьи выбирается наружу, вытягивает девочку, при этом продолжая извергать какие-то инсинуации в адрес водилы, хозяев маршрутки, правительства, внешних и внутренних врагов, ЕС, иллюминатов, магнитных бурь и сил гравитации. Водитель смачно ругается, закрывает двери, и мы трогаемся. Инцидент, казалось бы, исчерпан, но семена уже посеяны. Заскучавший во время поездки народ начинает обсуждать произошедшее, плавно скатываясь к теме ситуации в стране. О нет, только не политика, всё что угодно, хоть подробности личной жизни придворной певицы с нильским крокодилом. Меня всегда поражало, какие у нас умные люди. Все знают, как обустроить жизнь в государстве, дай им власть, и через



полгода у нас везде зацветут сады Семирамиды, а из любого отверстия в земле начнут немедленно бить фонтаны хереса. Один я иднот на этом свете, ничего не знаю и не понимаю, поэтому стараюсь держаться от всего этого дерьма подальше. Страусиная позиция, нежелание видеть проблемы, да сколько угодно. Если бы каждый честно делал своё дело на своём месте... Да ладно вам, Шмерц Фенризович, что за пафос, виски, никак, перебрали. Успокойтесь, на такой случай у вас всегда есть наушники и сидр, хотя данные себе обещания нужно выполнять. К тому же не будем забывать, что наши люди начинают интересоваться политикой лишь в самые критичные для страны моменты, как сейчас, например. В другое время им всё это побоку, потому что мы никогда не имели никакого отношения к деятельности властей, не влияли на неё, а просто решали свои проблемы и старались выжить. Тянусь к наушникам, но в это время дискуссия потихоньку начинает сходиться на нет. Я расслабляюсь и даю себе ещё одно обещание ничего не пить до приезда. А мы уже, кстати, совсем недалеко. Ещё один поворот, и вдали покажется придорожный магазинчик, возле которого мне надо будет выходить. Маршрутка поворачивает, и я вижу в стекло нехилых размеров билборд с рекламой предстоящего концерта некой r'n'b star Кристины Ли. А она вообще ничего, брови приятного изгиба, выразительные чёрные глаза, шапочка так миленько смотрится на каштановых волосах. Жаль, интернет на мобилке медленный, приеду домой, обязательно посмотрю кто она и чем конкретно занимается. Это могло бы стать началом серьёзных отношений. Смуцает, конечно, r'n'b, но девочка на вид достаточно молодая, можно ещё успеть перевоспитать, привить хороший вкус. Глядишь, со временем и вместе запоём. Ещё немного напрягают армянские нотки во внешности. Не подумайте лишнего, я не расист, «Системов» очень люблю и про геноцид со стороны турок читал. Но, блин, женюсь я на ней, а она рожать начнёт, раздастся, усики над губой появятся, сцена по боку, а трепыхаться ни-ни, в случае чего папаша-горец быстро кинжал, родовую реликвию, куда надо вставит. Посему отложим наши планы до лучших, более трезвых времён, когда можно будет сесть и детально во всём разобраться.

Подъезжаем к вышеупомянутому магазину. Расплачиваюсь и в обнимку с рюкзаком попадаю прямо в объятия адского пекла. Не хватает только играющих в бинго климатических матрон. Трясущимися руками расстёгиваю змейку и припадаю к бутылке, как к устам любимой, вновь обрётённой после долгих лет разлуки. Всё честно, я обещал не пить до приезда, и вот я здесь. Утолив духовную жажду, вновь берусь за телефон. «Здорово, вы там уже, я возлемага, чего-чего, ладно, зайду, иди-то как, ага, ага, всё, понял, скоро буду». Подводим итоги. Дорогу я выяснил, в прошлый раз не всё запомнил, теперь надо купить пять литров воды. По голосу именинника чувствуется, что компания собралась несколько раньше, чем было заявлено, и зря времени не теряла. Неудивительно, что о покупке воды они думали в последнего очередь. Всё это не совсем кстати, учитывая воддырь на пятке, который с утра не давал о себе знать, а сейчас вдруг стал требовать внимания. Впрочем, другого выхода нет. Захожу в магазин. Обстановка внутри напоминает какой-нибудь америкосовский фильм восьмидесятых. Стеллажи с продуктами, кондиционер, здоровенный холодильник с колой, журналы, продавец на кассе смотрит в экран небольшого телевизора. Сейчас я должен вытащить из-под плаща дробовик, навести его на ботана, подрабатывающего во время каникул, и прохрипеть: «Давай-ка посмотрим, что тебе дороже – баксы или твоя башка?». Само собой, ботан ринется выгребать из кассы купюры, я буду нервно поигрывать смертоносным девайсом, и в этот момент откроется дверь, и войдёт Робокоп. «Директива номер два, защищать невинных. Сэр, вы совершаете серьёзное правонарушение. Немедленно опустите оружие, положите его...». «Это что ещё за дерьмо, АААААААААА!!!!!!». Дальше, ясное дело, перестрелка, продырявленные чипсы с колой, я лежу на полу, злобно матерясь, продавец-ботан пляшет вокруг невозмутимого стража порядка. На деле всё значительно прозапичнее. Я беру канистру и, слегка морщась при соприкосновении пятки с полом, отправляюсь к кассе. Парень лет двадцати с причёской типа «пожар в борделе» смотрит какой-то альтернативный музыкальный канал. Знаем, плавали. До сих пор не могу забыть одну историю. Как-то на подобном канале подсмотрел, как в чате администратор предлагал всем зрителям сыграть в несложную игру. Победитель получал право заказать клип. Давалось слово, из букв которого необходимо было составлять другие слова. Назвавший последнюю лексему вышгрывал. Не помню уж, какой там был исходник, но кто-то написал «ареал». Админ возмутился, мол, такого слова не существует. Знаток специальной лексики оказался не льком шит и тут же прислал ссылку на статью в авторитетном словаре. Админ неохотно согласился засчитать слово, при этом создавалось впечатление, что он делал писавшему, а заодно и миру колоссальное одолжение. В итоге последним оказалось слово «клема». «Клема», мать её так, понимаете, с одной буквой «м»! Без комментариев, хэйт, хэйт и ещё раз хэйт! Поклонник альтернативы пробивает мне чек, не отрываясь от телевизора, и я быстро покидаю магазин, так ничем и не поживившись. С другой стороны перспектива получить пендель от такой железки, как Робокоп, меня явно не прельщает. Так что я просто пересекаю



бетонную площадку, перехожу дорогу, прохожу мимо ресторана в виде деревянной башни, взятого за ориентир, и ступаю на посыпанную гравием дорожку, которая должна привести меня в чертоги Валгаллы или на худой конец на грандиозную пьянку.

Маршрут я худо-бедно помню ещё с прошлого раза. Сколько всего изменилось, даже не верится. Год назад, когда я топтал этот же самый гравий, мне казалось, что в запасе у меня ещё полно времени, и вообще всё как-то образуется и станет на места. Выяснилось, что времени-то как раз и нет, впрочем, как всегда. Ну да ладно, об этом сейчас нельзя, впереди виднеется цель, и к ней нужно идти с чистым сознанием. Через пару минут ходьбы дорожка упрётся в шлагбаум. Тогда нужно будет повернуть направо, где начинается зелёная зона. По обеим сторонам тропинки раскинулись всяческие насаждения, а через каждые метров пятьдесят в землю вкопаны столики с двумя железными скамейками, специально для любителей запивать водкой шашлык на природе. Я в своей жизни неоднократно бывал на всяких пикниках-маёвках, однако так ни разу и не поучаствовал в процессе приготовления мяса. Дрова, костёр – это ещё ладно, а вот священнодействие готовки меня совершенно не возбуждает. Да и чревоугодник я ещё тот, закуску воспринимаю исключительно как закуску. Утрирую, конечно, по-моему, любому человеку нравится вкусная пища, другое дело, что для некоторых это перерастает в культ. Классика: приходишь в детстве в гости к школьному товарищу и не успеваешь переступить порог, как бабушка, реже мама, начинает тебя кормить. И попробуй только не похвалить кулинарных достоинств хозяйки или, о ужас, отказаться. В будущем на тебя будут смотреть в лучшем случае жалостливо, как на убогоного, которому дома не объяснили, в чём радость жизни, в худшем же ты станешь вызывать подозрение. На самом деле я очень хорошо понимаю этих фанаток гастрономии. Мне кажется, каждый человек приходит в мир для того, чтобы реализовать себя тем или иным образом и сознательно или подсознательно воспринимает это как основной смысл своего существования. Другое дело, что самореализация может быть очень и очень разной. Для одного её степень выражается в количестве мобилок, отнятых в подворотнях у беззащитных подростков, для другого в количестве сделанных им научных открытий. И в этом контексте бабушки с их полными вкусоностями тарелками выглядят вполне на своём месте. Просто меня ещё с детства жутко обламывало излишнее к себе внимание со стороны малознакомых людей, особенно взрослых, и в гостях я всегда предпочитал забраться с книжкой куда-нибудь подальше от посторонних глаз и уже там совмещать духовную пищу с телесной. Это отношение сохранилось у меня до сих пор.

В таких достойных Гегеля и Канта размышлениях я, пройдя мимо нескольких весёлых компаний, незаметно достигаю облюбованной адептами чёрного металла полянки. Адепты сидят за уставленным напитками и яствами столом, курят, гогочут; всё, как в лучших домах Европы. Так, так, стало быть виновник попойки с супругой, ритм-гитара/вокал также в сопровождении спутницы жизни, ещё одна семейная пара – старые друзья группы, и... О, а вот это уже интересно. Девушка по имени, кажется, Джа, её я хорошо запомнил с прошлого раза, обнимающий её тип, и, а вот это уже действительно неожиданность, некто Риддл. Лично мы не знакомы, но я много слышал о ней от нашего фронтмена, в своё время они плотно общались. Ну-ну, вечер явно не обещает быть томным.

«Блин, Шмерц, ты где так долго бродишь, водка греется, шашлык остывает, быстро штрафную ему!». Мэд, девяносто с лишним килограмм живой массы и по совместительству бас-гитарист «Лампочки в подвале» щедро плещет в пластиковый стакан бесцветную жидкость, оглашая при этом окрестности своим неповторимым басом. Он хайрат, бородат и вообще ужасен. Встретишь такого где-нибудь в тёмной подворотне, может и кондратий от страха хватить. А между тем у чувака за могучей спиной два высших образования, куча прочитанных книг и многолетний стаж работы в крутом проектном бюро. Поочередно здороваюсь со всеми собравшимися, подходя к Риддлу, делаю подобие книксена. Похоже, меня действительно рады видеть, хотя допускаю, что возлияния играют в этом не последнюю роль. Скрим, наш вокалист, подвигается, освобождая мне место рядом с собой. Плюхаюсь на скамейку, а Мэд уже пододвигает ко мне тарелку с двумя кусками шашлыка и прочими помидорогурцами. «Ты чего такой мрачный, с похмелья, никак, на одень очечки, сразу по-другому на мир посмотришь». Скрим снимает со своей головы очки и водружает их мне на переносицу. Ну вот, этого следовало ожидать, весь мир сразу же окрашивается в жёлтый цвет. «Видишь, а ты говоришь, мрак и чёрная меланхолия», – смеётся лицо коллектива. «Такое впечатление, что у вас у всех желтуха», – замогильным голосом изрекаю я, возвращая очки хозяину. Народ веселится. Никто из них, кроме Скрима, не в курсе ситуации, да и тот знает только общие моменты, и именно поэтому старается всячески меня растормошить. У него не очень хорошо получается, но исключительно потому, что я сам выбрал для себя позицию страдальца Вертера и упорно не хочу выходить из образа. Пьём. Водка обжигает горло, за две недели отвыкшее от крепких напитков, и я немедленно бросаю в топку изрядный



кусоч жареного мяса. Почти мгновенно по телу разливается тепло. Ох, чует моё сердце, добром всё это не закончится. Солнце припекает голову, а в желудке бурлят напитки разного градуса. Совершаю усилие и заставляю себя что-то есть, чтобы через некоторое время не перейти в состояние безжизненного тела. Беседа за столом идёт своим чередом. Обсуждается предстоящая нам в скором времени поездка на фестиваль километров за семьсот от родного города. Все преисполнены предчувствием грандиозного дебоша, а я думаю о том, как хреново мне будет после возвращения. Наверное, правы психологи, когда говорят о необходимости позитивного мышления, только вот я так не могу. Вернее могу, но не хочу. Как бы ты ни отдавался происходящему, как бы ни выжимал всё возможное из каждого момента, рано или поздно всё закончится. Наступит отрезвление, и реальность повернётся к тебе своей серой стороной, неся апатию и очередное разочарование. Это так мерзко, что не оправдывается никакими склонностями к мазохизму, но я понимаю, что такова неизбежная плата за привилегию жить не как все. Каждый из нас жаждет такой жизни и, боюсь, ни на что её уже не променяет. А ещё мне в голову приходит то, что я индивидуалист. По правде говоря, большинство блэка и прочего идеологически заангажированного тяжа – откровенная туфта. Все эти язычники и сатанисты ничем особо не отличаются от зомбированных христиан, каждый считает, что является носителем универсальной истины и должен осеменять ею загнивающее общество. Но что меня действительно привлекает в тусовке чернушников, так это их отрицание общепринятых догм, нежелание хавать сладенькие пилюльки, которые нам щедро предлагают политики и моралисты. Мизантропы типа того же Ферриза, живущие едва ли не в лесу вдали от цивилизации, не могут не вызывать уважения хотя бы своей последовательной позицией. Я никогда не был революционером, меня всегда значительно больше прельщала другая стратегия. Ты не идёшь против системы, ты стараешься в неё вписаться, не прекращая делать то, что считаешь нужным. Так же и с отношением к себе. Кто угодно сказал бы мне, что сейчас самое время оставить воспоминания, заняться своим здоровьем и посмотреть, что происходит на светлой стороне жизни, но я этого делать не буду. Есть вещи, которые до последнего нельзя отпускать, потому что иначе потеряется всё то святое, что вкладывал в них когда-то, и впредь все слова, обещания и клятвы ты уже будешь воспринимать по-иному. К тому же умеренное саморазрушение это ведь так увлекательно.

Тем временем народ собирается купаться, благо море всего в десяти минутах ходьбы от места нашей дислокации. Выясняется, что не все дамы озаботились тем, чтобы захватить с собой купальники. Скрим заявляет, что в его время подобной проблемы вообще не было как таковой. «В смысле, в твоё время у девушек не было груди?», – подаю я реплику. Всеобщее оживление. Как и я, он не собирается совершать водные процедуры, кто-то должен остаться присматривать за барахлом, да и вообще облом. Нас в несколько голосов просят блюсти себя в отсутствие остальных, дабы не обнаружить по возвращению два недвижных тела. «Да хрен с ними, с телами, главное чтобы с вещами ничего не случилось», – снова встречаю я. Наконец, дамы и господа удаляются совершать омовение в не очень предназначенной для этого морской воде, и мы остаёмся вдвоём. Скрим – деликатный тип, он редко задаёт мне прямые вопросы, не желая травмировать ранимую блэкерскую психику. Видимо, сказывается интеллигентная профессия, наш вокалист потомственный химик и даже читает лекции на химфаке на полставки. Впрочем, после ещё одного стакана вкупе с шашлыком я сам начинаю изливать душу. Моё повествование долгое, подозреваю, что нудное, и избилует множеством подробностей. «Слушай, мне трудно что-то здесь сказать, у меня такого опыта никогда не было, да и слабо, честно говоря, верится в... Ну, ты понял. Просто мне кажется, ты немного заигрался в Дон Кихота, нет великанов, значит, будем с мельницами сражаться. Чувак, ты многое себе напридумывал, расслабься, поиграй музыку, пообщайся с людьми, с женщинами, в конце концов, глядишь, что-то и сложится». Он продолжает говорить важные и правильные вещи, всё верно, мне действительно стоит прислушаться к окружающим, понять, принять, простить и отпустить, да только вот душа всего этого не желает. «Если душа болит, значит она есть», – сказал мне как-то Прист, и, блин, один этот аргумент перевешивает десятки килограмм атеистических брошюр. И я отвечаю ему, говорю долго и с чувством, и в какой-то момент даже сам начинаю кайфовать от своих собственных ораторских способностей. Хорошо бы, чтобы за мной всегда ходил писец, такая себе помесь стенографиста и литературного негра. Он бы записывал все мои перлы, шуточки, саркастические замечания, размышления о сути мироздания, концепции, а потом, скомпилировав всё исторгнутое гениальными устами и облагородив это пристойным сюжетом, выдавал бы на-гора очередной бестселлер, что-нибудь под крикливым и претенциозным ярлыком. Нео-поток сознания, например. Книжки, конечно, издавались бы под моим именем, но не спешите обвинять маститого литератора в алчности и неблагодарности. Масса Шмерц никогда не обидит своего анкла Тома, в конце концов, масса родом из прогрессивной семьи северян-аболиционни-



стов, он не какой-то там пузатый плантатор. Всё по-честному, контракт, бонусы за оперативность, всем спасибо, все свободны. Внезапно меня пронизывает ощущение собственного эгоизма, нежелания вникать во что-либо, кроме своих рефлексий. Это так гнусно и так больно, что я прерываю разговор, накатываю ещё полтинник и бреду к расстеленному на траве покрывалу. Плюхаюсь на него, что-то бормочу и тут же проваливаюсь в глубины сна. Всем ещё раз спасибо.

Я беру заключительный аккорд, и чуваки за моей спиной начинают валить коду последней в сегодняшнем сете песни. Зал беснуется перед моими глазами, плакаты и шарфы ходят туда-сюда, но я вижу только сплошное пятно, в которое спрессовались потные лица и тела. Как могло так случиться, что слова, в которые ты столько вкладывал, превратились в грёбаный целлулоид? Откуда я знаю, как их воспринимают те, кто заполняют сейчас зал, где гарантия, что они видят в этих текстах именно то, что я пытался выразить? А может, я сам во всём виноват? Так просто, заправшись в декадента, выпустить джинна из бутылки. Кто из нас думает о последствиях, опьянённый вином и творчеством? Да и было ли в этих стихах нечто большее, чем просто сублимация и тяга к эпатажу? Я ничего не знаю, я просто хочу виски и спать, спать так долго, как только возможно, а проснувшись, обнаружить себя в совершенно ином мире. Там всё будет просто и ясно, на каждом углу стоят автоматы с газировкой, и не надо больше пить и мучиться воспоминаниями. Звучат традиционные слова прощания, и я с облегчением покидаю сцену. Коридор, освещённый яркими лампами, менеджер что-то кричит под ухом, но все мои помыслы направлены исключительно к бутылке виски на столе в гримёрке. До выступления можно максимум сто, это я уже хорошо усвоил, крепко облажавшись пару раз. Тогда группа была на грани развала, продюсер пригрозил разорвать контракт, и внушение возымело действие, я стал стараться потреблять исключительно после, да и то, честно говоря, без фанатизма, скорее в качестве снотворного. Крепкий сон для меня сейчас лучшее лекарство. Вот она, обратная сторона рок-н-ролла. Ты так много читал о ней в книгах и не думал, что рано или поздно столкнёшься с этим сам. Футболки с яркими принтами, слава, волоокне барышни – всё это пройдёт, останется только усталость и непонимание. В гримёрке гудит кондиционер, вокруг красиво и приятно, в смысле стерильно и прохладно. Никакого вам разбросанного по полу нижнего белья или отпечатков помады на зеркале. Всё-таки мы поём о вечных вещах, а не о нехитрых радостях жизни в пубертатный период. Закрытая за спиной дверь не успевает хлопнуть, а я уже присасываюсь к горлышку. Вожаденный кайф наступает почти мгновенно, и да, это, пожалуй, единственное, в чём я так и не разочаровался за много лет. С моими, с позволения сказать, бэндмэйтс мы в последнее время почти перестали общаться, как ни крути, а переход от мужского клуба по интересам к профессиональному чёсу не может не сказываться. Выработался даже алгоритм, который никто ни разу не озвучил, и которому все неукоснительно следуют. Чуваки ждут, пока я выпью положенное и потихоньку пошкандыбаю в объятия таксомотора, и уже потом заходят в гримёрку. Чем они там занимаются меня не слишком интересует. Мы, мать его, организм. Ты же не задаёшь себе вопрос, какой жизнью живёт твоя печень в то время, когда ты спишь? Ещё один глоток, и вот я уже вроде как готов к заключительному этапу этого дня. Такси ждёт меня у чёрного входа, организаторы свою работу выполняют чётко. Никогда не мечтал о собственном транспортном средстве, плюс возлияния. Выхожу из гримёрки, слегка покачиваясь, движусь по коридору, механически отвечая на чьи-то приветствия, открываю массивную дверь с угрожающей надписью EXIT и вываливаюсь на улицу. Снег прекратился, но даже несколько метров до припаркованной у обочины машины я преодолеваю с трудом, ежесекундно рискуя повредить драгоценное тело о сковавший брусчатку лёд. Наконец, эпический герой преодолевает все препятствия и втискивается в салон автомобиля. Внутри полумрак, приглушённо играет радио, и вообще всё нацелено на то, чтобы создать у позднего клиента ощущение максимального комфорта. Впрочем, мне плевать, лишь бы скорей оказаться дома. Спасибо водителю, он молчит всю дорогу, позволяя мне плавать в блаженной пустоте, порождённой виски и многодневной усталостью. Так проходит минут десять, и, наконец, машина тормозит у моего подъезда. Я благодарю водителя и вылезает из салона. Обычно я стараюсь не пользоваться лифтом, но сегодня подъём на последний четвёртый этаж кажется мне восхождением на Монблан. Несколько раз безрезультатно пытаюсь попасть ключом в замочную скважину и с пятой попытки всё-таки достигаю цели. Закрываю за собой дверь, стараюсь производить как можно меньше шума, и в этот момент в прихожей загорается свет. Она стоит на пороге комнаты и пристально смотрит на меня. На ней красный домашний халат, и волосы собраны заколкой на затылке, это значит, что она так и не ложилась, поджидая меня.

– Ты опять пил?

Я не хочу оправдываться, это бессмысленно, за столько лет совместной жизни она научилась определять количество выпитого с одного взгляда. Самым разумным сейчас было бы молча пойти в спальню, но я



не могу, какой-то бес сидит во мне, заставляя каждый раз произносить ненужные гадкие слова. Но как я могу молчать, как это возможно, хотел бы я посмотреть, что бы сделали вы на моём месте.

– Я тебя прошу, не начинай. Сто грамм после концерта, просто чтобы успокоиться, ты же знаешь, как меня всё это утомляет.

– Да мне плевать на твои сто грамм, хоть двести, хоть бутылка. Ты же разрушаешь свою жизнь и мою тоже, разве ты не видишь?

– Разрушаю?! – я начинаю закипать, обида и злость поднимаются на поверхность, и, похоже, мне опять придётся отойти в сторону и просто наблюдать очередную безобразную сцену, не в силах хоть как-то повлиять на происходящее. – Это ты мне будешь говорить про разрушение? Посмотри, как живёшь ты и сравни себя со своими подругами. Ты в магазине на ценники даже не смотришь, шмотки недешёвые покупаешь. Нравится тебе в детском саду работать – на здоровье, ты даже не знаешь, какая у тебя зарплата. Чего тебе ещё нужно?

– Да я бы лучше на зарплату жила, чем так, как сейчас. Когда мы последний раз куда-нибудь ходили? У тебя же всё только вокруг музыки этой проклятой вертится, репы, записи, концерты. Меня уже тошнит от всего, если по телеку случайно попадаю на твой концерт, сразу же переключаю. Ты что, не понимаешь, что невозможно жить с человеком, который весь в себе, в своих сплошных мрачнях, в миссии своей долбанной? У меня такое впечатление, что я одна в этой квартире, одна все вопросы решаю, а ты смотришь неизвестно куда. Сколько же можно так, ты же съедаешь себя самого своими песнями, кому это нужно?!

– Блин, я же тысячу раз тебе объяснял, я по-другому не могу, это моё, я не стану жить вашей жизнью. Я здесь нужен! (Последняя реплика звучит настолько пафосно, что мне хочется блевать, но внутренний бес не собирается заканчивать любимое шоу). И не смей мне ничего говорить про миссию, может, это единственное что у меня есть. Ты разве не знала, за кого выходила замуж, на кого теперь жаловаться?

– Придурок, я тебя любила безумно, именно за твою большую голову любила, но думала, что смогу что-то поменять, что ты сам изменишься. А хрен там, всё как и десять лет тому назад. Иди вон к своим фанаткам сопливым, раз ты им так нужен, а я устала!

Никто не знает, каких усилий стоит мне не ударить в искажённое криком лицо. Вместо этого я хватаю сумку, рву на себя задвижку и выскакиваю в подъезд. Через полминуты я уже стою на улице с телефоном в одной руке и дымящейся сигаретой в другой. На часах два ночи, и Грей – это единственный из моих друзей, кому я могу позвонить в такое время, да и единственный, кого я по-настоящему хочу сейчас видеть. Спросонья он раздражён, но, тем не менее, быстро врубается в ситуацию и говорит, чтобы я приезжал. В ожидании такси жадными торопливыми затяжками выкуриваю ещё одну сигарету. Хорошо, что бумажник лежит в сумке, которую я чисто машинально схватил перед тем, как выбежать из дома. Машина появляется во дворе, я сажусь на заднее сиденье и называю адрес. Дальше следует временной провал, и вот я уже в квартире своего старого друга. Судя по уровню жидкости в бутылке коньяка, сидим мы так уже не меньше часа. Кроме ёмкости с пойлом на столе ещё доверху забитая окурками пепельница, две пачки сигарет, наполненные рюмки и двухлитровая бутылка Пепси-колы.

– Нет, ну вот ты мне ответь, – я как всегда активно жестикую и размахиваю руками, ежесекундно рискуя задеть драгоценный коньяк, – на хрена это всё? Я же понимаю её на самом деле, она права. Какой кайф жить с человеком, у которого постоянно мрачная рожа? Ей вообще памятник при жизни ставить нужно. Помнишь, сколько раз так было? Начинаешь отношения, тебе в рот смотрят, восхищаются, ты так от всех отличаешься, такой весь из себя депрессивный и с лёгким налётом суицидальности. А потом проходит время, и это всё начинает утомлять. Оказывается, рядом есть куча других типов, с ними не напряжно, весело и никакого занудства и философии. А она меня столько лет на себе тащила, другая бы давно бы уже обломалась и послала по нужному адресу.

– Чувак, ну ты драматизируешь уже, – Грей опрокидывает в себя рюмку, даже не попытавшись потянуться к бутылке Пепси, – раз вы столько лет вместе, значит, были у вас и хорошие моменты.

– Да до фига, – я следую примеру своего друга. И ездили вместе, и на концерты с выставками ходили, и в кино, в театр. Рутинка, рутинка, а потом вдруг хрясь, что-то такое в разговоре проскакивает, мысль какая-то или воспоминание, и так кайфово сразу становится, тебе не передать. Я тысячу раз себе говорил, что надо меняться, хотя бы улыбаться принудительно начать по утрам, говорят, помогает. И всё откладывал и откладывал, а сейчас страшно, вдруг я завтра вернусь, а её уже нет. Всё, я звоню ей, пока не поздно.

– Сиди, не пори горячку, – Грей перехватывает мою руку, собирающуюся нырнуть в карман за телефоном. – Ночь, куда ты звонить собрался, только хуже будет, заведётесь опять на эмоциях. Завтра утром пойдёшь домой, поговоришь спокойно, может, и придёте к чему-нибудь. Никуда она не уйдёт.



– Да я знаю, просто стрёмно как-то. Нет, ну ты всё-таки объясни, зачем это нужно? Ради чего? Мучаешься всякими дебильскими мыслями, не спишь, смысл какой-то ищешь, и всё только для того, чтобы стишок новый написать? Они, наверное, думают, что я им ответы на их вопросы в песнях даю, а на самом деле я сам ни хрена не понимаю, и от этого ещё хуже. Нашёлся, блин, гуру местного разлива. А нельзя так чтобы без страданий этих, чтобы просто, спокойно и понятно, нормально чтобы, в общем?

– Слушай, ну мы же триста раз это обсуждали, рок-н-ролл на сытый желудок не делается, иначе это уже не рок-н-ролл будет. К тому же тебе это по-своему нравится, ну признай, скучно без драмы, сам же говорил. А вообще я к некоторым вещам стал в последнее время проще относиться. Помнишь Ваню из «Общаги-на-крови» Иванова?

– Это который бухал страшно и писал потрясающие стихи?

– Его самого, он ещё на гитаре лабал. Так вот он там в одном месте говорит, что в человеке самое главное – творчество. Ты можешь строить дома или копать каналы, по фигу, рано или поздно всё рухнет, засыплет. А в космическом масштабе важно только творчество, и ради этого можно пожертвовать всем остальным. Причём, насколько я понял, суть процесса заключается в самом процессе. Меня, знаешь, долго напрягал такой подход, хочется-то совсем другого, мы же творцы, мега функцию выполняем, просвещаем, ведём, наставляем и после кончины обязательно за это получим кучу плюшек с вареньем, хотя сейчас старательно от них открепиваемся. А всё проще на самом деле. Это просто такая врождённая потребность, как мочеиспускание, если на то пошло, без этого никак нельзя, да и кайф всё-таки доставляет, пусть извращённый иногда, но кайф же. Ну а если о высоких материях и вселенских масштабах... Если там действительно кто-то есть, может оно всё и на своём месте. Ты реализуешь свои потребности, бессознательно, бездумно, а другие от этого что-то получают, тебе кажется, ты ничего такого не вкладывал, а оно есть. Помнишь как с Гребенщиковым: он, скорее всего, совершенно другое имел в виду, если вообще имел, но ты слушаешь, и у тебя картина какая-то складывается, смыслы, ясность. Ну, как-то так.

– Да прав ты, прав, но понимаешь, всё равно векторы нужны, целеполагание, что ли, тяжело же, когда всё просто так происходит.

– А когда тебе вдруг приспичит на прогулке, и ты в кусты летишь, ты смотришь, куда всё лётся?

Голос Грея становится всё тише, превращается в визуальный образ типа спирали, которая плавно закручивается и исчезает в тёмном тоннеле. Я открываю глаза. Душно, и тело всё в поту. Я давно уже привык к таким снам, настолько реалистичным, что их можно записывать, не делая никаких правок, и выйдет вполне себе годный рассказ без всякого гротеска или мистики. Помнится, я уже говорил, что самое тяжёлое для меня сейчас это просыпаться. Пара секунд балансирования между сном и явью, а потом осознание происходящего врзается в тебя бешеным локомотивом, и наступает тот самый персональный апокалипсис. Панацеи от него, конечно, нет, но всё же существуют несколько проверенных временем средств. Лучшее из них, спору нет, это старое доброе бухло, но есть и менее губительные для организма пилюльки. Так, например, можно почитать статьи о зверствах всяких маньяков. Упоминания о чужой боли как бы уменьшают твою, это всё равно что бурсак, лежащий под розгами, кусал бы свою руку. Несколько менее радикально, само собой. Просто поймите, я потерялся в этом калейдоскопе событий и лиц, я перестал понимать, как жил все прошедшие годы и как живу сейчас. Сколько во всём этом любви к делу и людям, а сколько эгоизма, самолюбования, воспевания собственной душевной лени, которую активно выдаёшь за уникальность, что служит шикарным оправданием перманентному пьянству и ничегонеделанью? И знаешь же, скотина, знаешь, настанет первое сентября, и всё войдёт в колею, так почему бы не оттянуться сейчас, пока есть возможность? Ответов нет, поэтому я просто встаю с кровати и направляюсь к столу, за которым снова сидит развесёлая компания, успевшая освежиться благодаря водным процедурам.

– Шмерцулик, а ты горазд массу давить, давай, накати полтосику», – радостно приветствует меня Мэд. «Шмерцулик». Так меня, кажется, ещё никто не называл. Ну чем, скажите, я заслужил такие лексические конструкции, жальтесь же над только что проснувшимся человеком. Жалости в сложившейся ситуации ждать глупо, поэтому я просто хлопаю предложенный стакан и закусьваю пашпыком.

– Что снилось, повесть о настоящем человеке? – улыбается мне Скрим. «Ага, только с ногами». Хохма не первосортная, но некоторую реакцию вызывает, да и чистая правда, если разобраться, мои друзья – они настоящие, я безмерно им благодарен, и пусть они меня простят за дни равнодушия ко всему и вся, кроме себя. Мэд тем временем устранивает на коленях гитару и приглашающе мне кивает. По-моему, самое время. Я достаю из рюкзака джембик и зажимаю его между ног. Вступительные аккорды, я подхватываю тему, и поклонник низких нот раскручивает текст, от которого по телу бегут мурашки.



*Я обещал тебе сегодня не пить,
Но я встретил с утра того, с кем пил вчера,
Он лежал один посередине двора,
Потом его опохмелял, вот такие дела.*

*Я обещал тебе сегодня не пить,
Но на работе облом, поломался лом,
И всей бригадой мы трещали о быллом
И посылали гонца в местный гастроном.*

*Я обещал тебе сегодня не пить,
Но по дороге домой мне встретился дьявол,
Он умолял меня выпить с ним на халяву,
Разжимал мне зубы и лил в глотку траву.*

Актуально, не правда ли? Дальше всё по стандарту: Чиж, Чайф, Наутилус, ДДТ, вкупе с Веней Аркиным. Летовское «Всё идёт по плану» я реву, ненадолго оставив в покое пластик из, якобы, акулейей кожи. Хотя, может, это действительно правда, денег-то заплачено было не мало. Плевать. Почему-то вспоминается вещь Джека Лондона из до дыр зачитанного в детстве сборника «Рассказы южных морей». Там всё об островах Фиджи, гнусных белых колонизаторах и аборигенах, которых ещё можно убедить обратиться в христианство, но заставить отказаться от общения с духами и тем более от поедания плоти поверженных врагов никак не получается. Мауки – сын вождя в маленькой деревушке. С точки зрения цивилизованного европейца он дик: уши, проткнутые в десятках мест, чёрные зубы, которые мать однажды натёрла истолчённым в порошок камнем, табу и прочие местные заморочки. При всём при этом парень миловиден. Его лицо «было женственным, почти девичьим, с тонкими мелкими и правильными чертами». И ещё: «...в глазах Мауки порой проскальзывал какой-то намёк на те неизвестные величины, которые составляли неотъемлемую часть его существа, но никем ещё не были разгаданы. Эти неизвестные были – смелость, настойчивость, бесстрашие, живое воображение, хитрость, и когда они проявлялись в его последовательных и решительных поступках, окружающие только разводили руками». А потом Мауки похитили жители чащи, и он стал рабом мелкопоместного царька Фанфоа. Однажды, когда у того кончился табак, он продал Мауки грёбаным плантаторам. После ряда жизненных изгибов полнезнец оказался собственностью некоего Бунстера, белого хозяина, конченного алкаша и садиста. Бунстер измывался над своим слугой как мог, выбивал зубы и сдирал с тела кожу перчаткой из акулейей кожи (вот оно как бывает!). Но однажды Бунстер слёг с жуткой тропической лихорадкой, и Мауки в полной мере воспользовался состоянием своего мучителя. В ход, как вы понимаете, пошла пресловутая перчатка. В итоге «из дома выскочило какое-то страшное багровое существо и с воплями устремилось к морю. Но, пробежав несколько шагов, оно упало на песок и пыталось ещё ползти, корчась и скуля под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону; он, видимо, колебался. Затем подошёл, аккуратно отделил Бунстеру голову от туловища, завернул её в циновку и спрятал в ящик на корме катера». Как ни странно, всё закончилось хэппи эндом. Мауки умудрился откупиться от возмущённого британского правительства за семьсот пятьдесят долларов золотом и теперь благоденствует в компании живота в три обхвата, четырёх жён и великолепной коллекции голов. Мне не очень нравится человек, которым он стал, но чувак заслужил свой кайф. Вот такой вот поток сознания, вызванный мыслью об акулейей коже. Играю я на автомате, не переставая вспоминать и думать. В какой-то момент концентрация рок-н-ролла зашкаливает, мы пропускаем ещё по одной, и я с чувством выполненного долга ненадолго покидаю своё место за столом, дабы подышать дымом. Я совершенно спокойно мог бы сделать это не отходя от кассы, если бы не внезапно пришедшее желание ненадолго побыть в одиночестве. Полянка с мангалом кажется мне идеальным местом для медитации, и я направляюсь к ней по узкой тропинке между зарослей. По пути мне попадаете Джа в объятиях своего ухаждёра, здорового, зверской бородатости парня с покрытыми татуировками руками. Парочка самозабвенно изучает анатомию друг друга и, надо признать, выглядит весьма органично. На Джа та же растаманская шпалочка поверх дредов, минимум одежды, в общем, всё, как и в прошлый раз. Она ловит мой взгляд и заговорщицки улыбается из-за спины своего Годзиллы. Всё помнит, не иначе. Год тому назад она, хорошенько заправившись самогоном, висла на мне, крича, что я любовь всей её жизни, и ничто, включая жестокую судьбу, не в силах разлучить два сердца, соединённых на небесах.



Я отпучивался и думал о той, кто ждала меня в своей съёмной квартире на другом конце города. Ещё я помню, как мы не без труда добрались до пресловутого робокоп-магазина и даже умудрились поймать там последнюю идущую в город маршрутку. Похоже на фантазмагорию, но это истинная правда, возле дверей шопы стояла тележка, в которых возят продукты в супермаркетах. Мы не могли не воспользоваться таким шансом, и наш соло-гитарист, отсутствующий на сегодняшнем торжестве из-за завала на работе, долго катал меня в ней по забетонированной площадке. Я дрыгал в воздухе ногами и во всё горло распевал старый хит Сепультуры «Кровавые корни». Мне было куда возвращаться и от осознания этого хотелось петь, пить и веселиться как в последний раз в этой долбанной, но временами такой прекрасной жизни. Короче говоря, я показываю Джа язык, делаю из пальцев козу и очень надеюсь, что она поймёт, что я на самом деле рад за неё. Тем временем тропинка приводит меня на уже упомянутую полянку. Мне настолько хочется курить, что, занятый процессом извлечения сигареты из пачки и последующим приведением её в рабочее состояние, я не сразу замечаю свою соседку. Риддл стоит возле мангала, потягивает какой-то слимс и периодически меланхолично сбрасывает пепел в железное нутро. Мне как-то неловко. Алкоголь в крови настоятельно требует общения вкупе с выворачиванием души, но сон сделал своё чёрное дело, градус внутри заметно понизился, а общаться с незнакомым человеком без допингов я, грешным делом, до сих пор особо не научился. Ладно, вру, умею, но как-то не очень в кайф, да и стимул не тот. Слаб человек, ничего с этим не поделаешь. Впрочем, в этот раз судьба благосклонно избавляет меня от размышлений на тему, и Риддл внезапно поворачивается ко мне.

– Как спалось?

– Да срубил неожиданно как-то. Жарко, да и пью многовато последнее время.

– Ну, играешь ты от этого не хуже.

– Да ладно тебе, дурное дело нехитрое. А ты разве с Мэдом знакома? Я и не знал даже.

– Ну да, где-то год уже, мы через Скрима общаться начали.

– Странно, я тебя даже не концертах до этого ни разу не видел.

– А я и не ходила, я больше по тому, что вы сейчас играли, блэкуха не моё как-то.

– Ну, на вкус и цвет, сама знаешь. А чем вообще занимаешься?

Мы стоим, неторопливо курим, и разговор заплетается сам собой, фразы цепляются одна за другую, будоража и без того разгорячённое алкоголем сознание. Люди значительно проще находят общий язык, когда они на одной волне. Пьяный всегда поймёт пьяного, а весельчак с удовольствием посмеётся с другим весельчаком. Нам обоим грустно, и мы сами не замечаем, как начинаем рассказывать друг другу о своей жизни. Риддл работает арт-директором известной в городе творческой галереи, занимается всяческими презентациями, организацией выставок и литературных салонов. Припоминаю, что несколько раз видел её на экране телевизора, да и в сети её имя встречалось мне достаточно часто. Такие люди всегда вызывали у меня своеобразную идиосинкразию. Они казались мне напыщенными ничтожествами, которые настолько торчат от себя, что не в состоянии заметить свою творческую несостоятельность. Хуже них только конъюнктурщики, впаривающие публике откровенную лабуду и пошлятину, и при этом едва ли не в открытую издеваются над тупостью людей, которые готовы платить им за это немаленькие деньги. В глубине души я всегда гордился своей обособленностью от этого мира и не упускал возможности её подчеркнуть в разговорах. Что ж, жизнь выбирает подчас очень странные способы демонстрировать нам нашу неправоту. Риддл действительно ведёт богемный образ жизни, помимо работы в галерее она ещё пишет картины, сочиняет стихи, имеет какое-то отношение к мастер-классам по режиссуре. Она рассказывает об этом просто, констатируя факты, без пафоса, точно так же как и о том, что она несчастлива. Риддл тридцать, она живёт одна, отдельно от родителей, с которыми у неё никогда не было взаимопонимания. Некоторое время назад она рассталась с человеком, с которым два года прожила гражданским браком. Им не было никакой нужды связывать себя узами Гименея, они и так жили вместе, каждый достаточно неплохо зарабатывал (он вёл колонку в модном журнале), что позволяло им заниматься дайвингом и какими-то ещё «ингами». А потом что-то внезапно разладилось, он стал без причины раздражительным, поздно возвращался домой, мало разговаривал – симптомы, известные, к сожалению, большей части человечества. Уходя, он сказал, что они выжали из своих отношений всё, что было можно, и теперь каждый должен продолжать развиваться самостоятельно. Ещё были тексты про то, что так нужно, всё быстро придёт в норму, и вообще лучшее лекарство от любви – это другая любовь. Думаю, все вы хоть раз в жизни слышали эти ужасные слова. Риддл тяжело переживала разрыв. Ко всему прочему выяснилось, что окружавшим её якобы друзьям совершенно нет дела до её страданий. В одном я, безусловно, прав: в богемных тусовках не принято показывать своих переживаний, кроме тех случаев, когда последние



исключительно напускные и являются частью имиджа. Да и неспособны все эти клоуны на искреннее сочувствие, не тот формат. Риддл заканчивает, и я рассказываю ей о себе. Рассказываю свою историю, как делаю это каждый день за последний месяц. Вы же помните: на востоке люди, когда им плохо, используют любую возможность, чтобы поделиться своим состоянием с окружающими. В этом есть некая мудрость, и после пятидесяти рассказов пятьдесят первый уже не приносит такой боли. С каждым разом боль понемногу уходит из сердца, оставляя в нём грусть. Как избавиться от грусти я не знаю, не исключено, что она и должна всегда оставаться с человеком. По крайней мере, с некоторыми людьми. Она почти ничего не говорит в ответ, и это хорошо, потому что говорить здесь, в сущности, нечего. Внезапно я понимаю, что ещё немного, и мы можем попроситься с остальными и поехать вместе в город. Лучше к ней, пыль и осколки на ковре – не лучший антураж для подобных посиделок. Никто это не озвучивает, но всем всё ясно без слов. Мы будем сидеть на кухне или в комнате, но обязательно при свете ночника, слушать музыку, пить, вести философские дискуссии и читать стихи. Я обязательно спрошу у неё, легко ли ей, такой самопогружённой, понимать других людей, скажу, что с такими как она безумно интересно общаться, но жить невозможно, замечу, что и сам такой, очень тяжёлый в быту со своими внутренними заморочками. Ещё я непременно поинтересуюсь, каково бы ей жилось, если бы она не имела постоянного дохода. «Не знаю, – ответит она, – наверное, было бы очень тяжело, я же не смогла бы сидеть где-нибудь в офисе от звонка до звонка». «Ну вот тебе и повод порадоваться, – это уже мои слова, – хотя кого когда спасали такие мысли?». И, конечно, в итоге мы бы оказались в постели, если только не были бы слишком пьяны даже для этого. Все эти картины проходят перед моими глазами, я чувствую боль и искушение, а потом вспоминаю про то, что «чтобы стоять, я должен держаться корней», и про утреннюю бессмыслицу. Улыбаюсь собственному глупому упрямству и предлагаю ей почитать друг другу стихи. И это лучшее из того, чем могло бы закончиться наше сегодняшнее общение, и пятнадцать минут спустя мы возвращаемся к компании, похоже, так и не заметившей нашего длительного отсутствия.

Я снова накачиваю и, вновь ненадолго придя в форму, начинаю выражать бурное негодование по поводу столь явного недостатка внимания к нашим персонам. «А вдруг у нас там уже сложилась ячейка общества, и теперь мы ждём ребёнка?» – дьяконским голосом возвещаю я, при этом понимая, что те же Мэд со Скримом были бы однозначно рады такому повороту событий. Но что ж теперь поделаешь, если их барабанщик такой идиот, не судьба. На волне поднятой темы вспоминаю знаменитую историю из своего школьного прошлого. Однажды в конце учебной недели мы с друзьями зашли в излюбленный кабац выпить по бутылке пива. Тогда у нас это называлось «снять стресс», что и не удивительно, учитывая, что последними двумя уроками по пятницам стояла физика, а для гуманитариев это как сами понимаете что. Заведение было не из дешёвых, зато там нас знали и наливали, невзирая на некондиционный возраст. Денег хронически не было, поэтому заказ в виде трёх бутылок водки и крабового салата на компанию в пятнадцать человек выглядел чем-то самим собой разумеющимся. В тот день на дверях туалета висела табличка «закрыто», и я, подгоняемый выпитым пивом, отправился в близлежащий парк. Там-то у меня и состоялась незабываемая встреча с крепкими мужчинами в гражданском. К чести своей должен сказать, что им пришлось приложить немало усилий, чтобы затащить меня в стоящую на обочине машину. Когда внутри заработала рация, я несколько успокоился, выяснив, что это не охотники за бесплатной рабочей силой или органами. Впрочем, адреналин в крови продолжал бурлить, и я даже совершил попытку убежать из отдела милиции, куда меня привезли, за что справедливо, хотя и несильно, отхватил пару раз резиновой дубинкой. В итоге меня всё-таки отпустили, промурыжив часа три. Репаящим, по-моему, стало отсутствие на доблестных охранниках правопорядка формы в момент задержания, хотя маме всё же довелось заплатить за меня какой-то штраф. Мораль же в том, что отсутствие собутыльника любители пива заметили лишь незадолго до моего возвращения. Оформлено это было приблизительно следующим образом: «Кепка есть, а его нет». При этом автор исторической фразы задумчиво мял в руках мою кепку, подкладка которой была расписана названиями всяческих богомерзких групп.

В таком ключе мы и проводим время до вечера. На самом деле всё вполне неплохо, привычно и временами смешно, но когда начинают спускаться сумерки, я понимаю, что концерт нужно понемногу заканчивать. Выпито уже прилично, шашлык не лезет в глотку, а перспектива вырубиться на глазах весёлой компании меня совершенно не привлекает. Нет сомнений, никто не бросит боевого товарища в лихую годину, его возьмут под руки и препроводят на маршрутку да ещё и доведут до дома. Но нет, сегодня это не вариант, сейчас я хочу немного покоя и одиночества с каким-нибудь звучащим из наушников эмбиентом. Народ пыгается меня задержать, однако делает это без особого энтузиазма, сказывается накопившая за день усталость вкупе с выпитым и съеденным. Есть подозрения, что и они начнут собираться в об-



ратную дорогу где-то через полчаса после моего ухода. Хотя как знать, Мэд, например, настроен весьма решительно, завтра выходной, так что есть перспектива послушать пару дней спустя очередные эпические истории о ночных похождениях бравых рокеров. Хорошо, что хоть спутницы мужской части компании всё же предпочитают себя блюсти. Происходит привычный ритуал прощания, не менее привычное «на коня», и вновь тропинка ведёт меня к шлагбауму, под ногами хрустит гравий, и вот я опять стою у магазина. По времени должен успеть, как-то не улыбается одному ловить машину до города. В ожидании я набираю в горсть кучу мелких камешков и методично начинаю обстреливать непонятого назначения столб у обочины. Количество попаданий удручающе низкое, но дело ведь в самом процессе, не так ли? Кроме меня на бетонной площадке нет никого. Я продолжаю обстрел столба, периодически наклоняясь за новой порцией боеприпасов, и представляю себя главным героем своего ещё не написанного рассказа «Мизантрополис-Медузалем», ожидающего поезда. «Misanthropolis» – это песня великой шведской группы Tiamat, «Medusalem» – название свежего хита не менее почитаемых мной португальцев Moonspell. Вот такие вот интернационал и дружба народов. Мой старый друг Трикстер как-то написал песню про ржавый поезд, курсирующий между этими двумя городами. Мне весьма понравилась идея, и я решил наваять очередной опус. Концепция успела в общих чертах сложиться в голове, а потом наступили тёмные века разума, и написание пришлось отложить до лучших времён. Но не беспокойтесь, я вижу ваше нетерпение и готов поделиться сюжетной линией. Вам любопытно, да и мне тоже хочется поговорить в ожидании маршрутки, чему немало способствует адская смесь из сидра, виски и водки. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Пророки, футурологи и любители антиутопий оказались, в итоге, правы. Ядерная война таки тряхнула мир, изрядно переполовинив население планеты и полностью перекроив геополитическую карту. Мизантрополис представляет собой технократическое государство-город. С довоенных времён в нём сохранились некоторые продвинутые технологии, но пользоваться ими имеют право только члены правительства и службы, ответственные за поддержание порядка. Очень жёстко контролируется общественная, духовная и личная жизнь людей. Всем нужно пахать от зари до зари во имя царства благоденствия, атеизм возведён в культ, в качестве развлечения некое подобие телевидения, сплошная идеология, что и понятно. Поощряется стерилизация, с ресурсами в Мизантрополисе не очень, к тому же нет никакой связи с другими подобными поселениями, если те, конечно, существуют. За пределами города начинаются пустоши, там радиация и мутанты. В общем, такая себе помесь Оруэлла, «Бегущего человека» Кинга и компьютерной игры Fallout. Ходят слухи об уцелевших довоенных книгах, но большинством они воспринимаются как миф. Тем не менее, всем известно, что за хранение такой литературы вам будет кирдык. Ещё одной местной легендой является таинственный Медузалем, город, лежащий где-то за пустошами. Поговаривают, что там чистые вода и воздух, на солнце можно появляться без защитных костюмов, и никто не запрещает женщинам рожать. Кое-кто даже утверждает, что иногда туда с секретной станции в Мизантрополисе отправляется поезд, но чтобы попасть на него, нужно сделать что-то очень важное для города и правительства. Главный герой рассказа, назовём его, скажем, Алекс Кросс, не слишком верит в эти рассказы. Ему девятнадцать лет, и он, не разгибаясь, работает на конвейере, думая лишь об отдыхе и еде. Однажды Алекс приходит к своей лежащей при смерти бабушке. Той немногим больше пятидесяти, но не мне вам рассказывать, как сокращается продолжительность жизни в суровых условиях пост-ядерки. Женщина передаёт внуку несколько тайно хранимых книг, просит нести память о былых временах и вскоре умирает. Описание мучений несчастной прилагаются, законы жанра надо соблюдать. Сначала парень подумывает сдать запрещённую литературу куда надо, но любопытство пересиливает. Кросс понимает далеко не всё из прочитанного, но одна книга просто пленяет его воображение. Из неё он узнаёт, что Медузалем существует на самом деле, разве что в книге он называется Jerusalem, но две буквы сути дела не меняют, все остальные детали описания сходятся. В тексте есть незнакомые слова, и Алекса несколько смущает, что в городе текут реки из мёда и молока, но свидетельства древних не могут лгать. С тех пор наш герой становится одержимым мыслью попасть в Медузалем. Однажды он случайно выясняет, что несколько работающих вместе с ним на конвейере мужчин готовят заговор с целью свержения существующего порядка. Не спрашивайте меня, как он об этом узнал, и как заговорщики собирались осуществлять свои планы. Разберусь по ходу дела, если, конечно, когда-нибудь всё же решу воплотить свою идею. Кросс, на самом деле неплохой парень, мучается дилеммой: воспользоваться шансом осуществить свою мечту, или же предать товарищей. Он проводит несколько бессонных ночей, а потом отправляется в нужное ведомство и сдаёт всех заговорщиков. Удивительно, но ему действительно предлагают перебраться в Медузалем в качестве награды за бдительность и наличие гражданской позиции. Кросс на седьмом небе. Ранним утром его привозят в какое-то очень мрачное место и грузят в поезд,



состоящий из локомотива и единственного вагона. Снаружи всё это выглядит весьма внушительно – броня, оружие, воздушные фильтры (ехать-то через пустоши), внутри же всё напоминает наши пригородные электрички. Ржавчина, жёсткие лавки, жуткая грязь. Вместе с Кроссом едут ещё человек тридцать. Дорога занимает несколько суток, в течение которых они питаются концентратами и запивают их мерзкой тёплой водой из рукомойника в туалете. В вагоне есть непробиваемые окна, но смотреть в них нет никакого смысла. Снаружи однообразный выжженный пейзаж без всяких признаков жизни, к тому же, поезд идёт слишком быстро, чтобы можно было разглядеть детали (привет Чарли Чу-Чу и бесплодным землям из «Тёмной башни» вездесущего Кинга). Понемногу едущие в поезде знакомятся и рассказывают друг другу свои истории. Собственно, в них и заключается соль рассказа. Почти все эти люди доносчики и предатели, как и Кросс, есть лишь несколько талантливых изобретателей, что-то там радикально улучшивших в производстве. При этом большинство рассказчиков вызывают не отвращение, а скорее жалость, настолько жуток мир, в котором им выпало жить. Истории перемежаются разговорами о прекрасной жизни, которая ждёт всех в Медузале. Наконец, поезд приближается к пункту назначения. Скорость движения снижается, и пассажиры видят в окна величественный и пугающий город. Здесь всё серое, и небо, и огромные каменные здания. В центре возвышается совершенно невероятных размеров строение в виде жуткого монстра со змеями вместо волос. Поезд останавливается, и внутрь входят люди в странной чёрной форме с закрытыми масками лицами. Они вытаскивают дубинками ничего не понимающих пассажиров из вагона и загоняют их в грузовые машины без окон. После долгой дороги несчастных выпускают наружу и под конвоем ведут куда-то по необъятному двору. В конце его – то самое циклопическое строение в виде монстра, по всей видимости, какой-то храм. Пленников заводят в подвал и помещают в одиночные камеры. Несколько дней Кросс проводит в полной темноте, питаясь похлёбкой, которую два раза в день ему передают в отверстие в двери. Когда Алекс уже находится на грани помешательства, за ним неожиданно приходят всё те же неизвестные в масках и ведут за собой. Он оказывается в помещении, больше напоминающем каземат или пыточную камеру. Перед ним за столом сидит устрашающего вида тип (внешность домыслим позже). Он спрашивает Кросса, как тому удалось получить пропуск на поезд. Узнав ответ, тип в лучших традициях хоррор музиз открывает Алексу правду. Уже много лет городом правит отвратительное отродье, что-то вроде Медузы Горгоны, обладающее неограниченной властью. Откуда взялся монстр, читатель пусть догадывается сам, в крайнем случае всегда можно списать на радиацию и мутации. Существует культ Медузы, неотъемлемой частью которого являются человеческие жертвоприношения. Выясняется, что жрецы культа имеют связь по радио с несколькими городами, подобно Мизантрополису страдающими от перенаселения. Из них регулярно отправляют в Медузале человеческие излишки, от которых избавляются под различными предлогами, взамен же получают технику и продовольствие. Некоторых из прибывших таким образом в город оставляют в живых, если они являются ценными специалистами, остальные идут на корм правительнице. В последней сцене двое в масках тащат Кросса по тёмному коридору, в конце которого открывается дверь. Снаружи доносится ужасное шипение. Занавес. Вот вам и третья моя любимая тема в литературе, о которой я как-то забыл упомянуть в своих утренних размышлениях, вероятно, в предвкушении первого за день глотка сидра. Беспомощность человека, попавшего в жернова судьбы, и неизбежная конечность бытия – ну разве это не страшно? Дело не столько в том, что молодой парень из Мизантрополиса сдал системе своих товарищей, сколько в наличии самой ситуации. Нас кидают в мир, ни о чём не спрашивая, и мы барахтаемся в нём, как можем. Кому-то везёт родиться в богатой семье, и такие люди имеют все шансы прожить беззаботную жизнь, хотя есть и другие вероятности, например, стать жертвой народного гнева. Кто-то опускает руки и уходит на дно, некоторые подобно знаменитой лягушке непрерывно сучат ногами, сбивая молоко в масло, и выбираются на поверхность. Ты можешь выйти из дома и попасть под нож маньяка или оказаться в концлагере. Шикзаль, как говорят наши немецкие друзья. Итог же у всех один, никому не ведомо, есть ли хоть что-то в этой черноте, и потому мы упорно стараемся как можно больше отхватить в объективной реальности. Или от всего отморозиться, каждый решает сам. Степ, я его уже сегодня вспоминал, тот самый бывший мудрый басист «Света в тёмном царстве» как-то рассказал мне одну притчу. Возможно, это исторический факт, хотя больше похоже на идеалистические измышления потомков. Короче, Александр Македонский завещал, чтобы к могиле его несли на носилках со спущенными с них руками. Последнее должно было символизировать, что туда ты с собой ничего не заберёшь. При этом чувак всю жизнь занимался завоеванием чужих территорий. Опять парадокс. Тёзка великого полководца господин Градский однажды сказал в какой-то телепередаче: «Те, кто знают, что умрут, делают всё, чтобы об этом забыть, в том числе занимаются творчеством. Остальные счастливей, они пьют водку, гуляют

с девками и не парятся». Цитата, разумеется, приведена весьма приблизительно, но вы поняли. Что получаем в итоге? Пока что только черноту, которая рано или поздно безвозвратно поглотит всё прекрасное, что есть в нашем мире. Это несправедливо и больно, и единственная надежда остаётся на высший разум, творца, бога или чёрта, всё равно, лишь бы все наши поступки и движения души легли в конечном счёте в нужные ячейки. Но космос молчит, я знаю, что иначе не может быть, какой смысл в истине, если тебе её преподносят на блюдечке, и всё же от понимания этого не легче. И начинается декаданс, пьянство, богохульства в микрофон, за которыми почти не различим шёпот. «Я не слышу тебя, дай мне хоть капельку уверенности». Собственно, Алекс Кросс – это имя, которым я собирался назвать центрального персонажа повести, которую уже точно никогда не напишу. Оно нравилось мне, нравилось самим сочетанием звуков, и было бы кощунственно не использовать его хотя бы где-то. Чуваку тридцать три, у него любимая работа, жена и дочь, в которых он не чаёт души (да содрогнутся англофоны от столь соковой конструкции, да и не пошли бы они все на). Внезапно ему начинают сниться безумно реалистичные сны. Кроссу является ангел, который рассказывает ему, что на самом деле он – божий сын, мессия номер два, разве что с противоположным знаком. Вся дрянь человечества в очередной раз утомила бога, но в присущей ему манере он решил дать своим творениям ещё один шанс. Мистер Алекс Кросс является бомбой замедленного действия, носителем апокалипсиса. Ему суждено потерять всё, что он любил, будучи обычным человеком, бродить среди людей и впитывать их злобу, ненависть и прочие прелести бытия. Если в течение года он сможет удержать себя от эмоций и не выпустить наружу несущую гибель миру энергию, мы вновь обретём спасение и отпущение грехов. Кросс последовательно прибегает к услугам психолога, психиатра, таблеткам, даже пытается подсесть на наркоту. От него уходит жена, забрав с собой ребёнка, его выгоняют с работы. Мессия продаёт квартиру, кладёт вырученные деньги в банк, за гроши снимает жалкую каморку на окраине и, вооружённый кредиткой, погружается в неведомые ему доселе тайны жизни мегаполиса. Однажды он знакомится с маленькой девочкой из семьи алкоголиков, которая постепенно становится его лучшим и единственным другом. Все остальные давно повесили на Алекса клеймо психоза и разошлись по своим делам. Кросс собирается с помощью денег убедить горе-родителей отказаться от ребёнка. Он хочет стать её опекуном и видит в этом спасение для мира. Уверенным шагом мой друг Алекс Кросс входит в полуразрушенный дом в бедном квартале и слышит детский плач. На сетчатке его глаз навсегда отпечатывается, как пьяное животное весом в сто килограмм одним движением руки посылает исхудающее тельце девочки в стену комнаты. Ногти Мессии врезаются в его ладони, и следом за этим четыре всадника, пробудившись от долгого сна, прищипоривают своих коней, неся с собой гибель миру.

Нужный мне транспорт подходит к остановке в тот самый момент, когда мир уже задыхается, захлебываясь в крови невинных. Будучи решительно настроенным прервать (в худшем случае подольше растянуть) его агонию, я стремительно запрыгиваю внутрь. Есть подозрения, что высшие силы не прочь вознаградить меня за спасение всего сущего, ибо в маршрутке обнаруживается несколько свободных кресел, включая одиночное место в самом конце салона. Воодушевлённый этим зрелищем, я направляюсь к столь милому сердцу сиденью. Знающим людям не нужно объяснять, как это классно расположиться сзади всех, вытянуть усталые ноги и заполнить уши чем-то атмосферным. Пусть сегодня это будет Arcana со своим «Dark age of reason». Идеальное название для альбома, слушая который не хочется ни о чём не думать. Неспешный мрачный дарк-эмбиент, средневековые и мистика, тексты про увядание жизни и возвышенную неземную любовь. Блин, ну не получается у меня сегодня не думать, хоть ты тресни. Средневековые, служение даме сердца, поверженные в её честь драконы и великаны... Всё это, конечно, нехилый источник вдохновения, только вот как быть со всем остальным, со всеми этими жирными звероподобными феодалами, вытворявшими со своими крестьянками такое, что у нормального человека просто не укладывается в голове? Днём он прижимает к груди шарфик, брошенный нежной ручкой на ристалище, и это совершенно не мешает ему пользоваться тем же вечером своим правом первой ночи. И это, заметьте, при том, что он ещё и женат. А кругом грязь, вонь, дикость и невежество. Вот такая песня о любви, которую действительно лучше не петь. И вот, мои любезные внутренние собеседники, мы снова возвращаемся к плюсам и минусам, потерям и достижениям. Одиннадцать лет назад я точно так же ехал по дорожному асфальту летним вечером. В тот раз мой путь лежал к женщине, которую я не любил. С Пьюрити мы познакомились в некоем арт-кабаке на презентации книги одного моего шапочного знакомого. Как выяснилось впоследствии, ни я, ни она не были фанатами подобных мероприятий. На тот момент я изнывал от скуки и легко повёлся на приглашение Трикстера сходить развеяться, соблазнённый перспективой халявных напитков. Пьюр пришла со своим гражданским мужем, фотографом, которого



пригласили за умеренную плату пощёлкать мероприятие. На тот момент их отношения уже дали основательную трещину. Недосупруг, достаточно интересный парень, судя по её рассказам, был типичным бабником, то ли по своей природе, то ли ещё не успевшим достигнуть возраста, когда начинаешь различать настоящее и лабуду. Пьюр же напротив всегда была склонна растворяться в мужчинах. Под конец он уже особо не скрывал свои измены, они перестали жить вместе, хотя и встречались несколько раз в неделю. Его вполне устраивало такое положение вещей, она же цеплялась за любую возможность удерживать бывшие чувства. Мы столкнулись с ней на выходе, куда оба вышли перекурить, пока её спутник резво клацал своей камерой. Я, находясь уже в некотором подпитии, не мог не воспользоваться возможностью обсудить глобальные вопросы бытия с симпатичной девушкой. Вы, вероятно, знаете, как это бывает: в подобных разговорах узнаёшь о собеседнике больше, чем о некоторых знакомых, с которыми общаешься пять-шесть раз в год на протяжении нескольких лет. Не буду рассказывать вам байки, внешность имеет для меня значение, но если за оболочкой я не чувствую содержания, то тут же обламываюсь, и ни за какие коврижки уже не стану продолжать беседу, сославшись, например, на невозможность долго напрыгать голосовые связки. Пьюрити оказалась весьма неглупой девушкой с двумя высшими образованиями (она была старше меня на три года). В итоге мы даже обменялись телефонами. Проснувшись на следующее утро, я поймал себя на том, что совсем не прочь ей позвонить, более того с течением времени это желание только усиливалось. В итоге я набрал её номер под предлогом консультации по какому-то вопросу, связанному с социологией (одна из её специальностей). Стратегия была шита белыми нитками, но кого это беспокоит, если оба заинтересованы в продолжении общения? Мы встретились в знакомом мне баре, хорошенько приложились к вину, а потом я провожал её до остановки. Маршрутки к тому времени уже перестали ходить, наличности у неё с собой почти не было, адрес ближайшего банкомата никто не знал. Я дал ей денег на такси. Она клятвенно заверила меня, что вернёт их в ближайшее время, я, естественно, встал в позу альфа-самца, в общем, ничего нового в подлунном мире в этой области не придумывали уже очень давно. На следующий день раздался её звонок. Я предложил альтернативный вариант, угадываем с одного раза, и даааааа, вы абсолютно правы, конечно же пропихнуть всю сумму. Она, похихикивая, согласилась. Дальше всё развивалось по закономерному сценарию: интеллектуальные беседы, обмен смешными и не очень воспоминаниями, обсуждение любимой музыки и литературы. Я совершенно не собирался торопить события, это не в моих правилах, да и вообще есть большой кайф в недосказанности, когда ты знаешь, что рано или поздно всё станет на свои места, а сейчас можно просто наслаждаться флиртом, никуда не спеша. В конечном счёте, одним вечером мы вышли больше обычного и внезапно стали целоваться прямо посреди улицы. Щепетильная Пьюрити в тот же вечер позвонила своему номинальному супругу, который был только рад такому развитию событий. Эйфория длилась примерно месяца полтора. Радовало всё, даже иногда мучившая меня бессонница, необходимость вставать рано утром и плестись в НИИ, где ждала исключавшая какой-либо элемент творчества работа. Не могу сказать, что мы проводили вместе каждую свободную от дел минуту. В этом отношении я специфический тип, у меня более мужское, читай эгоистичное отношение к отношениям (невольный каламбур, сорри). Мне хватает знания того, что я с кем-то, я люблю проводить время в кайф с объектом страсти, но в быту предпочитаю оставаться один. Может быть из страха того, что чувства очень быстро растворятся в повседневности, и останется только рутина, которой надо всячески избегать. Не знаю, я привык к одиночеству и плохо представляю себе ежедневную жизнь вдвоём. Вы скажете, что я просто ещё не нашёл своего человека, но я боюсь, что дело совсем в другом. Мне никто так не интересен, как я сам, и пытаюсь обрести в любви смысл, я только бессильно бьюсь о стенки сосуда, в котором заключено моё «я». Пьюрити совершенно не стремилась получить надо мной полный контроль, она не предлагала мне к ней переехать, хотя жила сама в просторной квартире. Я приезжал два-три раза в неделю, шил коньяк, мы могли сходить на прогулку вечером, посмотреть вместе музыкальные каналы. Иногда она просила меня рассказать ей что-то перед сном. Я всегда выполнял её просьбы, хотя мои истории получались несравнимо более драматичными и убедительными, когда ваш покорный слуга пребывал в нетрезвом виде. Самое интересное, что я практически ничего не спрашивал о её прошлом, хотя о себе рассказывал очень много. Это одна из тех вещей, за которые мне действительно стыдно. Можно понять пьянство и дебоширство, но не глухой эгоизм по отношению к тому, кто испытывает к тебе чувства. Впрочем, нельзя сказать, что я не старался, да и опыта тогда у меня было маловато. А потом я познакомился с Лайт, старой подругой, почти сестрой Брайта, моего хорошего товарища, работавшего в том же НИИ. Красивая, раскованная, словно бы парящая над обыденностью, она сразу привлекла моё внимание. Мы нечасто общались, но я старался использовать любую возможность, чтобы увидеться с ней. Не уверен, что она



знала о моём к ней отношении. Я тщательно его маскировал, хотя говорят, что женщины всегда чувствуют подобные вещи. Пьюрити я не говорил ни слова. Это была странная жизнь, своего рода помешательство, раздвоение личности. Просыпаясь по утрам рядом с Пьюр, я неподвижно лежал на кровати, мучаясь чувством вины, не в силах принять решение. К вечеру я обычно напивался и гальванизировал то, что было в самом начале, но быстро куда-то ушло. На пике своих моральных терзаний я переспал с Блэйд, и это второй поступок, который я до сих пор не могу себе простить. Два дня спустя я очнулся утром на смятой простыне в своей квартире. Мне снился сон, нечто безмерно важное, но я не мог вспомнить ни одной его детали, как ни старался. Немного приведя себя в порядок, я позвонил Пьюр и попросил о встрече. Думаю, она обо всём догадалась, услышав мой голос. В бар я пришёл раньше назначенного срока и к её приходу успел выпить два пива. Она плакала, говорила, что любит меня, и обвиняла во всём, в чём только можно. Я пытался что-то говорить, но слова упорно не хотели связываться друг с другом, и тщательно распланированный разговор летел ко всем чертям. Пьюрити ушла, а я остался в баре и до вечера накачивался алкоголем. Самым страшным была охватившая меня эйфория, чувство безграничной свободы, когда ты не в состоянии даже задуматься о боли, которую причинил другому человеку. Всё это время мне явно не хватало драмы, и вот я получил искомое. Приходится признать, что в моём случае о долгоиграющих отношениях можно говорить только применительно к людям, с которыми непросто, а порой и откровенно трудно. Ещё я понял, что на самом деле ничего не собирался строить с Лайт, мне просто хотелось жить в своё удовольствие, пить, играть музыку и надоедать друзьям своей философией. Вскоре Лайт переехала, и с тех пор мы с ней ни разу не виделись. Год спустя я встретил на улице Пьюрити в компании буржуйского вида мэна. Мы немного пообщались, пока он ходил за сигаретами. Она рассказала, что вскоре они собирались пожениться. Я испытывал облегчение, смешанное с ревностью собственника. Мы и сейчас перезваниваемся на праздники, желаем друг другу всяческих плюшек и кратко рассказываем о своих делах. Это общение людей, которых что-то когда-то связывало, а теперь у них даже нет желания хотя бы изредка видаться лично. Так бывает, и это очень грустно. Вдоволь напившись и нафилософствовавшись, я вернулся к работе. Всё потекло в привычном русле с одним только «но». С того времени я стал общаться с женщинами исключительно в дружеском контексте, даже не рассматривая возможность завести отношения. Несколько случайных, ни к чему не обязывающих встреч в постели в невменяемом состоянии не в счёт. Казалось, что-то умерло во мне, и так могло бы продолжаться всю жизнь, если бы не... О, нет, как же хочется выпить!

Постойте, постойте, я ведь совершенно забыл о недопитой бутылке сидра в рюкзаке. На небесах или в аду кто-то всё же любит меня, это бесспорно. Я делаю ооочень глубокий глоток, а следом ещё восемь умеренных. Всегда предпочитал нечётные числа чётным. Эффект наступает практически мгновенно, а с ним и бурная жажда деятельности. Мы как раз проезжаем мимо центрального бульвара, где по вечерам собираются любители потерзать гитару с целью заработать немного денег на нехитрую выпивку. Мой джембик придёт там как нельзя кстати, тем более что я не собираюсь претендовать на кровно заработанное музыкантским потом. Расплачиваюсь с водителем и, подгоняемый алкоголем, выскакиваю наружу.

Как всегда вечером на бульваре полно народа. Основную массу составляют держачщиеся за руки парочки, родители с детьми, неторопливо совершающие моцион, компании подростков, скейтеры, роллеры и, конечно же, лабухи. Между прочим, иногда попадаются весьма достойные товарищи, да и вообще уличные музыканты мне значительно ближе, чем многие профессионалы. Такие, например, как кавер-бэнды, без меры расплодившиеся в последнее время на просторах нашей много чего повидавшей страны. Они снимают в ноль Эй-Си/Ди-Си или Металлику, делают себе такие же причёски, соответственно одеваются, свет, звук, но на деле получается зелёная тоска. Творчества здесь практически нет, одна коммерция. Впрочем, каждый зарабатывает как умеет, чего это я в самом деле. Просто хочется верить, что возвращаясь вечером после очередного шоу домой, кто-нибудь из этих каверщиков снова расчехляет инструмент, одевает наушники и полночи импровизирует себе в кайф. Короче, не успеваю я пройти и тридцати метров, как натякаюсь на двух молодых пацанов с гитарами, восседающих на скамейке в окружении друзей и остановившихся послушать прохожих. В лежащем на земле гитарном футляре мелочь и несколько купюр. На пиво хватит. А вот и само пиво, несколько двухлитровых бутылок стоят под скамейкой, призывно поблёскивая в свете ближайшего фонаря. Судя по репликам и поведению собравшихся, этим ёмкостям надолго оставаться без внимания не приходится. Сами гитаристы, по видимости, тоже не отказывают себе в употреблении живительной влаги. Один из них периодически забывает слова Чижовской «О любви», останавливается и прикладывает к горлышку, не иначе надеясь освежить память. Второй пытается играть соляки, получается не очень, при этом никакого отращения происходящее не вызывает. Публике явно



плевать на некоторую нестройность исполнения, как, впрочем, и самим исполнителям. Жара немного спала, пиво хмелит голову, и вообще субботний вечер это лучший повод для хорошего настроения. Ну что ж, пиво так пиво, странно было бы увидеть здесь сидр. Кстати, на бульваре потребляют все, однако стражи правопорядка предпочитают активно не замечать уличное пьянство, здесь это что-то вроде неписаного закона. Демократия, чтоб её.

– Чуваки, а как насчёт вам подыграть, – я демонстрирую извлечённый из рюкзака инструмент, – сто лет на воздухе не лабал.

Предложение немедленно получает одобрение. Я устраиваю чресла на скамейке, и мне немедленно подносят пластиковую тару с плещущейся внутри жидкостью. О, вот это по-нашему, я явно попал в компанию правильных людей. Я надолго припадаю к вожделенному сосуду, ощутило уменьшив его содержимое, и приступаю к делу. Играется с пацанами забавно. Ритм как-то дисциплинирует их, и мы выдаём несколько вполне пристойно сыгранных вещей, ничего неожиданного, зато с душой. Паузы между песнями используются более чем продуктивно, так что минут через двадцать я уже чувствую себя рок-звездой мирового масштаба на фестивале где-нибудь в Доннингтоне. Всё происходит вполне предсказуемо, но от этого не менее весело. Особенно радуют зрители. Чего стоит одна только семейка любителей восточных танцев. Мама с папой годков сорока, несомненно успевшие уже поднять себе настроение горячительным, и их дочка, очаровательное создание лет одиннадцати, долго слушают нас, а потом мать семейства берёт меня в оборот. Её словоохотливость, подкреплённая спиртным, может несколько вывести из равновесия, но я невозмутимо и даже с некоторым интересом внимаю её речам, сказывается приблизительно одинаковая кондиция. Я узнаю, что дочка их три года танцует в какой-то студии, участвует в соревнованиях (следует подробное перечисление побед), планирует в дальнейшем заниматься этим профессионально. Мне сообщают, что я хорошо играю на дарбуке (ошибку можно простить уже за то, что человек вообще знает такие слова), советуют открыть свою барабанную школу и дают рекомендации по раскрутке. В особо экзотичных местах своего слича знаток ударных инструментов поворачивается к мужу, который подтверждает её слова междометиями, больше всего напоминающими мычание. Заканчивается всё моим соляком, под который девочка исполняет некое подобие танца живота. У меня берут номер телефона, клятвенно обещают набрать на следующий день, наконец, безумная семейка растворяется в темноте. Следом моим вниманием завладевает один из друзей музыкантов. На нём джинсовая безрукавка на голое тело с намалёванной на спине буквой «А», драные джинсы, куча булавок и побрякушек. Дополняют всё бритые виски. Короче говоря, панки хой во всей своей красе. Чувак несколько косноязычно начинает живописать мне свои запутанные отношения с девушкой. Эпичности его рассказу не занимать, уверен, если бы Гомер мог, он с радостью взял бы у юного анархиста пару уроков по нагнетанию драматизма. «Я ей, будешь со мна встречаться, она, типа, ни фига, и тут я бритву достаю и прямо при ней по руке хреначу, она орёт, короче, начали мы встречаться». Я в панике перебираю в голове способы прервать его монолог, но по ожесточённому лицу сказителя видно, что остановить его может только бульдозер. Меня спасает неожиданно раздающийся звонок телефона. Я демонстрирую панку вибрирующую трубку, отхожу от него как можно дальше и смотрю на экран. «Вот те раз, и снова Базз», – всплывает в мозгу идиотское двустипшие. С чего бы это ему понадобилось звонить мне так поздно? Добро бы пил, тогда ещё понятно, так ведь много лет уже даже не нюхал. Нажимаю на кнопку вызова. Выясняется, что мастеру художественных росписей пришла в голову гениальная идея пригласить меня на следующий день прогуляться по развалам барахолки, где за смешные деньги можно приобрести вполне годные сидишки. Впрочем, диски это лишь предлог для общения. Чувак, похоже, искренне озабочен моим нынешним состоянием, да и вообще наши нечастые встречи всегда проходят весьма информативно. В последний раз, шляясь по всё той же барахолке, мы в сотый раз говорили о творчестве. Базз сказал, что писать некоторые вещи в нетрезвом состоянии, как это делаю я, нечестно по причине наличия допинга. Я резонно возразил ему, что литература и спорт это разные вещи. Я ведь ни с кем не соревнуюсь, а алкоголь в небольших количествах только помогает яснее формулировать вещи, с которыми сталкиваешься ежедневно. Честность в творчестве вообще вопрос неоднозначный. Например, представьте, что какое-то из великих произведений мировой литературы никогда не было написано. У вас есть возможность издать его под своим именем, получив славу и бешеные гонорары, либо же похерить, не дав миру открыть для себя шедевр. Все скажут, что надо публиковать. Так-то оно так, а вот интересно было бы копнуть и выяснить чего там больше, любви к искусству или жажды известности? А ещё есть ответственность творца перед почитателями. Напишешь ты что-нибудь, а твои фанаты возьмут топоры в руки и пойдут пластать направо и налево обгаженных тобой в последнем романе. А с другой стороны разве можно сдерживаться и анализировать, если из тебя просто-напросто

прёт? Вот так мы можем говорить часами. В общем, я поддерживаю предложение, хотя и знаю, что утром буду об этом жалеть, мучаясь от сушняка и головной боли. Базз интересуется, где я нахожусь, и, получив ответ, некоторое время распространяется о вреде алкоголя для физического и душевного здоровья. «Занялся бы ты чем-то, с парашютом прыгнул, а лучше девушку нашёл», – советует мне умудрённый опытом друг. Я отшучиваюсь. На самом деле он прав, только вот не умею я заставлять себя заниматься тем, в чём не чувствую потребности. Ну, а девушки... О девушках потом, может и не сегодня, если всё хорошо сложится. Мы прощаемся, и я возвращаюсь в мирскую жизнь. Тем временем гитаристы уже начинают чехлить инструменты. Всё правильно, уже довольно поздно, да и день выдался крайне насыщенным. Я пожимаю всем руки, делаю прощальный глоток и отправляюсь в последний на сегодня поход на небо. Там меня ждёт кровать и сон без сновидений. Я знаю, что пробуждение будет тяжёлым, но до этого пока далеко, и спасибо ещё раз, миссис О`Хара.

Никогда не знаешь, когда именно твоя внутренняя защита даст сбой, несмотря на всё выпитое за день и нечеловеческую усталость. К этому просто надо быть готовым, как и к самым безумным жизненным изгибам, ожидающим тебя за поворотом, в который ты привык не задумываясь вписываться. Плотину прорывает, воспоминания захлёстывают сознание, и я обречённо отдаюсь им, медленно шагая по уличной брусчатке. Впервые мы столкнулись с ней полтора года назад возле кафедры. Когда-то она окончила институт, в котором я сейчас работаю, год проучилась в аспирантуре, а потом вышла замуж за иностранца и уехала с ним в Европу. Там она продолжила обучение по специальности и стала преподавателем культурологии в университете. К нам она попала по программе обмена опытом, предполагавшей, что в течение трёх семестров иностранные преподаватели читают лекции нашим студентам и наоборот. Не скрою, я сразу обратил на неё внимание. На вид ей можно было дать не больше двадцати семи, хотя на самом деле она была моей ровесницей. Она заходила на кафедру, я открыл перед ней дверь, наши взгляды на секунду встретились... Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, во все эти жёлтые цветы и выскакивающих из переулка убийц, но что-то дрогнуло в тот момент у меня в груди, что-то давно забытое. Я ненавязчиво навёл справки и поймал себя на том, что испытал разочарование, узнав кем была новенькая. Тем не менее, мы стали общаться. Я чувствовал себя полным идиотом, школьником, старающимся как можно чаще оказываться в местах, где вероятнее всего можно встретить объект его воздыханий. В моём случае это были университетская кафешка и курилка. Она легко шла на контакт, и я с удовольствием отвечал на все её вопросы по поводу жизни в ВУЗе. На третьей встрече мы перешли на «ты». Меня удивляло, что в ней совершенно не чувствовалось отстранённости человека, впервые попавшего на родину после долгих лет жизни за границей. Она действительно ни разу не возвращалась домой с момента отъезда. Родители её переехали в город, где она жила с мужем и трёхлетней дочерью, и сейчас наслаждалась заслуженным отдыхом. В нашей стране им светила бы нищенская пенсия и прозябание в компании таких же никому не нужных стариков. Она поддерживала общение с несколькими школьными подругами по интернету, художественную литературу предпочитала читать на родном языке и старалась быть в курсе происходивших у нас событий. Ни разу я не слышал от неё о том, как всё неправильно на её родине, что там рай, а здесь ад, как спел когда-то Чиж. Мы вообще редко говорили о внешнем мире за исключением факультетских дел. Нам значительно больше нравилось обсуждать любимые книги и фильмы, спорить о том, что круче, психоделика шестидесятых или тяжёлая девяностых. Это было похоже на наваждение. Меня тянуло к ней, хотя я и понимал, что никаких отношений между нами не могло быть. Она стала мне снится. Глупые детские сны, в которых мы гуляли по осеннему парку под чистым синим небом и швыряли друг в друга листьями. Просыпаясь посреди ночи, я напаривал на столике возле кровати блокнот и первым попавшимся под руку огрызком карандаша писал стихи заваливающимися на бок буквами. У меня вошло в привычку каждый день писать ей смешные сообщения, какие-то дурацкие хохмы по мотивам предыдущих разговоров. Она всегда отвечала, и я каждый раз вздрагивал, услышав звук сигнала, возвещавшего о приходе смс. Я перестал выключать телефон ночью в надежде, что ей может внезапно захотеться что-то мне написать. Она снимала комнату в пятиэтажке в четырёх кварталах от моего дома, и после работы мы садились на одну и ту же маршрутку. Вскоре мы стали ходить пешком. Разговоры всё больше затягивали нас, и это была возможность оттянуть момент расставания. Несколько раз возникали мысли о необходимости совместного распития напитков. Впервые это произошло в её квартире на день факультета. Всё было совершенно спонтанно, мы просто незаметно улизули после праздничного концерта. Нашего отсутствия никто не заметил. Она жила в небольшой уютной комнатке с окнами, выходящими во двор. Там почти не был слышен городской шум, и это создавало какую-то невыразимо чарующую атмосферу. В тот день мы выпили немало вина, и она неожиданно стала рассказывать мне о себе, о том, что достигла в жизни



всего, о чём только можно мечтать, но по-прежнему чувствовала себя неудовлетворённой. «Чего же тебе на самом деле хочется?», – спросил я тогда. «Если бы я знала», – тихо ответила она, наклонив голову и поправляя выбившуюся из за уха прядь волос. В тот момент мне безумно захотелось её поцеловать, но вместо этого я лишь наполнил бокалы. Три дня спустя мы сидели уже у меня. Никакого повода не было, просто в воздухе ступило предчувствие чего-то прекрасного и ужасного одновременно, непоправимого поступка, который невозможно было не совершить. Весь день до её прихода я чем-то пытался заниматься, покупал продукты и напитки, листал страницы, не вникая в смысл слов, и над всем этим, казалось, висела глыба обречённости. Она пришла за пять минут до назначенного времени. Мы выпили, почти не прирагиваясь к еде, выпили ещё, и я начал рассказывать ей о себе, о том, что было одиннадцать лет назад и ещё раньше, вплоть до самого детства. А потом в один миг нас просто бросило в объятия друг другу. Я даже не могу назвать это страстью: два истосковавшихся по теплу человека пытались слить свои тела воедино, чтобы граница между ними исчезла, а с нею и необходимость о чём-либо думать. Я обнимал её так крепко, что это вызывало боль, но она молчала и только смотрела мне в лицо безумными глазами.

Грей был единственным человеком, кому я рассказал тогда обо всём. Он приехал ко мне, долго и внимательно слушал, а потом сказал: «Ни о чём не думай, просто живи, у тебя есть время». Мне тоже так казалось, хотя, как я уже сегодня говорил, в действительности времени нет никогда. Больше о наших отношениях не знал никто. Порой мне безумно хотелось с кем-то поделиться своими страхами и сомнениями, но в целом я справлялся благодаря многолетней привычке держать всё в себе. С ней мы тоже не говорили о будущем, да и как это было возможно, когда никакого будущего для нас не существовало. Оставалось только настоящее, и мы заполняли его вином, многочасовыми разговорами и периодическими вылазками в близлежащие города. Именно там мы чувствовали себя свободнее всего. По возвращению неизбежно накатывала чернейшая меланхолия, отравлявшая наши встречи, даже секс превращавшая в боль. Потом мы опять пили, шептались друг другу нежности в темноте комнаты, и отчаяние ненадолго отступало. Временами, идя по улице, сидя в аудитории или трясясь в переполненной маршрутке, я почти физически ощущал, как безысходность струится по моим венам, отравляет кровь и жжёт изнутри. Жалею ли я о том, что мы могли бы сделать значительно больше вместе? И да, и нет. Всё происходило так, как оно происходило, и я думаю, что будь наша тогдашняя жизнь ещё более заполненной друг другом, сейчас нам было бы гораздо тяжелее. Последний месяц перед её отъездом стал адом. Я помогал ей собирать вещи, делал ксерокопии каких-то бумажек, и меня всё время не покидало чувство, что я по кирпичикам строю дорогу, ведущую в бездну. Последнюю ночь, которую мы провели вместе, она безостановочно плакала. Плакал и я, так же горько, как и одиннадцать лет назад, когда расставался с юношескими иллюзиями. Помню, как она вдруг прижалась ко мне и стала быстро-быстро говорить о том, что разведётся, выйдет за меня замуж, я получу гражданство, и тогда нас уже ничто не разлучит. Муж поймёт, родители примут, ребёнок тоже сможет меня полюбить, ведь меня нельзя не любить. Я кивал головой, чувствуя на щеках влагу своих и её слёз, и мы оба остро чувствовали всю бессмысленность произносимых слов.

Я не пошёл провожать её. Мы сказали всё, что могли, и смотреть на отъезжающий от станции автобус было выше моих сил. Потом я люто запил, вляпывался посреди ночи в квартиры друзей, изливал им душу на кухнях, богохульствовал и рычал от бессилия. Первые несколько дней мы писали друг другу истеричные сообщения, клялись в любви, обещали, что будем вместе всегда, что бы ни случилось. Сейчас всё по-другому. Она переживает за меня, мне невыносимо думать, что у неё началась другая жизнь, в которой мне нет места. Иногда мои руки сами тянутся к телефону, и тогда я хватаю пачку сигарет и долго курю на парадной. Становится немного легче. На её редкие сообщения я отвечаю, что держусь, и я должен держаться ради её спокойствия, ради всего прекрасного, что между нами было. Порой мне хочется написать ей об отчаянии, в котором я без остатка растворяюсь бессонными ночами, но я всеми силами стараюсь этого не делать. И знаете, у меня даже получается, недаром ведь говорят, что человек – это такая скотина, которая может ко всему приспособиться. Я благодарен ей за всё, за то, что она была и останется в моём сердце теперь уже навсегда. Любой здравомыслящий двуногий скажет, что нужно постараться всё отпустить, поскорее забыть, извлечь нужные уроки и жить дальше. Всё это правильно, вот только что мне делать с пустотой внутри? Всем нам нужна любовь, без неё мы потеряны, мы пыль, которую гоняет ветер по брошенной жильцами квартире. Без любви внутри образуется полость. Ты можешь чем угодно заполнять пространство вокруг неё, но она остаётся. Надежда на то, что всё было не просто так, и когда-нибудь мы всё же снова обретём друг друга, это единственное, чем я хоть как-то могу её заполнить. Это подобно погремушке шута, внутри которой болтаются несколько высушенных горошин. Они дребезжат, и создаётся ощущение жизни. Я знаю, что большинство браков держатся лишь на тех вещах, которые

стали общими для обоих за годы жизни вместе. Постоянно подогревать отношения, заново завоёвывать любовь бесконечно трудно, но я не хочу, чтобы было по-другому. Я не хочу, когда мне стукнет пятьдесят оказаться рядом с кем-то, пусть даже заботливым и беспроблемным, но лишь потому, что так легче прожить старость. Это мой манифест, моя глупая истина. Послушайте вы, все, кто в первый раз обнимает за плечи любимого человека. Не поддавайтесь иллюзиям, скажите ему, что рано или поздно всё пройдёт, и к этому нужно быть готовым. Или же боритесь за своё счастье, выпарапывайте его ногтями, вырывайте зубами. Кто знает, может всё происходящее со мной это лишь необходимый жизненный этап, шанс что-то понять и поменяться. Завтра я поверну за угол и встречу там то, что так отчаянно ищу. Мне плевать на это, в моих книгах о таком не пишут, в моих песнях поют о другом. Это мой манифест. Сейчас я совершенно не представляю по каким рельсам двигаться дальше. В сущности, я счастливый человек, у меня есть дело, которое я считаю важным, любящие родители и друзья, умение радоваться творчеству и даже что-то делать в нём самому. Но всё же как быть с полостью, на дне которой перекатываются несколько сморщенных горошин? Или всё-таки абсолютное счастье нам заказано, и за роскошь быть не таким как все, всегда приходится платить немалую цену? Да и разве мы не стали бы разрушать себя, обретя это самое абсолютное счастье, разрушать просто потому, что больше уже не к чему стремиться? Скажи, друг мой Шмерц, разве ты видишь себя в роли отца семейства?

В голове начинает играть «Вторая половина» Братьев Грим. «Тебе мои гитары, тебе мои кошмары...». Это прекрасная песня, честно, послушайте её, когда будет время, там обо всём. Внезапно я понимаю, что умру, если сейчас не выпью. Что угодно, хоть денатурат, хоть ракетное топливо. Резко срываюсь с места и бегу, чувствуя боль в натруженных ногах. Вот и он, подъезд из жёлтого кирпича. Так его называет Гифт. Эти стены действительно сложены из кирпича жёлтого цвета, а над входом по вечерам всегда горит лампочка. Когда-то мы решили, что он ведёт напрямик в Изумрудный город, во дворец Гудвина, который уже сварил глинтвейн и ждёт не дожждётся гостей. На самом деле всё гораздо прозаичнее. Пройдя через подъезд, ты попадаешь во двор жилого дома. Там есть ещё одна арка, ведущая на соседнюю улицу, где находится работающий до последнего клиента кабак с изумерским названием «Орлиное гнездо». Одинадцать лет назад в его помещении располагался бар «Два капитана», в котором мы частенько сживали в компании Трикстера и ТНТ. Там продают на разлив дешёвое вино. Я выпью стакан крепляка и захвачу ещё литр домой на случай, если проснусь посреди ночи, и мне захочется выпить. Развивая спринтерскую скорость, я за рекордно короткое время преодолеваю отделяющее меня от цели расстояние и с шумом вваливаюсь внутрь.

В «Гнезде» как всегда накурено и душно. Жена бармена, по совместительству хозяйка заведения, в который раз на чём свет стоит проклинает подвыпившего мужа, не способного вспомнить цену рюмки водки, и в итоге сменяет его на боевом посту. Отлучённый от дел труженик стойки довольно ухмыляется и исчезает в неизвестном направлении. Подозреваю, что через минуту он уже будет предаваться возлияниям в компании прочих поклонников Бахуса в одном из потаённых уголков заведения. А их, надо сказать, немало, по крайней мере, по слухам. Постоянные клиенты кабака (в столь поздний час случайных людей здесь просто не может быть) не обращают на инцидент никакого внимания. Для них это привычная сцена, к тому же от рокировки слагаемых суммарное количество налитого никак не меняется. Я прошу стакан вермута, залпом переливаю его содержимое в желудок, беру ещё порцию и присаживаюсь за один из свободных столиков. Его поверхность не блещет чистотой, но сейчас перспектива подхватить бытовой сифилис волнует меня меньше всего. В крайнем случае, есть шанс повторить успех Мопассана и таким образом приобщиться к вечности. Правда, месье Ги де приобрёл свою болячку более естественным путём, но, Шурик, это же не наш метод. Из колонок, замаскированных где-то в дебрях кабака, льётся отборная попсуха, и подвыпившая клиентура резво скачет в такт пошлейшему электронному биту. Я вспоминаю, как прошлым летом ненадолго забежал сюда после встречи с ней. Душа пела и требовала продолжения банкета, и он не заставил себя ждать. Ты просто заскакиваешь пропустить двести вина, а в качестве бонуса получаешь песню о гуталине, чёрном цвете и променадах с кокаином. И я, и она, мы оба безумно любим «Агату Кристи». Тогда я написал ей сообщение, и мы залипли в телефоне на добрых полчаса. Кстати о трубках, моя неожиданно опять начинает вибрировать. Я вижу на экране незнакомый номер и обречённо провожу пальцем по зелёному.

– Привет, слушай, это Е.Т., тут такой странный вопрос...

Ни фига себе, в первом часу ночи мне звонит мой старинный собутыльник, с которым мы не общались лет эдак одинадцать. Он не слишком охотно поддерживает контакты с миром капитала, работает в одном и том же издательстве с тех пор, как мы познакомились, короче, попади к нему рукопись



Р.Дж. Вентворта, он перевернул бы мир, чтобы её издать. Начинается полнейшая фантазмагория. Оказывается, что кто-то нашёл мой бумажник и, обнаружив в нём визитку Е.Т., звонил ему, желая вернуть пропавшую. Вот так-то, а вы говорите, что вокруг одно стяжательство и энтропия. Благодарю и прошу озвучить звонившему мой номер телефона. Завязывается разговор, мы пытаемся рассказать друг другу как жили всё это время, эмоции перевешивают логику, много лишнего слов, всё как всегда. Сходимся на том, что нам стоит встретиться. Это действительно хорошая мысль, и я не ленюсь вбить в свой телефон памятку. Вполне удовлетворённые общением, мы прощаемся, я поднимаюсь и шагаю по направлению к туалету. Не гневайтесь, пуритане и дамы, вы ведь тоже дети природы, как бы вам того не хотелось, а физиология у всех одна. Чтобы достичь сортира, нужно пройти по длинному коридору. Облупившаяся белая краска на стенах, испятнанный линолеум, запахи лестничной клетки, ничего нового. Слева от меня ещё одна дверь. Думаю, за ней какая-то подсобка, впрочем, меня это никогда особо не интересовало. Освобождая организм от излишков жидкости и нетвёрдым шагом движусь в обратном направлении. Впереди покупка литра, дорога домой и блаженный сон. Внезапно я ловлю периферическим зрением нечто, что заставляет меня дёрнуться. Я поворачиваюсь и вижу на той самой двери в стене цветной плакат. Это обложка альбома Katatonia «Discouraged ones». Я влюбился в неё сразу, едва увидев. На ней полупрозрачная фигура в некоем подобии каски стоит на рельсах в сине-тёмном тоннеле, протягивая руку вверх, прямо к летящему навстречу ворону. Мы как-то обсуждали в кабаке эту картинку, все хором заявили, что она прямо-таки дышит суицидом, и лишь я увидел в опускающейся птице извечную надежду человека на чью-то помощь, живущую в нас даже в самой безнадёжной ситуации. Базз изобразил всё это на икре моей правой ноги, и я думаю, что на свете нет лучшей татуировки. По крайней мере, для меня. И вдруг на мою голову опускается молот, я вспоминаю всё, в глазах темнеет, и я бессильно сползаю на грязный линолеум.

«Той душной летней ночью одиннадцать лет назад мне, разметававшемуся на нерастеленной кровати, привиделся странный сон из тех, которые совершенно не фиксируются впоследствии сознанием, а лишь оставляют поутру ощущение какой-то смутной потери, которую невозможно сформулировать словами. Нечто похожее, как мне кажется, испытывал герой майринковской «Королевы Брегена» с его видением унылого и мрачного болота. В этом сне я стремительно падал, приближаясь к какой-то белой пористой поверхности, чем-то напоминающей парафин. Не знаю в состоянии ли человеческий язык передать то, что я чувствовал при этом. Наверное, ближе всего к описанию подобного состояния будут стоять ощущения, рождающиеся, когда проводишь пальцами с только что остриженными ногтями по ворсистой обивке дивана, однако, и такая аналогия является весьма и весьма приблизительной. Это было похоже на некий внутренний зуд, а самое ужасное заключалось в том, что я всё никак не мог упасть окончательно. Создавалось впечатление, что парафиновая твердь всё время отдалялась от меня со скоростью, приблизительно равной скорости моего падения. При этом я был абсолютно уверен в том, что расстояние до белой поверхности с каждой секундой сокращалось, однако вопреки всем законам физики я продолжал свой гротескный полёт в волокнистой атмосфере. Внезапно, мне в голову пришла мысль, что так может продолжаться бесконечно, и от неё я внутренне содрогнулся. «Ад – это повторение», – вспомнил я фразу, вычитанную, кажется, у Кинга, и ощутил безумное желание заорать во весь голос. И вот в тот самый момент навалившегося на меня безудержного страха перед неизбежным, я услышал голос.

Как и положено по всем канонам, он шёл отовсюду, но при этом в нём напрочь отсутствовали пресловутые грозные и обличительные интонации, свойственные третьесортным голливудским ужасникам. Напротив, голос этот звучал абсолютно нейтрально. Я отнюдь не хочу сказать, что в нём было что-то механическое, то, что в сайенс-фикшн используют как штамп, чтобы показать некую чужеродную и бесконечно далёкую от человека субстанцию. Нет, голос в моём сне был именно бесцветным, лишённым не только интонационной окраски, но даже тембра, и невозможно было сказать, кому он принадлежит – мужчине или женщине. Объяснение это никуда не годится, оно и близко не передаёт сути услышанного мной, однако я сомневаюсь в том, чтобы кто-нибудь другой смог бы выразиться точнее, ведь описать то, чему нет аналогов в реальной жизни, невозможно. Впрочем, так, наверное, мог бы звучать глас Божий.

При первом же звуке, наполнившем собой окружающее пространство, со мною произошли резкие метаморфозы. Падение прекратилось, и я, вновь опрокидывая один из основных постулатов старушки физики, завис приблизительно в нескольких метрах от парафиновой равнины. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, я чувствовал себя словно бы завернутым какими-то гигантскими инопланетными пауками в плотный кокон. Все попытки что-либо изменить оставались бесплодными, ведь тело моё просто-напросто перестало слушаться команд, подаваемых мозгом. Невероятным напряжением всех сил организма я ещё раз попытался сдвинуться с места, и тут до меня начал доходить смысл того, что говорил голос.



Впечатление от услышанного было настолько сильным, что я мгновенно позабыл о своих трепыханиях и полностью сконцентрировался на смысле слов, рождавшихся неизвестно где и сразу же взрывающимся в моей голове мириадами блестящих осколков.

«Цена счастья проста. (Ещё один парадокс. Несмотря на то, что прислушиваться к произносимому голосом я стал явно не с начала, у меня совершенно не возникло ощущения чего-то пропущенного). Ты получишь то, о чём мечтаешь, если хотя бы раз за следующие три дня и три ночи послушаешься своего сердца. Сделай то, что должен сделать, и освободишься. Помни, цена счастья проста».

Дальнейшие события разворачивались с невероятной скоростью. Осколки последнего слова ещё не успели впитаться изнутри в кости моего черепа, как до меня дошёл смысл сказанного, отчего всё тело от желудка до горла, словно бы пронзило раскалённым прутом. Миллисекунду спустя я сорвался вниз, одновременно обретая способность двигаться. Только на этот раз белая твердь никуда не отдалялась. Я инстинктивно вытянул вперёд руки в тщетной надежде хоть как-то смягчить удар, зажмурил глаза... и одним рывком вырвался из цепких объятий сна. Ещё какое-то время моё покрытое испариной сознание удерживало в себе только что явившуюся мне картину, а затем меня снова взяло забытие, и на этот раз сон мой был глубок, и никакие видения не тревожили его мерного хода. Проснувшись утром, я чувствовал себя вполне отдохнувшим и совершенно не помнил увиденного за ночь, и только странное чувство чего-то очень важного, но забытого, некоторое время не давало мне покоя. Лежа в кровати, я несколько минут апеллировал к своей памяти, пытаюсь восстановить то самое, так необходимое мне, однако, все мои усилия оставались втуне. Наконец, я окончательно плюнул на свои безуспешные потуги и пошёл в ванную, предварительно врубив на кассетнике что-то из ранней Кататонии – идеальное средство для очистки мозгов от ненужных мыслей. Отвернув кран горячей воды, я внезапно подумал о том, что рано или поздно вспомню о приснившемся в эту ночь. Почему-то от осознания этого факта по спине моей пробежала неприятная дрожь».

Те три дня я прожил бездарно, пил, рефлексировал и ещё раз пил, совершал ошибки, раскаивался и снова ошибался. А потом был ещё один сон, и голос снова укорял меня, и всё же в нём чувствовалось непонимание, и это будоражило и давало надежду на то, что я всё же нужен этому миру. Память услужливо подсовывает сознанию отпечатки прошлого. Я помню всё.

«Ну вот и всё. Три дня и три ночи, отведённые мне на то, чтобы как-то изменить свою жизнь, окончены. Круг замкнулся, шанс безвозвратно упущен, и я вновь жду встречи со стерильным голосом из ниоткуда. Только теперь нет ни падения, ни белой массы внизу. Я стою в кажущемся бесконечным тоннеле, заполненном неестественным тёмно-синим светом, а из-под ног моих в обе стороны убегают покрытые ржавчиной рельсы, которыми, видимо, не пользовались уже много лет. Всё это уже было раньше, но как я ни напрягаю память, так и не могу вспомнить где и когда. Тем не менее, в глубине души я чувствую, как важно для меня знать, откуда мне знакома вся окружающая обстановка, и поэтому я не прекращаю своих попыток. Внезапно приходит голос. Как и тогда он доносится отовсюду, однако в этот раз его уже нельзя назвать выхолощенным. Я по-прежнему не взялся бы ничего сказать по поводу того, кому он может принадлежать, но теперь в бесцветном звуковом потоке проскальзывает некая окраска, что-то среднее между непониманием и укором. Есть и ещё одна разница: в отличие от моего прошлого сна, сейчас ко мне обращаются с вопросами, и я могу отвечать невидимому собеседнику, чувствуя себя сказочным героем, попавшим в гости к бесплотным хозяевам очарованного замка».

– Знаешь ли ты о том, что лишь немногим выпадает возможность, которую тебе предоставили? Разве можно так швыряться подарками судьбы? Неужели ты не мог сделать хоть что-нибудь, неужели тебе нравится такое существование?

Я слегка улыбаюсь, мысленно сравниваю то, что слышу, с пафосом предыдущей речи голоса, и неторопливо отвечаю:

– Не важно, что мне нравится или не нравится, суть в том, способен ли я жить по-другому. Вы обещали мне счастье, так и не объяснив, что оно означает, но мне кажется, что я сам сумел найти ответ. Ваше счастье – это состояние, когда перестаёшь быть самим собой, и если всё так и есть, то я предпочту ничего не менять в своей теперешней жизни.

– Побег от себя, вечная неудовлетворённость, беспечность, пьянство – таковой, по-твоему, должна быть жизнь? Понимаешь ли ты сам, насколько глуп?

– Пускай, зато это будет моя собственная глупость, и дороже неё для меня ничего нет. Я не прошу у вас ни покоя, ни возможности что-либо исправить, просто дайте мне идти дальше так, как я умею.

– Как знаешь, – и здесь я отчётливо услышал, как при этих словах укор взял верх над непонима-



нием, – только не спрашивай отныне больше, отчего тебе всё время так неуютно. Ты сделал свой выбор, и с сегодняшнего дня во всём сможешь упрекать одного себя.

Словно бы его и не было, голос исчезает, и я понимаю, что пора возвращаться обратно. Я не знаю, что меня ждёт там, где я проснусь завтрашним утром, но кем бы там ни был говоривший со мной, в одном он прав: выбор сделан, и другого пути нет и больше не будет. С мыслью этой, которая не несёт ни грусти, ни радости, я уже собираюсь сделать первый шаг по направлению к прячущемуся за чернильной темнотой выходу, как вдруг вспоминаю, где уже сталкивался с этим местом. Конечно же, то была обложка диска *Kataponia*, в которую я влюбился сразу, едва увидев. На ней полупрозрачная фигура в некое подобие каски стояла на рельсах в точно таком же тоннеле, протягивая руку вверх, прямо к летящему навстречу ворону. Помнится ещё, когда мы как-то обсуждали в кабаке эту картинку, все хором заявили, что она прямо-таки дышит суицидом, и лишь я увидел в опускающейся птице извечную надежду человека на чью-то помощь, живущую в нас даже в самой безнадежной ситуации. Но если я действительно каким-то образом перенёсся внутрь обложки, почему тогда... Но нет, всё верно, и откуда-то из глубины я уже слышу приближающееся хлопанье крыльев, словно бы воссоздающее последний штрих. Удивительно, но совершенно неожиданно для себя я внезапно ощущаю прошедшую по телу дрожь возбуждения. Иллюзий больше нет, мосты сожжены, и ворон, который появится здесь через несколько секунд, скажет об этом лучше, чем что-либо другое. И тем не менее, вопреки всему дрожь не унимается, а наоборот растёт, понемногу превращаясь в пусть слабую, но всё же надежду. Перед моими глазами в воздухе материализуется плавно летящая прямо ко мне птица, и я, глубоко вздохнув, медленно протягиваю в её сторону раскрытую ладонь...

Надежда. Мне кажется, я потерял её одиннадцать лет назад. Поднимаю усталые глаза вверх и вдруг вижу на плакате незамеченную до этого деталь. За спиной у типа в каске виднеется ещё одна птица. Она белая, и в этом, как мне кажется, есть смысл. Я встаю на ноги, подхожу к двери в стене и толкаю её. Там внутри темно, темно непроглядной тьмой неизвестности. Шансов на спасение нет, но я всё же провожу рукой по лицу и делаю шаг за порог.

Одиннадцать лет тому назад я неожиданно написал повесть под названием «Три дня и три ночи». Жарким летом мой герой бродил в калейдоскопе лиц и событий и отчаянно пытался обрести себя. За прошедшие годы ничего не изменилось, и это значит, что жизнь продолжается. Все люди, с которыми Шмерц сталкивался на своём пути за прожитый день, прекрасны. Я люблю их, и это лучшее, что можно сказать в послесловии. Я люблю вас, как ни крути.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО

МЕЖ СТРЕЛЬЦОВ И ДЕВ

ПРАЧКА

Даниилу Чкония

И тяжкий труд, и непевучий:
едва утих воздушный бой,
она отстирывает тучи
от копоты пороховой,

от гари, ярости, горячки.
В ночную смену – до утра.
Она – потомственная прачка –
и мать стирала, и сестра.

Чтоб в росах отразились кручи,
мир должен быть отчищен весь.
Она выкручивает тучи –
и всюду капает с небес.

А смена тянется – недели,
и рассыхается ушат.
От частой стирки огрубели,
стареют руки и душа.

Она стирает. Эта участь –
за счастье – знать наверняка:
отбеленные ночью тучи –
к рассвету снова облака.

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

*Как стыдно умирать в конце апреля, в мае...
Михаэль Шерф*

Так трудно, умирая от любви
в апреле, в мае, в месяце нисане,
не возжелать, не ранить, не убить,
соприкоснувшись всеми полюсами.



Такие войны нынче на дворе,
что пушки тише сетевого лая.
Так часто умирать, чтоб умерев,
истосковаться и бежать из рая.

Там мало наших. Меж стрельцов и дев
ютится бестиарий зодиака.
Так стыдно умирать, а умерев,
не встать над пеплом, не восстать из мрака.

ДЫМ

Что сгорело дотла – обернётся потом
уцелевшим теплом в топке солнцеворота.
Где-то мечется дым над открытым костром,
прикрывая собою огонь желторотый.

То ли с возрастом ищет опоры душа,
то ли дождь приманили тоской приворотной,
только дым от огня – ни на миг, ни на шаг,
будто рано его оставлять без присмотра.

Догорело – но это ещё не конец,
дождь приходит – и дышит ровнее суглинок.
Только мечется дым, как безумный отец,
за минуту до «Скорой» теряющий сына.

Отгорело – и это бывает не зря.
Тело дарит тепло, а душа принимает.
Обнажённое небо укроет заря,
и рассветная дымка поля обнимает.

Ни случайных людей, ни попутных богов –
только хрупкое, зыбкое мировращенье.
Дым уходит туда, где рождается огонь,
переждать холода до его возвращенья.

...и видел я: вишнёвый сад
и косарей усталых,
и пушки, что века подряд
ржавеют у заставы.

Мальцы резвятся под дождём,
бежав из жарких комнат.
В саду закопано ружьё,
а где – никто не помнит.

И ливень в трёх шагах прошёл
от жатвы благодарной.
Что человеку хорошо,
то Богу и подавно.

И жизни не было иной,
и сносят волопасы
в холодный погреб земляной
осенние припасы.



Мальчонка, встав из-за стола,
узнёт под небом супчим,
про баснословные дела
прочтя на сон грядущий.

В талмудах давних толмачей:
типайшими ночами
волы исполнены очей,
орлы полны печали,

и закопали у реки
броню и перебранки
земляне, то есть земляки,
соседи по землянке.

ТАРАНЬ

А как же иначе – кувшинки, мальки, мотыльки.
Мир густо заселен и зелен – а как же иначе...
Играет худая тарань с рыбаком в поддавки.
Прозрачна вода, как весенние очи незрячих.

И жизнь, что выходит из впадин, зазоров, пазов,
близка и желанна, как скорая наша победа.
Чего же ещё, если рыба идёт на Азов,
заптопаны сети? О чем ещё стоит поведать?

Слова что плотва – им бы в стайки сбиваться, мерцать,
из донного царства приглядывать за рыбаками,
что ходят на берег – бессмертье ловить на живца,
на тонкие книги, на вечную позднюю память.

МОЛИТВА

Пока не истончился грифель,
пока остры карандаши,
дай в пару мне мужскую рифму
для слова, тела и души.

Пока не повзрослела пашня,
не выжжен лес, не топтан луг,
дай пару мне – в одной упряжке
тянуть многостраничный плуг.

Так – чтоб сплелось, и говорилось,
и грифель не мельчал в кости,
дай пару, Господи, на вырост –
друг друга не перерастить.

Тяну-вытягиваю строки,
а прочесть – вдвойне больней.
Как будто кто-то одинокий
вот так же просит обо мне.

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА

БЕСПОКОЙНАЯ СЕРДЦЕПТИЦА

ТАНЦУЙ, ЭСМЕРАЛЬДА

Танцуй, Эсмеральда-жизнь, под бубен простого счастья,
пускай Квазимодо-смерть завистливо наблюдает.

Не нам понимать, кто за нас решает
прощать ли, прощаться или ждать причастия,
поверить, проверить, понять, запомнить –
мы можем лишь впутаться в этот танец,
души приоткрыть уголок укромный,
в котором оливы и померанец,
святые и черти, вороны да голубицы,
мессия на белом осле выбирает город...

Но сколько же это ещё продлится?
Открыты ворота, со скрипом ворот
в засохший колодец спускает вёдра
и не зачерпнуть им ни капли влаги.

Пока на ветру полыхают флаги,
танцуй, Эсмеральда,
смотри, Квазимодо.

СОЛОМОНОВО

Память рухнула, мир утащив Атлантидой на дно,
рыбы донной тоски баламутят оставшийся воздух.
Мы же знаем – такие слова слишком поздно
говорить и молчать ими страшно, а надобно. Но
сотни трещин паучьими лапами ставят печать
на родное, понятное, близкое, нужное очень.
Кто-то рядом лишает себя полномочий
понимать, забывать, принимать и прощать,
кто-то сверху на нас загляделся с тоской,
обронил пару перьев на крышу горящего дома.
Этот мусор и шум городской
унесёт пересмешник знакомый
в царство тёмных лесов и поднявшихся гор,
где пылают иные закаты.
Мы – войны необъявленной псевдосолдаты,
слушать муторно этот немой приговор.



Но страницу перевернёшь,
 позабыв о былой тоске
 и поманит святая ложь –
 венка тонкая на виске,
 замок, тающий на песке,
 сладость слова на языке,
 мир, висящий на волоске.

AQUA VITAE

Пей воду смерти, наш ангел, она горчит,
 знаем ведь – всякий источник достигнет дна.
 Слышишь, как ветром срывает огонь свечи?
 Юный подумает: «Это моя весна»,

чуткий увидит распятый под снегом куст,
 сильным заря обещает кровавый бой...
 в этой низине важнейшее из искусств –
 жить, пролетая на бреющем над собой.

Быть и не думать, когда же твоя звезда
 первым лучом растопит последний лёд.
 Пей воду жизни, мой ангел.
 Она – вода,
 значит, куда-нибудь
 выведёт,
 утечёт.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ

Наташка, ты помнишь июня шмелиный гул?
 И как я пытался добраться до дерзких губ,
 но всё утыкался в просоленное плечо
 и бархатом кожи дышалось так горячо,
 а ты наблюдала сквозь ставенки сонных век.
 Я вырос, я выжил, я – маленький человек,
 из тех, что последними рвутся в смертельный бой,
 и нечем гордиться, ну разве что лишь – тобой
 и нашим родимым изнеженным городком,
 у самого моря. И в горле вскипает ком,
 но лёжа в траншее, в подбрюшьи чужой земли,
 я чую на шее дыханье твоей любви.
 И я продираюсь сквозь алую пыль и гарь,
 в которых сгорает мой жизненный календарь,
 и в этом огне нет пути назад.
 Но я обещаю тебе обяза...



СКАЗКА

Слушай же сказку:
в Ином краю,
где не марают в крови ладони,
жил, скажем, Юноша – как в раю –
видел, как в небе неспешно тонет
лодка луны и приходит день,
радостно ветру в оливах вторят
птицы и кружевом вьётся тень,
ласковый край, где не знают горя.
В том же приволье жила Она,
в тихой, простой деревне,
знала, как в поле поёт весна,
слышала голос древний
где-то внутри, призывала дождь,
травы рвала да маки...

Им не знакома сухая дрожь,
сумрачный лай собачий,
гул самолётов, дома в огне,
хрипы смотрящих в небо...

Слушай же, мальчик.
В Иной стране,
где никогда ты не был,
пусть эти двое живут любя,
счастье дая и ласки.
Если не можем начать с себя,
просто напишем сказку.

РЫБАРИ

Что это плещется, там, внутри,
где затихают дневные звуки?
Мы с тобой – вольные рыбаки,
сети плетём из своей разлуки,
прочность проверена тех сетей,
не пропускают ни боль, ни радость...
не миновавших семи страстей
жизнь заставляет принять, как данность,
скудный улов из прощальных фраз,
тяжесть вины и песок сомнений.
Больше крылом не коснётся нас чайка
отпущенных сновидений,
мы с тобой – вольные рыбаки,
наши моря – без конца и края.
Что это плещется там, внутри?
Не говори,
я всё помню,
знаю.



ПОКОЙ

*

Когда устанем клясться (с'est la vie),
 и ясно разглядим во мраке звёзды,
 сведи меня к созвездию Любви,
 но не проси ответного вопроса –
 ведь я нема уже три сотни зим,
 с тех пор как тот ушёл,
 кто был необходим.
 Накрытый стол, зажжённая свеча,
 песочные часы растерянно молчат –
 здесь всё теперь о нём напоминает.
 Лишь ангел с демоном неспешно собирают
 на нитку моей жизни рай и ад,
 перемежая их грошами дней,
 чтобы они в тиши звенели громко.
 И принимаю, с радостью ребёнка,
 подарки от своих поводырей.

*

Но манит всё, написанное кровью,
 не только прочитанное – прожить, учуять,
 как тёплый след, оставленный любовью
 в отчаянном побеге к поцелую.
 Коль нужен свет, раздуем ненароком
 свечу, бликующую розовым во мраке,
 в мечтах о снеге, свежем и глубоком,
 по белизне потерянной собакой
 так хочется отчаянно брести,
 и чтоб твоя печаль в немой горсти
 опшейником сжимала тяжко шею,
 невидимой цепи теряя звенья.
 И, в мудрости ночного откровенья,
 пусть сердце ни о чём не пожалеет,
 переживёт паденье своей веры
 и выгладится ангельской рукой.
 Не надо закалять до стали нервы,
 чтоб сильным быть, проси душе
 покоя.

СКАЗКИ АВГУСТА

Август тянет забыть сценарий,
 что прописан на сером небе.
 Тёплый маленький бестиарий
 пропускает в реальность небыль –
 и ворчит, закипая, чайник,
 склочным голосом недотроги,
 а в ладони накрошен пряник –
 угощение единорогу,



что грустит в опустевшем парке,
за окошком воркует флейта,
на наречьи напевном, ярком
заклинают дракона эльфы,
пролетает усталый ворон,
сны кидая на подоконник.
Выхожу в незнакомый город,
где в тумане цветёт шиповник
и колыхается запах пряный
сонных трав, отдающих ласку,
берегам реки безымянной –
там печальная Златовласка
расплетает седые косы,
солнце плавится янтарём,
преломляя хрусталь вопросов,
лето радужным пузырьём
уплывает неспешно в осень.

ГРАНИ СНА

*

Страхнёшь с ладоней жертвенную пыль
чужих незавершённых откровений
и усмехнёшься, что давно уплыл
корабль крылатый старых сновидений –
он малодушно перепутал роль
и в гавани чужой запасы полнит,
и загружает в трюмы ветра соль,
и заливает в бочки неба волны.
И смотрит вдаль отважный капитан,
о диких ярких берегах мечтая,
а ты стоишь на грани сна, босая,
задумчиво вертя ключи от рая.

*

День промелькнул, да и был таков.
В чутких ладонях уснуть легко,
прячется в кокон наитий мысль,
нам не постичь её явный смысл
тайный покажет тебе сама –
только зашторишь окно ума.
Сон прикоснулся ничьим крылом,
стань не сгорающим мотыльком.

*

Спи, моя девочка, пусть тебе
видится старый город в сетях дождей,
улочек путанных тусклая чешуя,
солнца закатного еле живой маяк.



Тучи закутали горизонт,
парк раскрывает дырявый зонт –
не защитит, но укроет, таков резон
этой мечты, уготованной одному.
Город покорной рыбой идёт ко дну
первого дня не твоей весны.

Спи, тебе снятся чужие сны.

СЕРДЦЕПТИЦА

И перестало болеть
за пятым пустым ребром,
там, где жила нелепая
птица счастья.
Воспоминания
покинули зимний дом,
и настоящему тоже
пора прощаться:
будущее – грядущее
просится на порог,
мешкает что-то,
треплет весенний листик...
не до конца обозначен срок
призрачных евхаристий
хлеба – земли,
молодого вина – дождя.
Всё ещё будет,
стоит остановиться –
в новой груди, снова,
но без тебя,
вывьет гнездо
беспокойная
сердцептица.

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

ANTE NOCTEM

I. «Funeralis»

Как попал я в этот дом – не вспомнится.
Зеркала накрыты аспидной тканью,
чай холодный мне в гостиной оставили
и мальчишку семилетнего рядом.
За окном рассвет туманный румянился,
во дворе рубили клён со стараньем.
– Мы назвали это дерево Авелем, –
молвил мальчик не словами, а взглядом.

А потом мы провожали покойника,
бесновались в небе ящеры молний.
гроб лежал под сенью старенькой яблони –
мне сказали, что её звали Евой.
Этот сон не разгадать даже сонникам:
нам читал апокриф батюшка полный
о пустующих судах горней гавани
и о том, что Бог не ведаёт гнева.

Капли серого дождя с яблок розовых
упадали на чело, растекались
по молитве подорожной, по венчику.
Мальчик шёпотом сказал:
– Буквы плачут.
Подошли к реке, где тихо и плёсово.
По воде пустили гроб – попрощались.
Затрещали колокольцы-бубенчики.
Экипажные зафыркали клячи.

Отворились две небесные проруби,
все разъехались, залитые светом,
а малыш легонько взял меня за руку,
и пошли мы вдоль реки желтоватой.
– Люди, – молвило дитя, – это голуби,
это песни, что ещё не допеты,
и живут они кладбищенской задругой,
а повсюду имена их и даты...



Забрели мы в камышовые заросли,
и лишился я бывшего покоя:
там от неба и людей будто пряталась
безымянная сухая могила.
И мой сын из неисполненных замыслов
лёг на холмик и прижался щекою,
и слова, что я услышал, впечатались,
в сердце мне, и это сердце кровило.

– Ты меня похоронил в мыслей ворохе,
по чужой земле хожу я без имени.
Ни при свете дня пустого, ни в мороке
не могу тебя узреть, как и ты меня.
Моего отца ли прах здесь покоится?
Иногда твоё лицо вижу явственно –
до него хотя бы раз мне дотронуться
и хвалу судьбе воздать благодарственно.
Дай допеть мне эту песню незрячую,
твердь небесная тогда станет пухом мне.
От сапсана крылья белые спрячу я –
приближается уже гулким уханьем.
Голубиная душа, ты – скиталица,
нерастроченной любовью гонимая.
В этом мире умирая – рождаются,
унося с собою невыразимое.
Кто ещё на свете мог так соскучиться?
Папа, папочка, вставай – там же холодно!
Или смерть сино делить будем поровну.
Не могу тебя оставить на улице!

И настала тишина – доля горшая,
Доля, тошная до невыносимости.
От лица отвёл ладони замёрзшие,
Огляделся – никого нет поблизости.

Что наделали вы, травушки райские,
ветры-воры, ядовито-дурманные?

И ответил мне земли голос ласковый:
– Возвращайся, через час поминальная...

II «Vomitorium»

И был мне сон второй.

Это дом не тот.
Это дом чужой.
Стол и эшафот
о крови большой.
Стоголосый плач,
вой до хрипоты,
радостный палач,
ложе тошноты.



Я к столу подошёл – вижу разную дичь на подносах.
 Исковеркано всё, словно дикий тут зверь пировал
 и оставил ответ на любой из возможных вопросов,
 до которых мой разум мучительно не дозревал.
 На железной тарелке, подёрнута плёнкой распада,
 вся в коросте и шрамах свиная была голова.
 В чёрных гротах глазниц неизбывные сумерки ада –
 чернота умоляла за нею последовать в ад.

– Вижу я нашу ферму, – плыл голос усталым куплетом, –
 дни былые, когда ты ребёнком ко мне забегал.
 Аккурат каждый день появлялся ты после обеда,
 ставил миску зерна, милой хрюшкой меня называл.
 Ты разведать не мог, что попал я в недобрые руки,
 что восточным ножом мне глаза вырезали живьём,
 ненавня за что-то, и после чудовищной муки
 умирать отнесли, на колючее бросив жнивьё.
 Нас такими запомнили небо и солнце, и вечность.
 Мы – застывшая память, музей рукотворного зла.
 Волны новых убийств, к нам восходят, туманься и пенясь,
 и печатям седьмым в этой мёртвой дали нет числа.
 Опоясали тьму вереницами остовы птичьи,
 и звериные скулы толпятся на Млечном Пути,
 слепы, глухи, беспамятны, святы своим безразличьем,
 от былого очищены тленьем до самой кости.

И запел голосами детей хор вселенский чудовищной снеди:

– Мы с ума не сошли, коротая часы
 нескончаемой силой терпенья –
 это боги отпили кровавой росы
 и познали восторг разрушенья.
 Обитая в лесах нашей боли, они
 ловят жизни себе на потеху,
 и смеются расставленные западни
 механическим, бешеным смехом.
 Время вышло, недвижен часов циферблат.
 Бесконечны пиры бессердечности.
 Не вчера нас пытали, не годы назад –
 каждый день, каждый час каждой вечности.

Помните нас, помните!

Я из дома бежал.
 Совесть тысячи жал
 выпускала и в душу вонзала.
 Это сон или бред,
 или страшный секрет
 мне миражей поведала зала?

На высокой горе
 силуэты богов
 и огня исполнинские тени.



И рядами в костре
мириады клыков,
словно стражи червонной геенны.

А на троне запретную книгу листал
предводитель небесных сынов Ацефал.

III. «Arbiter»

За ржавой клеткою – злодей,
тот, самый главный.
Родоначальник нелюдей,
тотем безглавый.
Он говорит, но не губами –
Краями раны.

– Ты видел всё, что недоступно душам смертным, –
всё, что печать седьмая спрятала от взора.
Богатства горя и греха – огни несметны.
То боль вины людской и тяжесть приговора.
Ты мог бы здесь остаться жалкой единицей,
дары порока принимать, как подаянье,
в краю свободы и величья злодеяний,
сокрытый тенью от кровавой багряницы.

Но о тебе замолвил слово вещей голубь.
Ступай из клетки вон! Беги куда угодно,
тропою ветра в камышах, дорогой водной,
в небесную ныряй златую прорубь.
Найди ту пристань, что людьми зовётся явью –
нам, обезглавленным, она – лишь сон неверный.
Нам, бессердечным все гущины – мелкотравье,
людские радости и горести – мизерны.

Тянулся нитью по песку
мой след кровавый,
и пот струился по виску
холодной лавой,
и гулом каменных дождей
звучал безглавый
за ржавой клеткою – злодей,
тот, самый главный...

IV. «Desperatio»

Отличить не могу, это сон или боль пробужденья.
Сколько минуло лет, что состарился так и устал?
По Земле я скитался, до бледной луны долетал,
был золою костров, серым пеплом и лунною тенью.
Мне дышать тяжело, словно нити всех прожитых жизней
оружили, скрутились на шее смертельным жгутом.
Не исправить ошибок в чужом, неизвестном «потом»,
только призраки прошлого в сердце звучат укоризной.



В прежнем доме моём кто встречает холодное утро,
в понедельник дождливый уходит, не заперши дверь?
Что тогда не сберёт, каждый день я теряю теперь,
и на лицах родных помертвелый окрас перламутра.
Вместо мёда оставило мне невозвратное лето
только мёртвых стрекоз, только крылья сухие в траве.
Обветшалый билет в никуда хороню в рукаве,
Ведь у сердца, увы, не бывает обратных билетов.
Выйду к морю, и мне всё мерещится, будто бы кто-то
Издалёка зовёт, машет лёгкой, знакомой рукой,
словно есть у разлуки невидимый берег другой,
и вальсируют волны в пустыне неспешным гавотом...

V. «Evigilo»

– Холодный лоб – он говорил, – глаза недвижные.
От тёплого касанья ты отвык,
и свет в твоих зрачках – лишь точка чёрная.
Но скоро ветер заколышет нивы пышные,
и ты, весенних трав узнав язык,
оставишь тропы, сонно-беспризорные.

Вглядись в мою ладонь, отец небесной пустыни,
вот линии другие, новый день,
и звери все в твоём хлеву здоровые.
Того, кем был ты, волны вдалёк несут без устали
в ладье скорбей, скользящей, словно тень;
а ты со мной идёшь одной дорогою.

Рука в руке, вдоль речки желтоватой...

Ко мне вернулись память и сознание,
и, чувствуя, что близится исход,
я обнял сына – радость узнаванья
была мне наивысшей из щедрот.

Он продолжал:
– А я смогу родиться
в чужой семье, что, горем заплатив
судьбе, о счастье перестав молиться,
мою любовь поможет воплотить.
Да будут имена, новы и древни,
у дерева, судьбы и у меня,
и небу поднесёт волна на гребне
благодаренье дольнего огня.
Возьми свечу, её неспешный пламень
до сумерек храни, как жизни ключ,
но погаси, когда в густую рамень
светило унесёт последний луч.

Тогда закрой глаза – и пробудишься
в том доме, где незапертая дверь,
дождливым утром точно в понедельник...



Ответил я:

– Тебя благословляю!

С судьбой решили спор и я, и ты
на кромке ада, у истоков рая –
важней, что до прихода темноты.

Лети туда, где нет разлук и смерти,
а утром в окна льются свет и трель,
где душу голубиную, приветив,
отец и мать уложат в колыбель.

Пусть сон уснёт во мраке хвойной чащи
и будет явь, как я – не нмярек,
что, не родившись, умерал всё чаще,
и вот, решил родиться, умерев!

И голубь воспарил...

Померк закат,
погас костёр
безжалостных богов
горы высокой.

Я погасил свечу,
закрыв глаза.

И наступила ночь.

ЕЛИЗАВЕТА РАДВАНСКАЯ

СКОЛЬКО СИЛ У ТВОЕЙ ДУШИ

ХОЗЯИН

За большим столом сидели гости,
И друзьям перемывали кости,
Съели запеченную свинину,
Выпили изысканные вина.
Говорили о почти высоком,
Размышляли о совсем убогом,
А потом друг друга обижали
И уже – ножи в руках держали.

За большим столом убиты трое.
Остальные пьют: да не от горя.
Кто-то вышел, но не в дверь – с балкона.
Кто-то зарыдал с протяжным стоном.
И хозяин приносил десерты:
Всем живым, а четверым – посмертно.
Вкусный торт разрезали на части,
Обсуждая: в чем же ищут счастье.

За большим столом сидит хозяин.
Гости бы ушли, да вот – нельзя им:
Двери заколочены снаружи...
Голос у хозяина простужен:
Он кричит о смысле жизни вечной,
Обещая: каждого излечит
От беды, от боли, от предательств,
И приводит сотни доказательств...

А в ответ не требует награды:
Мол, ему одно лишь будет надо.
И, смеясь, учтиво угощает
Всех гостей вином и чёрным чаем.
Раздаёт подарки, и жмёт руки,
Шепчет тайны всем им друг о друге,
А от тайн таких – опять обиды:
Снова трое за столом убиты.



До рассвета так всю ночь сидели,
 Слушая тревожный вой метели.
 Клокотала ненависть и зависть
 В душах тех, кто за столом остались.
 Лишь хозяин улыбался молча:
 Будто праздник и не был испорчен.
 Посмотрел: все гости не дышали.
 И с утра – он новых приглашает.

Нет на земле мира –
 Есть на земле пир.
 Нет на душе пира –
 Есть – в глубине – мир.
 Балом суфлёр правит.
 Видно, суфлёр прав:
 Нет у вранья края,
 Правда – увы – вплавь,
 К берегу, где не примут.
 К берегу, где не ждут.
 Нет на земле мира.
 Гибнет во лжи уют.
 Каждый, конечно, может
 Счастьем назвать свой быт.
 Но холодок по коже:
 Голоден, хоть и сыт...
 Нет на земле правды,
 Есть на земле пир...
 Правда наступит завтра,
 Если погибнет мир.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Разговор был очень продуктивным:
 Плыли мысли в жанре детективном,
 Виноватых быстро мы нашли –
 В бедах мира, в грусти всех несчастных...
 Мы хотели к правде быть причастны,
 По пути нехоженному шли.

Мы решали сложные задачи,
 Потому что – как ещё иначе
 Дать отпор безумию и злу?..
 И, открыв другие измерения
 Для других, для новых поколений,
 Мы топтали глупости золу.

А потом пришли врачи в халатах,
 Расспросили, отвезли куда-то...
 Нас, двух гениальнейших людей, –
 Посадили в комнату, как в клетку,
 Прописали странные таблетки –
 Мол, от лишних мыслей и идей.



Но они не рассчитали силы:
 Наша хитрость всё же победила –
 И один из нас сбежал – ура! –
 Мир спасать от зла. Я сам остался,
 Друга прикрывая, шёл лекарства
 За двоих...
 Наивны доктора!..

Душа венчала тело с духом.
 Душа дана была, как нить.
 И если в ней одна разруха –
 Нам результат не изменить.
 Душа спасалась странным чувством
 Любви, не знающей пути.
 Но если в чувствах было пусто –
 То не могла она идти,
 И тело падало (погибель
 При жизни отравляла дух);
 В грехом надломленном изгибе
 Теряло зрение и слух.
 И вырывался жутким криком
 Последний зов, моля помочь,
 Но даже самым тусклым бликом
 В душе не озарилась Ночь.
 Разъединяя тело с духом,
 Душа стремглав неслась во тьму...
 Любовь протягивала руку,
 Непостижимая уму.
 ...Канатоходцем шаг за шагом –
 Идёт на свет любой из нас,
 Но упадёт ведомый страхом.
 Воскреснет тот, кто не предаст.

Я делю на любовь
 откровенность безумного «эго»,
 получается дробь:
 числа целые нам ни к чему,
 если хмурится бровь,
 а на сердце – как детское лего –
 нами выстроен дом,
 на который наслали чуму.
Пересилить себя –
 вот советы психологов важных.
Пережить и забыть –
 говорят и друзья, и врачи.
 Но могу ли, любя,
 стать опять молодой и бесстрашной,



и не думать о том,
 о чём боль в моём теле кричит?..
 Я пытаюсь идти,
 но мои спотыкаются ноги,
 и я падаю вниз –
 не на землю – на самое дно...
 Мы в начале пути
 выбрали на ощупь дороги,
 пропустив поворот,
 пропустив – пока было темно...
 Я делю на любовь
 свою жизнь – кто-то скажет, смешную, –
 получается дробь:
 в знаменателе гордость и грусть.
 и я падаю вновь,
 и я вновь этот мир именую
 беспощадным и злым...
 Не на жизнь, а на смерть с ним дерусь.
 Мне поможет душа,
 не забывшая детского *«Верю!»*.
 Мне поможет слеза,
 растопившая холод ума.
 И уйду, не спеша,
 с поля боя, от встречи со зверем –
 в тёплый маленький дом...
 Есть на свете такие дома!

У любви не бывает сторон: не медаль,
 А, скорее, Земля – лишь ядро с оболочкой.
 А всё кажется: бред, а всё кажется: даль,
 А всё кажется: бег... за светящейся точкой...

Но любовь не бежит. И не снится в бреду.
 Это просто Земля – под ногами твоими,
 И на этой Земле, может, встретишь беду,
 Или – счастье своё, как оазис в пустыне.

Ты, конечно, устанешь. Но знай, что пока
 Держишь землю с Земли в побледневшей ладони,
 Не подпустят к тебе никакого врага,
 И тоску твою стылую ветер прогонит.

Нет, любовь – не медаль. У неё нет сторон.
 Только жар изнутри, а снаружи – снегами
 Засыпает полмира, и листьями с крон
 Остальные полмира лежат под ногами.



ЗАВЕЩАНИЕ БАБУШКИ

«Красивым ракушкам привет
Передавай, когда там будешь,
И не забудь на перевале
Взглянуть на линию вдаль:
Увидишь, может, корабли, –
Они ведь тоже, словно люди,
Свой путь, увы, не выбирали,
Плывя сквозь память долгих лет.

И вот ещё: когда луна
Отбросит свет на гладь морскую,
Ты молча стой, и не спугни
Её застенчивую зыбь.
А если будет шум грозы –
Промокнуть до костей рискуя,
Ты всё же хоть разок взгляни
На то, как плачет тишина

Над гладью тёмной, что в ночи
Блестит слезами дней прошедших.
А после – отправляйся в путь
По серпантинам горных троп.
Всемирный, видимо, Потоп
Виновен в том, что в скалах брешью
Чернеют гроты. Ну и пусть.
В ответ на рокот волн – молчи.

Запомни: запах моря я
Тебе навеки завещаю,
И не забудь его, прошу,
Ни наяву, ни в ярком сне...
Вот – время близится к весне.
Весна – быть теплой обещает...
Поверь, и здесь я ей дышу.
И здесь есть горы и моря.

Но ты, пока жива, спеши
На место встречи с тем, что мило
Уму и сердцу моему:
Приди на берег в час ночной.
И там под полною луной
Ты вспомни то, что я – забыла...
Мою любовь, мою вину,
И всю печаль моей души.

А после вновь вернись туда,
Где ты и плакала, и пела, –
Чтоб после смерти не пришлось
Ни петь, ни плакать, ни жалеть.
Прости, тебя мне не согреть.
Надеюсь, что тебя согрело
Тепло того, с кем ты – не врозь,
С кем – не страшна тебе беда...»



В самом страшном из снов
Я увидела город,
Он совсем опустел и впитал в себя грязь
Позабывших дорог, марта ветреный холод...
Город кашлял дождём, от простуд не лечась.
И я шла по нему, поднималась на горы
Над огромной рекой, что в мостах – как в жгутах.
Одиночеством небо поило мой город,
И спешила сюда, с ног сбиваясь, беда.
В самом страшном из снов
Я сбежать не сумела,
И осталась стоять на холме, на ветру,
И смотрела, как город становится белым –
Покрывается пылью опять поутру.

Я проснулась, шумели за окнами люди,
Как ни в чём не бывало, стояли дома...
Только город был мёртв.
И его не пробудят
От последнего сна
Ни рассвет, ни весна.

Если хочешь умереть – то попробуй выжить,
Если страшно умереть – то попробуй жить.
На земле стоят дома, а все замки – выше.
На земле – стоят дома, выше – миражи.

Если больно сделать шаг – подожди немного,
Если хочешь сделать шаг – тоже подожди.
С каждым днём – анастомоз: новая дорога,
С каждым днём – теплеет жизнь, воздух и дожди.

Если грустно и в груди сердце не на месте –
То не слушай никого, сядь и отдышись.
И неважно, как играть: нолик или крестик,
Ведь все игры на земле – тоже миражи.

Если страшно дальше жить – то попробуй выжить.
Научившись выживать, ты захочешь жить.
И, сквозь время пролетев, как с горы на лыжах,
Удивишься, сколько сил у твоей души.

ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

рассказ

Где эти собаки? Кто знает!

Псинная музыка шпирилась; невыносимо чистое солнце светило городу с небывалой силой. Собаки то брехали зычно, то лаяли звонко-серебрянно, по своему усмотрению. Поэты назвали бы иные собачьи голоса прокуреными. Кто знает поэтов!

Мужчина шёл своей дорогой. По пенсионному делу. Если угодно, да, в банк. А что? Золотые кудри с благородным белым отливом зачёсаны вбок; голубые глаза медленные, будто выдавшие виды. Какие виды? Кто знает! Выразительные джинсы classic, кто понимает, моложавая клетчатая рубашка, упругие валики мимических морщин в необходимых местах. Собакины квинтеты необъяснимо укрепляли его в мысли, что и свобода возможна. Слишком тёплое лето; собака – друг человека; но за квартиру не платит, ха-ха.

На тротуаре – тихая прямоугольная бумажка. Линялая, с белесыми цифрами. Померещилось – тысячерублёвка. Чуть какая.

Не оглядываясь, он небрежно нагнулся, поднял до себя, а это метр восемьдесят, и посмотрел бумажку на просвет. Действительно, тысяча.

Разве может лежать на улице настоящая тысяча? Конечно, фальшивка. Её нарочно подбросили, чтобы честный прохожий взял её, пошёл в магазин, и его арестовали. К своим годам он знал всё.

Он был осанист, умён с детства и привлекательно красив. Вырос он в полной семье, где всё было правильно, и деньги на дороге никогда не валялись.

Он порвал подмётную мерзавку надвое и бросил оземь. Внезапный ветерок послушно подхватил злодейские полукупирины. Собаки примолкли. Мужчина вытер пальцы об classic и пошёл чуть не напевая.

Из-за угла появилась, недурно семеня поношенными ножками в ботиках, горбатенькая тётенька лет пятисот от роду. Серым указательным пальчиком с лако-красочным коготком она придерживала на буклях мышиную шляпку, точь-в-точь кашпо, с белым атласным бантиком. Заметила полутысячный кусочек и, поскрипывая, пригнулась к земле ещё ближе. Да, деньги. Стараясь не ворошить соли в шейном отделе, тётенька боковым зрением посканировала окрестность, и вторая полутысяча открылась её взору, будто с готовностью, всего в двух метрах от первой. Начинающим всегда везёт. Кто понимает.

Не разгибаясь, она уточкой проковыляла до второй бумажки, вытянула как могла пальцы, похожие на короткие чётки, прицелилась и ухватила. Ещё пару минут она приводила себя в относительно вертикальное положение. Переведя дух и подумав, потрусила в ближайшее отделение Сберегательного банка. Молодец.

За кассовым окошком щебетала по телефону чёрная юбочка и белая кофточка, всё – с табличкой «Стажёр». В зале было пустынно, а стажёрка мечтала поработать. Умница. Вид любых денег вызывал у неё восторг. Девчушка любила своё свеженькое банкирство, поскольку деньги говорили ей о необъятных возможностях человека, и порядок – прежде всего.

– Детка, помоги, – сказала посетительница простодушным тоном.

Увидев беззащитные половинки, девушка чуть не заплакала. Бросив трубку, она вскочила и рассказала о горестях, изредка падающих на невинные головы пожилых людей в разных странах. Быстренько оформила замену и пожелала бабуле впредь быть осторожнее со всеобщим эквивалентом. Маркса в банке чтит.

Клиентка удовлетворённо запрягала новенькую тысячу в кошелёчек отличной степени порепанности.

А девушка скорбно рассматривала то, чему никогда больше, ни секунды не быть платёжным средством. Ей было больно видеть порванную возможность радости, пусть и небольшую; однако возможность



справедливости, восстановленная её руками, приятно поддержала её веру в полные до края возможности человека.

В эту сладостную минуту в отделение банка и вошёл осанистый, красивый, умный мужчина. Его взору предстали две счастливые каждая по-своему особы. Вот что бывает в жизни. Нельзя сказать, как он признал в бумажках, навек перелетевших на ту сторону денежного прилавка, именно свою тысячу, но узнавание вышло молниеносным.

– Это я нашёл, – начальственно сообщил он.

– Это моя денежка, – чирикнула тётенька и коснулась бантика.

– Это принадлежит банку, – доложила кофточка с юбочкой.

– Нет! Я уверен, что она фальшивая, – возмутился мужчина.

– Вы ошибаетесь, – огорчилась девушка. – Я её проверила.

– Деньги на дороге не валяются. А я никогда не ошибаюсь!

– Ошибаетесь! Они на дороге, деньги есть путь, просто вы не замечали, – восторженно засмеялась девушка. – Эту тысячу нам вернула вот эта дама. Я обменяла!

Мужчина воззрился на *даму* с готовностью порвать её натрое. Дама уточнила:

– Ваша жена ещё жива?

– Вы что всюду суетесь? – закричал красивый пенсионер окончательно.

Грубиян.

– Вот-вот, – шепнула дама и посеменила к выходу.

– Да вы не расстраивайтесь, – воскликнула девушка. – Деньги ещё будут!

– Ещё?! Развели тут... демокрратно, – зарычал умный мужчина. – Позовите начальника!

– Это может потерпеть до завтра? – расстроилась девушка. – Аделанда Робертовна ушла пораньше.

У неё внук именинник.

– Да вы что все, сговорились?!! – разошёлся не на шутку, стал брызгаться, глаза вытаращил.

– Что вы! – искренне удивилась девушка, поправляя пуговку на белой кофточке. – Мы не сговаривались.

– Я на вас управу-то найду! – пообещал мужчина и несмотря на чёткие разъяснения банковского служащего вдруг зачем-то кинулся вослед карге. Зачем!..

Выпрыгнув на кипящую солнцем улицу, он возбуждённо повёл носом. Собаки завывали. Горбатенькая испарилась. Навек! Провалилась со своими лентами, ботами, беспардонными вопросиками и траченным кошелёчком, сжевавшим настоящую тысячу его рублей. В тартарары. И никого!

И справедливости нет. Стервы! Прав был мудрый Сильвестр*. Преследователь схватился за худое кадыковатое горло, неизящно позеленел и как-то криво сложившись потёк на горячий асфальт, теряя молодость. Собаки заржали, как ослы. Солнце подпрыгнуло до неба и погасло.

В Склифосовского ему бесплатно поставили хорошую капельницу, измерили давление, расспросили о том о сём и отпустили домой, прописав не бороться за справедливость и регулярно часто сдавать общие анализы.

* *Протопоп Сильвестр* – автор «Домостроя».

СВЕТЛАНА МАЛЫШ

НОЧЬ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

рассказ

«Есть такая девушка, по имени Жанна!»

Голос звучит тихо, откуда-то издалека, из мрака.

«Есть такая девушка, по имени Жанна! Из глубины бездны я зываю к тебе».

Голос приблизился, кажется, зовёт, слышны прекрасные, как пение соловья, голоса неба. Она всматривается в прозрачную темноту, видит очертания человека в спускающихся до пола одеждах, волосы лежат на плечах, что-то держит в руках. Вот и черты лица проступили, она узнаёт их: это брат Доминик, Святой Доминик, каким видела его на иконах.

– Жанна, Жанна, Жанна!

– Кто зовёт меня?

– Это я, Доминик, брат Доминик.

Он приближается, в руках большая, тяжёлая книга. Она хочет протянуть к нему руки, но они скованы цепями, приковавшими её к столбу. Он указывает на книгу – это книга её жизни, жизни Жанна д'Арк. Она слышит голоса земли – страшные и дикие, как вой собаки, предвещающей смерть. Сейчас они начнут читать книгу её жизни, и, быть может, Святой Доминик объяснит ей, простой крестьянской девушке, что произошло? Объяснит, отчего она, спасительница Франции, взявшая Орлеан, приведшая короля к коронации в Реймсе, прикована к позорному столбу и завтра будет сожжена на костре?

О, как давно мечтала Ида об этой роли! Даже тогда, когда ещё неясно осознавала свою мечту. И вот, всего несколько часов, как завершилось первое представление этой величественной мистерии, этого удивительнейшего из всех произведений, в которых ей приходилось участвовать, или только слышать.

С братом Домиником Жанна читает свою книгу жизни. Но, должно быть, такая книга есть у каждого. Есть она и у неё, актрисы и танцовщицы, неотразимой и загадочной Иды Рубинштейн – первой исполнительницы роли Жанны в оратории Артура Онегера «Жанна д'Арк на костре». Она хочет, как и Жанна, листать книгу своей жизни страницу за страницей, вглядываться в пожелтевшие листы, в знакомые портреты, гравюры...

Когда же впервые она поняла, что именно в эту Святую Деву ей хотелось бы перевоплотиться на сцене? Она нетерпеливо листает книгу, ища ответа. Ах, вот и эта прекрасная гравюра, на которой изображён один из великолепных залов Сорбонны. В этом зале, ещё в 1934 году она присутствовала на студенческом спектакле – «Действо об Адаме и Еве», поставленном в стиле народных средневековых мистерий. Именно тогда зародилась мысль и страстное желание сыграть в подобной народной драме Жанну д'Арк.

Но кто создаст для неё драму-мистерию величественную и прекрасную? Это мог бы сделать Клод Дебюсси, он написал для неё «Мученичество Святого Себастьяна» на текст д'Аннунция (О, какой был тогда скандал, поэта даже отлучили от церкви!). Но Дебюсси уже нет в живых. Морис Равель? Он создал для неё «Болеро», прославив тем и себя, и её, но он сейчас тяжело болен. Игорь Стравинский, написавший «Персефону» и «Поцелуй феи»...

Нет, нет! И вдруг – внезапное озарение: Артур, конечно, Артур Онегер! Вот кто способен осуществить то, что она задумала! Она посвящает композитора в свой замысел, видит, как загораются его глаза, как нетерпеливо и нервно движутся руки.

– О, да, – говорит Онегер, – это будет спектакль, но не опера, не балет, в нём сольются все элементы театра: оркестр, хор, танец, драматическое действие с разговорными эпизодами. В нём соединятся черты мистерий, страстей и народных средневековых представлений. Музыка изменит свой характер, станет



честной, простой, широкомасштабной. Я постараюсь стать доступным человеку улицы и в то же время заинтересовать музыкантов. Но нужна драма, текст. Кто напишет его?

Недолгое раздумье, и внезапный восторженный выкрик Иды:

– Поль, конечно, Поль Клодель, только он сможет сделать это!

– О, да, – соглашается Онеггер, – он символист, мистик, и в то же время – реалист, простой, подчас грубоватый и одновременно изысканный. Это именно то, что нам надо.

Но Клодель согласился не сразу:

– Прикоснуться к Жанне! Никогда!

Однако вскоре, возвращаясь в поезде из Бельгии, он увидел Жанну. Видение предстало перед ним в новом, непривычном облике и овладело столь сильно, что вскоре он написал замечательную поэму, которую и принёс своим друзьям.

Ида видит себя в кабинете Онеггера, где Клодель выразительно читает свою, то ли поэму, то ли драму, объясняет её:

– У меня Жанна не воительница, а страдальца, жертва, осмысливающая на пороге смерти свой жизненный путь под духовным руководством брата Доминика. Вершина жизни Жанны – смерть, костёр в Руане. С этой вершины она обозревает всю цепь событий, которые и привели её сюда. Последовательность воспоминаний – ретроспективна: от последних минут перед казнью, через славные дни её побед к юности и детству.

Онеггер не скрывал своего восторга. Он взялся за работу с увлечением, почти со страстью. «Кто мог бы, кроме Клоделя, написать столь крупными мазками подлинную фреску! – говорил он Иде. – Я стараюсь следовать за малейшими изгибами его текста. Клодель читал мне вслух свои стихи с такой образной пластичностью, что из текста вырастал весь его музыкальный рельеф. Мне оставалось только руководствоваться этим и проникаться их атмосферой».

Ида счастлива: ведь это она вдохновила своих друзей на создание великого творения. И вот сегодня, нет, уже вчера (ночь кончается, близится рассвет), вчера, 12 мая 1938 года, состоялось на родине родителей Онеггера в Базеле первое исполнение оратории «Жанна д'Арк на костре». И я, Ида Рубинштейн, – говорит она себе, – Жанна д'Арк. Это итог всей моей жизни. Больше я не выйду на сцену.

Жанна и монах продолжают читать книгу.

– За что, скажи, брат Доминик, они осудили меня? За что яростная, слепая толпа кричала, надрываясь: «еретичка, колдунья, вероотступница, враг Бога, враг короля?»

– Это не они судили тебя. Ты была отдана на суд зверям.

И вот на сцене уже балаган, ярмарочный театр в духе средневековых фарсов. Фамилия судьи – Кошон, что по-французски значит – «свинья». О, как хитро использовал это обстоятельство Клодель!

Фанфары извещают о прибытии судей.

– Кто будет председательствовать? – вызывает глашатай.

– Тигр, тигр, тигр!

– Тигр уклонился.

– Лиса, лиса?

– Лиса заболела.

– Я! Я! Я! – Кошон! Я выдвигаю себя в судьи Жанны д'Арк!

Кричат ослы, блеют бараны. Под музыку джазово-опереточную Жанну осуждают на смерть.

Ида прижимает ладони к ушам, но музыка продолжает звучать внутри неё так нестихающе назойливо.

«Была ли в моей жизни Кошон? – думает она, – ещё бы, конечно был, обернувшийся дальним родственником, доктором Левинсоном». «Она сумасшедшая!» – вынес он приговор и упрятал в свою собственную клинику, точнее в психушку. Её поместили в стерильно чистую палату, а все остальные звери – змеи – сёстры, осёл – санитар и прочие, стерегут её. И всё только от того, что она, оставшись в одиннадцать лет сиротой с миллионным наследством, решила пойти на сцену, стать актрисой, танцовщицей. «Деньги уйдут к чужим, надо остановить её...», – говорил врач. И вот она здесь. Но она не сдастся, она сумеет перехитрить их. Надо отвлечь внимание, пусть думают, что она и вправду сумасшедшая, тогда и надзор ослабеет. Она говорит громко, отчётливо, чтобы там, за дверью, её тюремщики слышали каждое слово:

«Как красива царица Саломея сегодня вечером!.. Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она – как женщина, вставшая из могилы. Она похожа на мёртвую женщину...»

Ида читает сложный, насыщенный эротикой, монолог Саломен из пьесы Оскара Уайльда:



«...Твой голос пьянит меня, Иокanaan! Я влюблена в твоё тело. Твоё тело белое, как лилия луга, который ещё никогда не косили...»

Когда-то, ещё в Петербурге, она репетировала эту роль в театре Комиссаржевской, но спектакль запретили как неприличный.

«...Твоё тело белое, как снега, что лежат в горах Иудеи и нисходят в долины... Розы в саду аравийской царицы не так белы, как твоё тело... Саломея, Саломея, танцуй для меня. Я молю тебя, танцуй...»

Она не отказалась тогда полностью от Саломеи. М. Фокин поставил для неё «Танец семи покрывал». О, какой это был танец! Одно за другим слетали с неё покрывала, и она оставалась лишь в многочисленных низках бус. Публика неистовствовала. Критики писали: «Она явила этот танец публике самозабвенно, самоотдаваясь, самовлюблённо, в финале сбрасывая семь покрывал, оставаясь на сцене обнажённой и будто провозглашая грядущую революцию».

Она произносит слова всё громче, пытаясь одновременно, подобранной на полу чьей-то утерянной спицей, открыть замок на окне. Удача! Свежий воздух ворвался в палату. В окне второго этажа она повисает, держась за карниз руками, свесив вниз свои длинные ноги. Отпускает карниз, прыжок, всё благополучно и она стремительно убегает из своей тюрьмы...

А потом были балетные сезоны Дягилева, Kleопатра в одноименном балете, Забеида в «Шехеразаде», картина В. Серова, на которой она, Ида Рубинштейн, обнажённая, с перстнями на пальцах рук и ног, успех картины на Всемирной выставке в 1911 году в Риме, скандальная, уничижающая критика в Москве и признание «Портрета Иды Рубинштейн» шедевром после внезапной смерти художника в конце того же года. Всё так похоже на занимательную и жестокую игру.

– Жанна, Жанна, Жанна! Зовёт брат Доминик.

– А король, королева, что ж они? – спрашивает она.

– Они играли в карты, обычная карточная игра: четыре короля, четыре дамы, четыре туза. Ставка в их игре – жизнь Жанны д'Арк.

Как изящна, грациозна стилизованная под старину музыка! Два герольда ведут игру, поочередно представляя королей Франции, Англии, герцога Бургундского и четвёртого короля – Смерть, а также и королей: их величества Глупость, Тщеславие, Жадность, Распутство. И всё это – под музыку церемонного придворного танца.

– Но те, кто действительно разыгрывают партии, – провозглашает один из герольдов, – это – тузы.

– Смерть! Я не хочу, я боюсь её! – в отчаянии кричит Жанна.

– Нет! Не бойся, Жанна! Твои Святые с тобой, они вознесут тебя к небесам.

Колокола! Она слышит голоса, звучавшие ещё в детстве, голоса Святых Маргариты и Катерины. Теперь к ним присоединяется и голос самой Богородицы: «Веруй! Надейся! Жанна, избранная Богом, иди, иди, иди!».

И вот, она уже видит себя в родной деревне Домреми маленькой девочкой, хрупким, тоненьким голоском поющей любимую детскую песенку-веснянку – «Тримазо». Вокруг – родные, близкие, друзья, все, кто любит её. Их становится всё больше и больше. Это её народ! И уже вместе с ней они поют её песню, песню единения и любви.

Книга жизни прочитана до конца.

Жанна в огне! Но она разрывает цепи и освобождается силою своего духа, силой любви к своему народу. Народ славит её как сестру и Святую: «Слава нашей сестре Жанне, которая навсегда останется, как пламя, посреди Франции». Увлекаемая Маргаритой и Катериной, она возносится к небу:

«Нет большего счастья, как отдать жизнь за тех, кого любишь!»

Ночь на исходе. Ида устремляет взор к окну, чернота его подобна жидкой смоле, в которую влили несколько капель молока. Сероватый рассвет, вскоре взойдёт солнце.

«Смогла бы я, – думает Ида, – подобно Жанне, принести свою жизнь в жертву людям и испытать при этом счастье?»

Ответа нет.

О, если бы можно было прочесть книгу жизни дальше! Но в ней лишь белые страницы. Конечно, там уже всё написано, но особые чернила времени пока не проявились, и Ида ещё не знает, что вскоре начнётся война, что фашисты победным маршем войдут в Париж, и она вынуждена будет бежать в Лондон. Там, со своим другом – Гиннесом – они откроют госпиталь для раненых, и она, блистательная Ида Рубинштейн, сменит свою фантастическую широкополую шляпу, украшенную страусовыми перьями,



на белую косынку, под которой никак не будут помещаться её роскошные волосы, а шелка и кружева изысканных туалетов заменит медицинский халат. Она будет ухаживать за искалеченными войной людьми, перевязывать их раны, делая всё это так уверенно и ловко, что многие будут считать, что занималась она этим всю жизнь. Погружаясь всё глубже в мрачные, прозаические будни госпитальной жизни, она, в редкие минуты отдыха, не переставая будет думать: «Смогла бы я делать всё это, преодолевать себя, так круто изменить привычки, всю жизнь, стать тем, кем стала сейчас, если бы не было в моей жизни её, Святой Девы, отважной воительницы, имя которой – Жанна д'Арк?»

ВАДИМ ГРОЙСМАН

УРОК ГЕОМЕТРИИ

Разделить без эмоций пищу и пустоту,
Оболочку предметов и сердцевину дела.
Пищу класть на язык и птенцам приносить во рту,
Пустоту заклинать, чтоб тебя самого не съела.

Здесь окучивать грядки, копать в почве сырой,
Кровь дородной клубники, яблок подгнивших гряда...
Там – любиться или бороться с чёрной дырой,
Ледяными губами всасывая друг друга.

Но и в лёгкий солнечный день, на родном дворе,
Где всегда равны и понятны радости и убытки,
То и дело найдёшь и расколёшь пустой орех,
Второпях раздавишь кручёный скелет улитки.

Оставайся в привычном доме, вечность не беспокой,
Слушай, как пол скрипит, как трещат обои.
Словно древний маг, над пищей и пустотой
Изгибайся живым мостом, привыкая к боли.

PALE FIRE

Григорию Розенбергу

Прекрасна планета, поднявшая ночь
На мачты своих небоскрёбов,
Блестящий снаряд, разметающий прочь
Скопления белых микробов.

И звёзды прекрасны. Но первый мой тост,
Но это вино ледяное –
За бледный огонь в человеческий рост,
Что нас окружает стеною.

Как полные луны, круглы фонари,
Повёрнуты к свету дерева,
И всё угасает, лишь вечно горит
Огонь, пожирающий время.



УРОК ГЕОМЕТРИИ

Да, как Платоновы тела,
Фигуры ночи совершенны,
Из драгоценного стекла
Их недоступные вершины.
Но в небе сказка и мечта,
А на земле мы видим чётко:
Всей нашей жизни – круг, черта
И точка.

Живая, хрупкая броня
Дрожит под стрелами тупыми,
За робким отсветом огня
Следит из мрака энтропия.
Зима, не покладая рук,
Мечами ледяными машет,
Но мы себе построим круг
Из книжек и невымытых чашек.

Да, есть мучительный соблазн,
Любви утраченной замена:
В мир, занавешенный для глаз,
Проникнуть силой разуменья.
Там холод, блеск и пустота,
Всё неподвижно и громоздко,
И это красная черта
Для человеческого мозга.

Желанной передышки нет:
Дела, пустые разговоры...
Искать в задачнике ответ –
Как ночью подниматься в горы.
Глухие лунные места,
О камни стёрлась оболочка.
Дойдешь до шаткого моста –
И точка.

Труби, труби и хорони
Все эти планы, все проекты!
Я знаю – мы с тобой одни,
Не бог, не чёрт, не человек ты.

Светилось лунное окно,
Вилась чугунная ограда...
Тебя понять мне не дано.
Твоей пощады мне не надо.



РАХИЛЬ

От подмены дочерей
Нет весомого убытка.
Та, чьи волосы черней, –
Как черна её обида!

Но обронены слова:
Различать стада по цвету,
И безропотно Лаван
Повинуется обету.

Знали ветхие отцы
Толк в бесхитростной интриге.
Давний спор из-за овцы
Сохранился в первой книге.

Но потерям нет числа,
И обман без результата:
Вместе с пёстрыми ушла
И чернявая из стада...

И во весь земной простор
От заката до востока
У небес, равнин и гор
Нет ни веры, ни расчёта.

Только ветер, зной и пыль.
Хоть бы дождик, хоть бы речка...
Спой шумерскую, Рахиль,
Чернорунная овечка!

Эта женщина чужая
Долго мучилась, рожая,
Древней Хаве подражая:
Счастье, кровь и боль...
Мальчик в пуговках ветрянки,
Все дома мои – времянки,
Вот и наши с тобой.

Эти крашенные стены,
Вазы, рамки, гобелены
Ненавидят перемены,
Сказку и игру.
Мы живём на белом свете,
Как обманутые дети
Прячутся в углу.

Лучше бросим в беспорядке
Наши книжки и тетрадки,
Золотые шоколадки
Тихо развернём.
Торопиться есть причина:
Эта сладкая начинка
Тает с каждым днём...

Но не глядят по головке
За невинные уловки:
Кто не выучил уроки –
Никаких конфет.
Мой ребёнок непослушный,
Старый тесный дом разрушен,
А другого нет.

Не надо меня в сундуке запираТЬ,
Мне слишком понравилось жить-умирать,
Смотреть, как по чёрному фону
Озирис ведёт Персефону.

Как лето, в другие края уходя,
Бросает холодное семя дождя
И травы стоят полевые
В холодных слезах, как впервые.

Мы дышим дождём, понимая едва
Старение, смерть – прописные слова.
Как древняя Кора за мужем,
Мы в вечности ходим и кружим.

Настала тревога, сменившая страх.
Мы спорим и судим о наших делах.
Лишь кто-то случайно зажал себе рот,
Как тот человек, что сегодня умрёт.

Из преисподней вырваться на миг,
Глотать таблетки, стоя у аптеки,
Как будто в тайну холода проник
Под жалкой кроной дерева-калеки.

Катящийся по горлу лёгкий шар
Запить водой, прозрачной и холодной.
И снова окунуться в плотный жар,
И снова оказаться в преисподней.



Голос и свет, разрушающий дом,
Яростный куст, переросший дорогу,
Я помолюсь тебе перед судом –
Силе служенья, безликому богу,
Тайному знаку на дне золотом.

Там, на запущенном небе седьмом,
Гаснет вечерний огонь понемногу,
Там человек задыхается ртом.

В тёмных извилинах старого сада,
В теле, оставшемся после распада,
В камне, разбитом глухим молотком,
Есть наказание твоё и пощада,
Друг, притворившийся диким цветком.

Жив ты, кивком уводящий отсюда
Дрожь существа, ненадёжную власть
Всякого горя и всякого чуда,
Выемку слова, привыкшего красть.

Здесь нам назначена встреча, покуда
Ночь не захлопнула звёздную пасть.

ЕЛЕНА РЫШКОВА

ПОЛУСТАНОК, КАК ЗАБЫТЫЙ ПОДИУМ

СКАМЕЙКА

Есть места на земле, где так просто сидеть
И безветрия слушать октаву,
По-осеннему смотрит зелёная смерть
На цветы, что смеяться устанут,
Глубока тишина заполуденных снов,
Захлебнусь, чтобы вверх не стремиться,
Там на дне среди листьев тимьяна готов
Каждый звук обернуться синицей.
В рукаве лебеда и пера благодать,
Размахнусь и почувствую ветер,
Да куда от скамейки моей улетать,
Где смеркается время под вечер.

МОРВОКЗАЛ В ОДЕССЕ

мне плохо в городе моём, где так заметно
всё, что изменою зовём, да тершим крепко,
как перегар и мужнин мат после похмелья,
скрипит измена, что кровать, с единой целью –
зачать российское дитя, что Неизвестный,
под лестницу, в капустный ряд, на радость плебсу
сеченьем кесаря, резцом по пьяной лавке
извлёк и новым байстрюком с гримасой «love me@»
на руки гордо водрузил Одессе-маме,
а маяку не стало сил кричать о сраме
и по разрывам родовым у морвокзала
отечества горячий дым горяч и жалок,
облипнул сладкий палец лжи морской столицы –
торчащий фаллосом нужды отель «Kempinski».

ОДЕССЕ

занавеска приподнята, словно бровь танцовщицы фанданго,
ветер сушит побелку над открытым устало подъездом,
за оконным стеклом синева бесконечно фатальна –
коридор коммуналки ей вторит фальшивым дизезом.



эти лица домов так измучены вечным терпением,
ожиданием ласки, что выгладит серые стены
и укроет от времени, чья нагота безразмерна
и приправлена горечью старых приморских селений.
город мой, ты обмяк и заправлен за пояс небрежно
у любителя зрелищ и сладкоречивых трибунов,
но синее окно, занавеска приподнята нежно,
словно всё впереди и тебе уготована юность.

ОСТАНОВИСЬ

Остановись мгновенье на часок,
Не серебри окрину виска,
Пока весь день идёт наперечёт,
Как золото в руках ростовщика,
Пока летит куда-то вниз сентябрь,
Последний дождь в хрусталь зрачка пролив,
У подворотни в наградных значках
Из жёлтых пятен вековых олив.
А хризантемы рыжей кочаны
Никак не уложить в один букет,
Чтоб задержать – ушедшее почти
Мгновение в седьмой десяток лет.

КИСТЕПЁРАЯ

а не быть мне перистым облаком,
но исходить дождём,
протекать водой в глухие подвалы Аида,
собирать океан у пляжа в сухой поддон,
наполняя впадины дня кистепёрыми рыбами,
и толкать нелепых под острый и злой плавник
на высокий берег, на будущую Голгофу,
вспоминать потоп и его непростой родник,
что текли, как лучше, а вышло опять, как могут.
а не быть благой мне, как весь украинский Собес –
наше время давит молчащей грозой на темя
и судьба мне в гору сквозь душное горе лезть,
выправляя руку, что всё ещё кистепёра.

БОЖИЯ КОРОВКА, УЛЕТИ НА НЕБО

гадать и глотку наполнять кувшина вином вчерашним, заливая свечи
огней незрячих. чьи вы, эти взгляды?
рассыпанные просом подзаборным, вы прорастёте по весне копейкой,
пятнальным желтого металла, и одуванчик облетит, пыля,
остатком белых копий беззаботно.
мне подорожной видится сума листа шершавого,
протянутая ловко под солнечную россыпь макияжа,
веснушками усеявшего травы и рвущего ромашковые блики
на белые листы моих гаданий – перестираю их рекою песен

и растреплю руками до созвучий. что в них?
 одни лишь упования на сострадание ко мне всех божьих тварей.
 их соберу в кругу своих занятий, не отличая цезаря от пана –
 в пятнашках чёрных божии коровки, летать не разучившись,
 сядут кучно на средний палец в жажде новой крови,
 и снова в дальний путь – сбиваться в тучи, от голода и мрака сатанея,
 а так, когда одна – милее нету и даже песенку ей спеть от сердца
 рада.

ВЫДАВЛИВАЙ

Выдавливай стихами пустоту
 Из этого враждебного пространства,
 Они себе занятие найдут
 На перегонах бесконечных странствий.
 А ты забудь. Творец на то и бог,
 Что позабудет созданное всеу,
 Пространство, раскрывая страшно рот,
 Стихи по забегаловкам смакует,
 Кишит словами в чайной на углу
 И остывает первобытной лавой,
 Благая весть у голубя в зобу
 О божь, что в тебе, напоминает.
 А ты ступай, непомнящий беды,
 Создатель и наёмник безымянный,
 Тогда аукнутся они, твои стихи,
 Блестящею игрушкой мирозданья.

и ходил за мной Авраам с ножом,
 шепелявя – прости меня!
 все под богом мы сорняк-сорняком,
 только дунь, и покинем дом.
 он так верит, что мы – это прах земной,
 лишь подобие, не зерно,
 разве можно спорить, когда он мой
 и отец, и дитя – одно.
 а с ножа всё текла и густела кровь,
 опыляя траву в росе,
 где-то там всевидящий гатил топь,
 чтоб опять ступать по воде
 и показывать раны, как модный блог
 недоверчивым блогарям,
 где-то там притихший от горя бог
 зрил, как шёл убивать Авраам.

СОЙДИ НА НЕТ

сойди на нет, там полустанок пуст
 и непригляден, как забытый поддун,
 в углу перрона отдыхает куст
 в сиреневых от полумрака родинках



и тянет воздухом из приоткрытых врат,
как из духовки перед самой пасхою,
сойди на нет – ни в чём не виноват,
но именован по-иному в паспорте,
а то, что было от роду твоим,
то имя затерялось в одиночестве,
теперь носись под прозвищем чужим
по всем дорогам к счастью скособоченным.
и только тут всё сведено в одно –
лицо и слово, под которым может
глотнуть вина сирень на посошок,
сойти на нет и согласиться с прожитым.

НА ЛЮДЯХ

не хочется думать, что завтра наступит смерть
и если честно, то думать вообще не хочется,
сыграем в карты в рубашках из чёрного крепа,
он в белый горошек от пуль, что летают кочетом.
о планах не стану писать, впереди ещё будний день,
а к вечеру слово запахнет литературщиной
и масло воланда будет опять в цене,
а все трамваи в депо или резать учатся.
меня разберёт на части любой часовщик,
но завтра смерть, он с такою подмогой не справится,
не хочется думать, но нужно до завтра жить
на людях, отчаянно и записной красавицей.

ЗА ОБЛАДАНЬЕ

А днём распорядился мелкий бес,
Растаскивал минуты, письма комкал,
Жизнь невпопад ложилась под иголку
Заплатой на гноящийся порез
И, расчищая сбившиеся швы,
Снимая боль, как перед Богом шляпу,
Шёл вечер разнимать чужую драку
На небесах, в преддверье смертной тьмы.
Но на высотке теплилась душа –
Бесценная добыча в этом бое,
Где вечно бьются избранные двое
За обладанье.
Силою греша.

ЛЕВ ГОТГЕЛЬФ

ПУТЬ ДОЖДЯ

Пристрастие. Застрявшие на дне,
Всплывают корабли с богатым грузом,
И грузовик, забывшись, как во сне,
В распутицу в кювет сползает юзом.
Лежит на подоконнике крестом
Чудак – на тротуар бы не свалился!
Но хлопнул выстрел в воздухе густом,
И муравей заполз в пустую пилъзу.

Между жизнью и смертью
Лишь один перерыв:
Это ужас разверстый,
Это гнойный нарыв.
Здесь из всех превращений,
Ожидающих нас,
Только ужас священный,
Только медленный слез.

Пришёл, преодолев преграды,
Твои слова – твои следы.
Мы все тебе, конечно, рады:
Коль скоро ты пророк – гряди!

Взглянув на публику сурово,
Молчишь, а ведь на языке,
На кончике, повисло слово...
На иностранном языке.



Как только мы преодолеем
 Сначала спуск, затем подъём,
 Зальём вселенную елеем
 И космос патокой зальём.
 Тогда из улья, стиснув жвалы,
 – Ещё цветут сады, поля –
 Мгновенно: всё ей мёда мало, –
 Взлетит вселенская пчела.

Потерявший чувство меры
 Просочился дождь в суглинок:
 Формы разные, размеры
 У комочков и пылинок.
 Здесь не стык конфигураций,
 Там ребро длинней на атом...
 Капле трудно вглубь пробраться
 В пыльной почве комковатой.
 Как в пещеру спелеолог
 Вполз, бесстрашен и неистов,
 Путь дождя тяжёл и долог
 До реки подземной, чистой.

ХЛЕБНИКОВ

Те странствия, которыми богата
 Голодная, раздетая страна...
 Меняешь хлеб на рублище: вот плата.
 Разруха, голод, холод и война.
 Скиталец, бедолага и мешочник
 Прут на перрон, нелепо семеня,
 А ты меняешь сахар на подстрочник.
 Разруха, голод, холод и война.
 Трещат вагоны, смятые мешками:
 Три пуда соли, сахара, пшена?
 Здесь, как вершины параллелограмма,
 Разруха, голод, холод и война.
 И ты, приговорённый к высшей мере
 За странствия с рассвета до темна,
 Меняешь жизнь на смерть – и нет потери.
 Разруха, голод, холод и война.

Отток минут, отток часов и дней...
 В какой они стремятся трубопровод?
 Есть повод жить и умереть есть повод,
 Я как в трубе, сейчас в судьбе своей.



Сверкает сталью узкое пространство,
 Поток несётся, ускоряя бег,
 И мечется несчастный человек,
 Зажатый между старостью и страстью.

А мы и так живём не так,
 Ну не хватает счастья...
 Нам до стреноженных Итак
 Под парусами мчаться.
 На полумёртвых островах,
 Нам данных во владенье,
 Мы все поражены в правах,
 Как будто приведенья.
 Кораблик, не доставший дна,
 Плывёт, виляя килем,
 Но жизнь сквозь толщу вод видна
 Под тиной и над илом.
 Сквозь вод прозрачные пласты
 Мы вниз глядим усердно,
 Где только я и только ты
 Воистину бессмертны.

Снег засыпал нам страну
 Слоем белой пыли.
 Мы уходим на войну,
 Чтобы нас забыли.
 Волки воют на луну,
 Мистик вертит блюдце.
 Мы уходим на войну,
 Чтобы не вернуться.
 Подойди, чужак, к окну:
 Лбом к стеклу прижаться.
 Мы уходим на войну,
 Чтобы там остаться.

Жизнь со смертью в унисон:
 Я смущен и потрясён –

Вектора ортогональны:
 Умер, как родился, в спальне

И по лестнице в постель
 В гроб сошёл, как в колыбель.

АЛЕКСАНДР ЛЮСЫЙ

АКТИВИЗМ И МЕЛАНХОЛИЯ

Основные фигуры «Венского текста» русской литературы

*В Вене две девицы
Veni vidi vici.*

Пётр Потёмкин

Эпизоды, с которых я хочу начать свой рассказ, не стали достоянием романистов, но опосредованный отклик в последующих произведениях русской литературы всё же нашли. Некоторое соответствие с хрестоматийной схемой Александра Герцена: на вызов, брошенный Пётром, Россия отвечает «явлением Пушкина», отчасти просматривается и здесь, с тем отличием, что Пушкин именно в этом месте всё же ни разу не переночевал.

Итак, на пути в Вену на третий год своего Великого посольства, Пётр миновал Прагу и 11 июня 1698 года прибыл в Штоккерау, в 28 верстах от Вены, где ждал несколько дней окончания приготовлений к торжественной встрече русского посольства. Въезд посольства состоялся вечером 10 июня. Пётр, по обыкновению, опередил послов и приехал в Вену инкогнито, на почтовых лошадях. Посольство было размещено в просторном богатом доме графа Кёнигсека, окружённом прекрасно распланированным садом с фонтанами и множеством статуй, где и поселился «десятник Пётр Михайлов». 11 июля император Леопольд устроил грандиозное празднество – традиционный для венского двора костюмированный бал. Австрийская элита явилась на праздник в костюмах разных времён и народов: древнеримских, голландских, польских, китайских, цыганских и т.д. Пётр I нарядился фрисландским крестьянином, а Леопольд и его супруга Элеонора – трактирщиками. Веселье продолжалось до четырёх часов утра, и русский царь танцевал на том балу «без конца и меры»¹. Однако за этими утехами главного – союза в войне с Османской империей – добиться не удалось.

Австрийцы, заранее располагая информацией о поведении Петра как в Москве, так и во время путешествия, едва могли поверить, что этот почтительный и скромный молодой человек – тот самый гуляка, о котором они были наслышаны. Иностранцы в Вене отмечали его «деликатные, безупречные манеры». Из Вены царь собирался поехать в Венецию, чтобы продолжить начатое в северной Европе изучение судостроения. Однако из Москвы пришло известие о восстании стрельцов, и Пётр начал быстрое возвращение домой.

Не нашёл отражения в литературе и Венский конгресс 1815 года, который привёл к образованию Венской системы международных отношений и образованию Священного союза. После этого в Вене наступило 30-летие мирной жизни и политической стабильности. Главной ценностью этой короткой эпохи стала мирная жизнь в кругу семьи, что нашло своё яркое воплощение в стиле бидермейер, «смесь ампира с романтизмом» в духе интимности и домашнего уюта («бытового романтизма»), отразившегося в живописи и литературе. С этой точки зрения как явления одного рода можно рассматривать прозу Пушкина в одном ряду с произведениями Н. Полевого, М. Погодина, М. Жуковой, И. Панаева, В. Соллогуба, а также Н. Мундта, Ф. Корфа, А. Емичева и других беллетристов. Н.Я. Берковский в статье «О “Повестях Белкина”» доказывает, что «этот стиль, очень явственный к 20-30-м годам в Европе, овладевший модами, утварью, мебелью, изобразительным искусством, литературой, конечно, не мог ускользнуть от Пушкина»². Один из «кусков бидермейера», которые, как считает исследователь, «постоянно встречаются» в «Повестях Белкина», связан как раз с выражением породившего этот стиль духа «Между тем война со славою была кончена. Полки возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу <...> Офицеры, ушедшие в поход

почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. <...> Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слёзы свидания!» («Метель»). «Женская тема» в данном тексте, связанная с обликом рассказчицы, девицы К.И.Т., столь простодушно-непосредственно передающей смысл «блистательного времени», чуть иронично вводится Пушкиным.³

Но тем не менее, не Пушкин, но Гоголь стал литературным ответчиком за не такое уж и вызывающее поведение Петра в Вене. Впрочем, эпистолярные впечатления не переросли в посвящённое городу произведение, напоминающее его «Рим». Однако эти письма всё же заслуживают *венописательского*, если не *венописательного*, литературного внимания. Гоголь появляется в Вене в июне 1839 года, имея уже немалый зарубежный опыт, откуда пишет одно из самых странных, исполненных духом самого по себе весьма диалектичного венского кофе/чаепития, писем Е.Г. Чертковой (22.06.1839): «Странная вещь. Как только напьюсь чаю, в ту же минуту кто-то невидимкой толкает меня под руку писать к вам, и Елисавет<a> Григорьевна не сходит ни на минуту с мыслей. И отчего бы это? Пусть бы ещё эта потребность являлась во время кофию, тогда по крайней мере понятно. Кофий клеится в моей памяти с вами: вы сами мне клали сахар и наливали; но во время чаю вы не брали на себя никакой должности. Отчего же это? Я теряюсь и становлюсь похожим на того почтенного гражданина и дворянина, который всю жизнь свою задавал себе вопрос: почему он Хризанфий, а не Иван, и не Максим, и не Онуфрий, и даже не Кондрат и не Прокофий⁴. Вы верно знаете, отчего вы живёе в моих мыслях после чаю. Верно вы один раз, пивши его, вообразили, что льёте мне его на голову и вылили вашу чашку на пол. Или, хотевши швырнуть блюдечком мне в лоб, попали им в верхнюю губу и передний зуб вашего доктора, который только что успел вам рассказать, как весь город удивляется терпению вашего Гриши, или может быть ваша Лиза, взявши чашку с чаем и приготавлиаясь пить, закричала во весь голос: Ах мама, вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! Вы бросились с места и вскрикнули: Где Гоголь? Лиза принялась ловить ложечкой в стакане и закричала вновь: Ах, это не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была, точно, муха и может быть в эту минуту сказали: Ах, зачем эта муха, которая так надоедала мне, уже далеко от меня. Словом, что-нибудь верно случилось, иначе мне бы не было такого сильного желания писать к вам именно после чаю. Вы мне обыкновенно представляетесь сидящею в креслах, в ваших креслах. Но после чаю вы стоите возле меня живо, опершись на спинку стула, и как будто что-то говорите. Почти так, как, помните, один раз вы сказали или может даже подумали так, что сосед ваш вовсе не слышал, а услышал я. Вы сидели у окна, ваши губы едва шевельнулись или почти не шевельнулись. Вы мне лучше и чаще представляетесь в эту минуту. Словом, хотя мне чай вреден, но я буду его пить чаще, чтобы иметь подобные минуты.

Знаете ли, что это письмо пишется к вам из Вены? я мог бы сию минуту сходить в Poste restante и взять там ваше письмо и написать на него ответ, но я не хотел этого сделать для того, чтобы до завтра быть в сладкой уверенности, что там лежит точно ваше письмо ко мне. Если ж там нет его – боже! сколько злости прольётся. Всем достанется: и немцам, и Вене, и шляпе, и перчаткам, и мостовой, и собственному носу, о чём, как кажется, было уже писано. И ни одному немцу, который будет сидеть со мною в дилижансе, не позволю выкурить ни одной сигары. Пусть он треснет, проклятый! Прощайте, целую ваши ручки⁵.

В сущности, Гоголь здесь сразу же постиг саму сущность венского опереточного бытия, предвосхитил не только особенности грядущей литературной, но и художественной жизни с её превращённым акционизмом, и даже в какой-то степени дал набросок сценариев экранизаций – как «Новеллы о снах» Артура Шницлера Стэнли Кубриком, перенёсшим в фильме «С широко закрытыми глазами» (1999) события из Вены 1925 года в современный Нью-Йорк (говорят, рассеянные там по ходу дела намёки на особенности интимной жизни современной элиты стоили ему жизни), в результате чего весь мир предстал как *глобальная Вена* тайного артистичного разврата, так и клипа «Кругом одни мужчины», вероятно, повлиявшем на замысел фильма «Муха» Д. Кроненберга, последовательно развивающего тему телесного ужаса.

Отъехав в Мариенбад, Гоголь опять 25.08.1839 г. возвращается в Вену, откуда в письме к С.П. Шевырёву сообщает уже о конкретной работе – над драмой из истории Запорожья: «Передо мною выясняются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак». 19.09.1839 года Гоголь уезжает в Россию, с тем, чтобы приехать сюда ещё раз в июне следующего 1840 года, чтобы именно здесь продолжить работу над запорожской трагедией и предаться лечению водами. «...Вена приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опера. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу ещё⁶. Однако лечение на пользу не идёт, вместе с жарой приходит тяжелейшее духовное расстройство – «Венский кризис», когда сам воздух стал казаться кажется «неприятным» – «тень отца приходит в бессонные ночи,



и он вспоминает, что, по рассказам матери, тот так же предчувствовал свой конец и, чтоб не привлекать в свидетели близких, уехал умирать из дому»⁷. Вена стала для Гоголя каким-то Вий-городом, и он с последними надеждами на перемену места уезжает в Рим, а призрак ненаписанной запорожской трагедии так и остался навечно здесь, не став пока памятником.

Цельный образ Вены тех лет представил позднее в своих «Литературных воспоминаниях» современник Гоголя Павел Анненков: «Зиму 40-41 годов мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер Австрии успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой новизне на всём пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожаемый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия... Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению и самих себя, и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо в этой обстановке, ...благоговейно поклоняясь гениям искусства и литературы, сберегая про себя святыню души»⁸.

То есть такая внешняя «тяжесть недобрая» обеспечивала своеобразный духовный вакуум внутренней лёгкости, которая, вкупе с красотой и изяществом, стала вскоре главной составляющей русских представлений о Вене, и не только среди писателей и художников. Свобода и либерализм 1860-70-х гг. сломали в представлениях многих путешественников средневековый, консервативный облик Вены, сделав из неё одну из самых красивых и изящных столиц Европы. Вот герои Льва Толстого рассуждают (в черновиках к «Войне и миру») о «прелестной Вене». И это в то время, когда на подступах к городу стояли войска Наполеона: «Честное слово, точно я уроженец этой прелестной Вены, так она мне мила. Солдатчина в Вене!». Напротив, вступление русских войск в австрийскую столицу воспринимается щеголеватым русским вахмистром как событие во всех отношениях приятное: «Мне говорили, граф, что мы будем стоять в Вене... Это хорошо. Женщины. Пратер... Я слышал, что венские женщины лучше полек. Польские кокетливы и заманчивы, но viennoises беззаботнее, веселее».

И в наброске к следующему толстовскому роману, действие которого разворачивается на десятилетие позже: «Вы давно ли тут?» – спрашивает Анна Каренина своего партнёра на светском балу. – «Мы вчера приехали, мы были на выставке в Вене, теперь я еду в деревню оброки собирать»⁹. Т.е., Вена – город, куда ездят на выставки, а деревня, крестьяне, оброки – это Россия.

«Блистательность» космополитичной Вены становится альтернативой националистичному, чопорному и педантичному Берлину. Россияне не очень комфортно чувствовали себя в германской столице, поэтому Вена с её стремлением к удовольствиям и поликультурностью является лучшим свидетельством европейскости русских, прежде всего для них самих и показателем того, что они вполне гармонично могут жить в Европе. Отсюда следует бесконечное множество сравнений Берлина и Вены, и практически все они были не в пользу германской столицы. Кроме того, у россиян конструируется образ «Среднеевропейской общности», расположившейся между Германией и Россией.

Из обратных впечатлений выделяется «Русское путешествие» Германа Бара, интересное, по наблюдениям А.И. Жеребкина, метаморфозой героя-рассказчика, происходящей на фоне топки петербургского мифа, известной Бару из Достоевского и возможно, из Пушкина. Призрачная столица России выступает у Бара как символ декадентского сознания, для которого весь мир обращается в систему мифических представлений, но вместе с тем и как экзистенциальное пространство, в котором трагедия эстетического индивидуализма достигает кульминации и разрешается рождением «нового человека» – человека христианской культуры. Функция эротических эпизодов, в том числе выразительной сценки в русском борделе, заключается в том, чтобы ввести образ иллюзорного Петербурга, иллюзорность которого рассказчику надлежит преодолеть, в древнюю мифологическую перспективу города-блудницы Вавилона. «Маленькая актриса» Лотта Витт, в начале книги не более чем участница дорожного флирта, получает по мере развития сюжета роль Беатриче, божественной проводницы в «vita nova», которая должна быть заслужена нисхождением в петербургский Inferno¹⁰.

В более поздней автобиографической книге «Автопортрет» Бар не без иронии сопоставляет два петербургских воспоминания – о статуе гордого царя на Сенатской площади и о смиренно молящемся



народе в маленькой церкви неподалёку от Казанского собора. Сознательно смонтированные по принципу контраста, они подтверждают принципиальное значение книги 1891 года. Антитеза языческого человекобога и христианского богочеловека, составляющая её идейный сюжет, настолько тесно связывает «Русское путешествие» с т.н. «петербургским текстом русской литературы», что появляется основание для того, чтобы рассматривать петербургский миф в качестве одной из несущих опор венского модернизма. Уточним, что если в австрийской литературе Петербургский текст присутствует в традиционном образе пушкинского Медного всадника, осложненного затем скорее взаимоотношениями всадника и лошади (навязчивый сон молодого К. Юнга, который он пересказывал З. Фрейд, если судить по фильму Д. Кроненберга «Опасный метод»), а не путавшимся под ногами «маленьким человеком», то русских литераторов в Вене этот текст сопровождает скорее как признак гоголевского Носа, малость, пожалуй, по-боксёрски деформированного описанной Р. Музилем в «Человеке без свойств» дракой как «поспешной интимностью» (но об этом ниже).

А.П. Чехов, оказавшись в Вене весной 1891 года, очарован городом, во всяком случае, так это следует из его писем к родственникам. Вновь оказавшись в Вене через два года он оказался в довольно гоголевской ситуации при подведении здесь эпистолярных итогов своему роману с А.С. Мизиновой (Ликой), умоляя её не разглашать тайну, что он якобы в Феодосии, а не Вене, и внося в свою «утаённую Вену» как в «утаённую любовь», свою ноту Петербургского текста: «Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас»¹¹. 18 (30) сентября 1894 г. Вена. В последующих же письмах отсюда к О.Л. Книппер-Чеховой он делится уже больше скукой.

На рубеже XIX-XX веков, с одной стороны, именно Вена стала отождествляться в российском сознании с новым искусством рубежа веков. С другой, в русской словесности по-прежнему не заметны посвящённые этому городу сочинения. «Поэты Серебряного века не писали о Вене стихов, обошли стороной даже авторы мемуаров... если же она всё-таки присутствовала в рассказах или описаниях, то чаще в виде слова-обозначения, куда едут или откуда приезжают»¹².

Пожалуй, в то время к Вене более пристальное внимание было проявлено революционерами. Здесь часто бывали В.И. Ульянов-Ленин (суточная остановка «пломбированного вагона» которого здесь в 1917 году – предмет особого конспирологического анализа), И.В. Сталин написал в Вене свои книги о марксизме и национальном вопросе (1913 г.), используя теоретические наработки австромарксистов, а Л.Д. Троцкий прожил в Вене более трёх лет накануне Первой мировой войны. Как литература прошла мимо такого совпадения? В 1913 году А. Гитлер, И. Сталин, Л. Троцкий, Иосип Броз Тито и З. Фрейд жили в Вене, совсем недалеко друг от друга¹³ (Троцкий всё же успел побывать пациентом доктора Фрейда).

Как отмечает И.В. Крючков, воспоминания Л. Троцкого о Вене невольно сводятся к его дискуссиям с Р. Гильфердингом, К. Реннером, О. Бауэром и другими австрийскими политическими деятелями за столиками венских кафе. Троцкий был поражён «кофейным социализмом» австрийских социал-демократов, которым венский стиль заменил революционность. Аристократизм и мелкобуржуазность, тяга к интеллектуализму и обрывочные познания Маркса, джентльменство и сальные шутки о женщинах спокойно сочетались в характере социал-демократов Вены. Противоречивость и многогранность австрийской столицы не могла не сказаться на венских политиках, в том числе социал-демократах. Они не позиционировали себя радикально по отношению к имперской власти, уживаясь с существующими устоями. «В старой императорской иерархической, суетной и тщеславной Вене марксисты-академики сладостно именовали друг друга “Herr Doctor”»¹⁴. Это, на взгляд Троцкого, демонстрировало степень «разложения» венских социал-демократов. В Вене, в сравнении с Берлином, не было настоящей политики и политической борьбы, всё выглядело буднично и по-домашнему. «Кофе» вытеснил политику, эстетика подавила революционность.

Однако, если обратиться к тексту «Моей жизни» «литератора-революционера», как он себя обозначал, общий образ Вены и венцев всё же возникает: «На венских заборах появились надписи: Alle Serben tuessen sterben. Это стало кличем уличных мальчишек. Наш младший мальчик, Серёжа, движимый, как всегда, чувством противоречия, возгласил на зинверингской лужайке: “Hoch Serbien!”. Он вернулся домой с синяками и с опытом международной политики.

...Во всех европейских центрах стояли одинаково “чудесные” дни августа, все страны вступали “преображёнными” в работу своего взаимоистребления.

Особенно неожиданным казался патриотический подъём масс в Австро-Венгрии. Что толкало венского



сапожного подмастерья, полунемца-получеха Поспешилия, или напу зеленицу фрау Мареш, или извозчика Франкля на площадь перед военным министерством? Национальная идея? Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной идеи. Нет, движущая сила была иная.

Таких людей, вся жизнь которых день за днём проходит в монотонной безнадежности, очень много на свете. Ими держится современное общество. Набат мобилизации врывается в их жизнь как обещание. Всё привычное и осточертившее опрокидывается, воцаряется новое и необычное. Впереди должны произойти ещё более необозримые перемены. К лучшему или к худшему? Разумеется, к лучшему: разве Поспешилию может стать хуже, чем в “нормальное” время?

Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и наблюдал эту совершенно необычную для шикарного Ринга толпу, в которой пробудились надежды. И разве частица этих надежд не осуществляется уже сегодня? Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, подмастерья и подrostки предместий могли бы себя чувствовать господами положения на Ринге? Война захватывает всех, и, следовательно, угнетённые, обманутые жизнью чувствуют себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть не покажется парадоксом, но в настроениях венской толпы, демонстрировавшей во славу габсбургского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по октябрьским дням 1905 г. в тогдашнем Петербурге. Недаром же война часто являлась в истории матерью революции¹⁵. Эта книга, вероятно, была известна автору «Масса и власть» венцу Э. Канетти.

Военная Вена была полностью обойдена русской литературой, не выделив ей хотя бы какого-то аналога «Медали за город Будапешт». Но когда пришла оттепель, Арсений Тарковский встретил тут своё междивилизационное и интерпоколенческое «Утро в Вене»:

*Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-фотозеев.*

*Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведёт
Свои насекомые ноты.*

*Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посытался жмель –
На каждого по сто спиралей.*

*И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.*

Вскоре Вена стала для части советской интеллигенции эмигрантским «окном в Европу», вскользь упоминаясь в этом качестве в мемуарах В. Бетаки. Здесь перед преодолевшим эмигрантские препоны «богатырём» разверзались три дороги – либо, как обычно заявлялось, в Израиль, либо далее на запад, либо попытаться осесть в самой Вене.

«Текстологическая» память о Вене как способе экспорта Петербургского текста проявлена рок-музыкантом К. Арбениным. Три топонима в его песне «Средневековый город», несмотря на свою закреплённость за реальными топосами, являют собой своеобразное воплощение «петербургского текста», развёрнутого в европейский контекст. «Вена (как и Краков, и Бремен) в русском культурном сознании по ряду критериев, если следовать песне Арбенина, являются знаками Петербурга. В этом, как нам представляется, установка “петербургского текста” русской культуры в его изводе 1990-х годов на поиски аналогов Петербургу в “русской редакции” “европейского текста”. Более того, любой город в песнях петербуржца Арбенина – это Петербург: он может быть назван своим настоящим именем, может быть не назван вообще, а может быть назван Веной, Краковом или Бременом»¹⁶.

Масштабное, полноценное литературное проникновение в Вену состоялось уже в XXI веке. За Веной, ввиду особой либеральности австрийских законов к этому времени закрепилась, плюс ко всему, репутация теневого «окна в Европу», где можно отмыть капитал или «залечь на дно». Такие эпизоды описаны Марией Голованивской в грандиозном романе, средоточии локальных текстов, «Пангея». Особо же я бы здесь выделил (при всей возможной странности такого сопоставления в ином контексте) романы Владимира Яременко-Толстого «Девушка с персиком» и Андрея Левкина «Вена, операционная система». Оба писателя (первый там живёт, попав *на волне* эмиграции третьей волны, второй время от времени наезжает) Вену любят, в частности, сопоставлять её с Петербургом (второй через посредство Риги). У обоих есть своё мнение на художественную жизнь общих городов. Оба – сами себе герои, стилистически скользят по поверхности города, рискуя поскользнуться в отходах жизнедеятельности (первый – сексуальных, второй – простудных). И оба, помимо прочего, демонстрируют реинкарнации Носа, явившегося сюда по следам своего создателя через пару столетий после создания! Первый – в переносном, фрейдистском («кастрационном»), хотя и лишённом глубинной саморефлексии смысле («Мой-мой» – ещё более конкретное указание в самом названии другого отчасти «венского» романа В. Яременко-Толстого на определённую часть своего тела). Второй – практически в буквальном смысле, саморефлексивно сморкающемся, пытающемся интровертно втянуть всё в себя.

Первый сразу же погружает читателя в карнавальную жизнь венской художественной богемы и его передового отряда – знаменитого венского акционизма, к которому и он сам, университетский профессор старается приобщиться фотопроектами «Женщины Вены» и «Голые поэты». За чередой фуршетов и занятий любовью взглянуть на саму Вену тут особенно некогда, дана только самая общая экспозиция походов. «Горло культурной Вены было зажато двумя удавками – Рингом (кольцом) и Гюртелем (поясом). Ринг обвивал старый город с его узкими улицами, культурными и правительственными учреждениями, дворцами и соборами. // За Гюртелем кончалась цивилизация, там были разбросаны жилые и хозяйственные комплексы».

Поскольку у второго физиологические подробности не столь увлекательны, а сопоставления сутобо литературны (он сводит не сошедших было тут выше исторических деятелей, а Бахмана с Целаном и Музилем) в качестве главного героя выдвигается памятник пьянице Августину, во время эпидемии чумы 1678-1679 гг. упавшему в яму для покойников, но не подхвачившему в результате такой ночёвки даже насморка. Причём, русский перевод знаменитой песни в его честь явно приукрашивает героя («Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! Ах, мой милый Августин! Всё прошло, всё» – правильнее было бы «эх, бедняга Августин», если не «мудило»). Нельзя не отметить такую упомянутую автором венскую цитацию в Москве. В 1763 году в здании Грановитой палаты Кремля были обнаружены «большие английские курантовые часы». С 1767-го года выписанный по этому поводу из Германии мастер Фатц (Фатц) три года устанавливал их на Спасской башне. В 1770-м куранты заиграли именно «Ах, мой милый Августин», и некоторое время эта музыка звучала над Кремлём. Увы, в том же году в Москве тоже началась эпидемия чумы...

«Вена, операционная система» абсолютно лишена присутствия женщин, но здесь подробно описывается занимающая несколько залов в Кунстхалле выставка «The Porn Identity». Вена Левкина имеет две тенденции: памятники и их отсутствие в виде то ли чумы, то ли рака. Она населена преимущественно сторонниками разных художественных течений (преимущественно акционизма и флюксуса), отражающими постоянное «обнуление» духовной и эстетической ситуации в этом городе. «...что Вена за город в шестидесятые? Фактически дохлый, едва после частичной оккупации и уж точно без былого влияния, музеефицирующийся, а что ещё делать? Вот они и ходили по кишкам, испражнялись, били друг друга до крови, резались как флагелланты».

Так апофатически, сказали бы мы, выражалась воля к возвращению венского ценностного вакуума. «Цитаты обнуляются, и это хорошо, вечное их повторение, это как все новые слои масляной краски, которой покрашено уже и не разобрать что именно». Потому что когда был ценностный вакуум, то город был общемировым, а когда вакуум куда-то делся и началась музеефикация, тут же сделался провинциальным. Хотя бы тот же ни в чем не повинный Августин в виде прагматического фонтана для воды из горных источников, доставленных в город бургомистром Луэгером, данный монумент и открывшим. Крестьянский вид явно был сделан на тему народности как вечной ценности, когда эту народность решили сделать таковой – на предмет укрепления связи Народа и Императора в обход космополитов с их вакуумом. Бетонный Августин не имел отношения к автору песенки, но песенка оказалась ещё более дальновидной: чума – даже *зафиксированная* (выделено мной – А.Л.) в бетоне – какие-то свои качества сохраняет. Может,



она и сделалась раком, который шёл и музеефицировал город со всей его памятью. Так что если всё равно скоро придётся окончательно умирать, почему бы не попробовать разрезать себя и вытащить оттуда себя другого? Наивные времена, но что делать, если их так прищёрло?»¹⁷.

На такой фазе переживаний Вена, завершив своё дело абстрагирования чувств, становится «лишним городом», как «лишний человек» Петербургского текста. «Венское состояние» поселяется в самой литературе, но не помещается в ней, политически активирова искусство перформанса.

Фиксация – так назвал свою акцию Павел Павленский, 10 ноября 2013 года прибыв свои *текстикулы* к брусчатке Красной площади в Москве. В пояснительной записке к акции художник сообщил, что видит своей задачей – указать на пассивность общества, порождающую опасность формирования полицейского государства в классическом смысле слова. «Не чиновничий беспредел лишает общество возможности действовать, а фиксация на своих поражениях и потерях всё крепче прибывает нас к кремлёвской брусчатке, создавая из людей армию апатичных истуканов, терпеливо ждущих своей участи», – такую позицию художник сформулировал в своём программном заявлении¹⁸.

Отмечено, что помимо противопоставления политики и полиции в риторике акциониста явно прослеживается отсылка к психоаналитической проблематике травмы, навязчивой фиксации на опыте отчаяния, бессилия и поражения, которая в данном случае проецируется на социальную историю нулевых и десятых годов. Навязчивое повторение как последняя инстанция интеллигентской рефлексии закрепляет позиции траура как единственно признанного способа самоосмысления российской общественности.

Несмотря на то, что формально акция приурочена ко Дню полиции, а сама практика фиксации мошонки, как и ранее применявшийся Павленским приём с зашиванием рта отсылают к традициям сопротивления заключённых и, шире, к субкультуре «воров в законе», контекст высказывания Павленского представляется более широким.

Так, на фоне масштабных культурных мероприятий, посвящённых четырёхсотлетию дома Романовых, явно отмеченных попыткой обнаружить преемственность, своего рода исторической клей, цементирующий российскую государственность, гвоздь Пётра Павленского сложно увидеть иначе, чем один из образов той «скрепы», которую сегодня отчаянно ищут лучшие консервативные интеллектуалы страны. Это была не первая и не последняя из его «самовредительских» («кастрационность без кастрации») акций, но, с одной стороны, именно она наиболее соотносима с традициями Венского акционизма, с другой, вибрация фиксирующего гвоздя, сконцентрировавшего в себе питерскую «струну в тумане», как будто бы вызванивает сквозь политическую риторику прошедшую через куранты Кремля мелодию о венском Августине (так сам собой сложился урбанистический любовный треугольник не женщин, но городов). Этот гвоздь вбивает точку и в наш рассказ – но, конечно, не в продолжающиеся метаморфозы глобальной Вены.

Примечания:

¹ Наумов В. Повседневная жизнь Пётра Великого и его сподвижников. М., 2010. С. 53.

² Берковский Н. О русской литературе. Л., 1985. С. 104.

³ Вершинина Н.А. Бидермайер в русской прозе и изобразительном искусстве 1820-40-х годов // Проблемы современного пушкиноведения: Сб. статей. Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 1994. С. 177-178.

⁴ В этой фразе ощутимо предчувствие драмы австрийского писателя Питера Хандке «Каспар», построенной на единственной фразе «Я хотел бы быть тем, кем когда-то был кто-то другой».

⁵ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937-1952. Т. 11: Письма, 1836-1841. С. 236-237. Впервые опубликовано в «Русском Архиве» 1867, III, стр. 473-475 (под заголовком: «Шуточное письмо Н. В. Гоголя к одной русской даме»). Елизавета Григорьевна Черткова (урожд. гр. Чернышева, 1805-1858) – московская знакомая Гоголя, жена историка и археолога А.Д. Черткова. Она, в частности, позже предоставила писателю пространство для своеобразной, тишично гоголевской, с некоторым «венским» акцентом, «драмы в драме», своего рода «Мышеловке»: «Гоголь ещё не видал на московской сцене “Ревизора”; актёры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день, и “Ревизора” назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенеуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лёг так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенеуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала её (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенеуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пьесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий, потом выбежал из бенеуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу.



Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь ещё почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаю от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии». Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 59-60.

⁶ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937-1952. Т. 11: Письма, 1836-1841. С. 295.

⁷ Золотусский И. Гоголь. М., 1979. С. 158.

⁸ Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 188.

⁹ Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005. С. 94.

¹⁰ Жеребин А.И. Вена versus Берлин // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 3. М., 2007. С. 58.

¹¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 5., М., 1976. С.317.

¹² Нащокина М.В. Москва в зеркале венского сепаратизма // Художественная культура Австро-Венгрии. 1867-1918. СПб., 2005. С. 117-118.

¹³ Венский дом // <http://maxpark.com/community/14/content/2552466>

¹⁴ Крючков И. В. Вена и Будапешт: два имперских центра в текстах русских путешественников // Диалог со временем. М., 2012. № 39. С. 222.

¹⁵ Троцкий Л. Моя жизнь. М., 2014. С. 132.

¹⁶ Доманский Ю. Топоним «Вена» в песне «Средневековый город» группы «Зимовье зверей» и «Петербургский текст» // Вена и Санкт-Петербург на рубежах веков культурные интерференции. *Jahrbuch der Osterreich-Bibliothek in St. Petersburg.* (1999/2000) Bd. 4/1. СПб., 2000. С. 415.

¹⁷ Левкин А. Вена, операционная система. М., 2012. С. 111-112.

¹⁸ Котенков А. Тестикулы политической меланхолии // <http://www.liberty.ru/Themes/Testikuly-politicheskoy-melanholi>

«ФОНОГРАФ»

М.В. ЦОМАКИОН

М.В. ЦОМАКИОН – ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ПРОГУЛКИ У БЕРЕГОВ АБСОЛЮТА...

Марфа Викторовна Цомакион (01.11.1885 – 22.07.1977), урождённая Строганова – художница-орнаменталистка. Окончила исторический факультет Высших женских курсов в Одессе. В 1919 г. поступила на живописное отделение Одесского художественного училища, где училась у К.К. Костанди, но курс не закончила, диплом получила только в 1933 году. Была близка к Товариществу южнорусских художников, то есть к обществу любителей изобразительного искусства юга Российской империи, которое было независимым одесским творческим объединением. Она расписывала вазы, создавала орнаментальные обложки конвертов для грампластинок. С 1932 г. работала искусствоведом и художником при Одесском отделении Союза художников.

Замужем Марфа Викторовна была с 1906 года за Георгием Фёдоровичем Цомакионом (1884 – 1939) профессором-медиком, оставившем след и в изобразительном искусстве. В конце 1890-х годов он посещал рисовальные курсы М.М. Манылама, некогда вольнослушателя Императорской Академии Художеств. Созданными Георгием Фёдоровичем изображениями призраков, мифических существ, готических апофеозов смерти, интересовался создатель «Мастера и Маргариты», М.А. Булгаков, который получал фотографии с них в Москве из рук Александры Владимировны Ясиновской, жены будущего академика-терапевта М.А. Ясиновского. Подлинники графики Г.Ф. Цомакиона некогда экспонировались в Рижском музее истории медицины, избранные из них хранятся в Одесском литературном музее, Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова. Оставил он и гипсовые скульптурные работы, занимался резьбой по дереву. Оба, Марфа Викторовна и Георгий Фёдорович экспонировали на XXIII выставке ТЮРХа в 1912 году свои рисунки.

Род Цомакионов, по преданию, восходит к Византийскому императору Иоанну Цимисхию. В Русском биографическом словаре отмечен отец Георгия Фёдоровича, Фёдор Михайлович, физик, магистр, потом и доктор наук. Физиком был и брат, Борис Фёдорович, профессор Красноярского университета, член-корреспондент Академии наук Украины. На литературном поприще род Цомакионов прославил своими книгами историко-биографического жанра Анна Ивановна Цомакион, мать Георгия Фёдоровича (урождённая Видинская). Она создала для павленковской серии «Жизнь замечательных людей» исследовательские биографии Сервантеса, Гарибальди, художников Ивана Крамского и Александра Иванова. К ней в Одессу приезжал её друг, знаменитый писатель и публицист В.Г. Короленко.

Но вернёмся к Марфе Викторовне Цомакион, ей на долю выпала миссия стать хозяйкой литературно-философского салона, который был ею спонтанно создан в 1950-ых годах. Просто к ней, носительнице старой дореволюционной культуры и к её дочери Людмиле Георгиевне, стали сходиться люди надмирных, духовных интересов, были и представители мыслящей, ищущей молодёжи.

Бывали тут поэты Игорь Павлов, Римма Шаблевич, и известный журналист и библиофил Евгений Голубовский. К самому ближайшему кругу Цомакионов принадлежал знаменитый академик-офтальмолог В.П.Филатов, известный культурным одесситам также и как художник и поэт. О его последних земных днях М.В.Цомакион оставила мемуарный текст. Люди из филатовского окружения становились «прихожанами» старинной, заставленной и завешенной антикварными вещами квартиры на ул. Отрадной, в доме 5, кв. 2., где жила со своими пушистыми домочадцами-котами и дочерью – Людмилой Георгиевной Цомакион (01.08.1907 – 07.12.1988), Марфа Викторовна.

Там, в атмосфере интеллектуального свободомыслия горел у гостей интерес к идеям Б. Рассела, М. Хайдегера, говорилось о Жане-Поле Сартре и Камю, после чего собеседование могло нырнуть в античную классику, к Гераклиту, Платону, Аристотелю. И сразу смениться размышлениями вслух о классической музыке или поэзии. Арбитром собраний неизменно была сама Марфа Викторовна, которая, как говорила о ней Л.Г. Цомакион, «по взглядам близка к неоплатоникам». Сама же Людмила Георгиевна переводила из мировой классической поэзии, и перевела и переплела целый том европейской классики – с французского, немецкого, итальянского, английского, испанского, не чужда ей, католичке, была и латынь. Писала она и об истории римской католической церкви.

Так что на интеллектуальной карте мира это была особая одесская точка свободного интеллектуального поиска, одиноко мерцавшая вдали от мрачного лика официальной государственной идеологической громады. О семье Цомакионов знали и говорили в среде интеллигенции. Но мало кто знал её тайну – когда пришли годы оккупации Одессы румынскими войсками, Марфа Викторовна в 1941-1944 гг. была членом правления Одесского общества художников, в тот же период она познакомилась с умным, образованным юношей, который ездил по Одессе на спортивном автомобиле. Портреты его матери-королевы висели тогда в присутственных местах. Ум и аристократизм овдовевшей к тому времени (в 1939 г.) Марфы Викторовны, так тонко говорившей по-французски, очаровали никого иного, как молодого короля Румынии – Михая I. Они сдружились, сблизились. От Людмилы Георгиевны известно, что её мама называла его – «Михайчик». Некогда были от него письма, фотография, она его рисовала...

Произошедшее далее исторически известно – в августе 1944 года Король Михай приказал арестовать диктатора Румынии маршала Антонеску и его сторонников-генералов и объявил войну Третьему Рейху. «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии, наградить Его Величество Михая I, Короля Румынии, орденом «Победа» – так сказано в наградном листе, подписанном 6 июля 1945 года председателем президиума Верховного совета СССР М. Калининным. После 1947 года монархия в социалистической Румынии закончилась последней из всех стран Европы, попавших в сферу советского влияния, после ухода с престола королей Югославии и Болгарии. Михай уехал в Швейцарию и в 1948 году женился династическим браком на принцессе Анне Бурбон-Пармской.

Так или иначе, М.В.Цомакион репрессирована не была. Но намного раньше, ещё до войны, вся тяжесть тюрем и лагерей легла на её дочь, Людмилу Георгиевну, которая была в 1937 году арестована, сослана в Коми, по возвращении в Одессу арестована снова, приговорена к пяти годам лагерей – за идеализм, за католическую христианскую религиозность.

На многие годы Марфа Викторовна оставалась одна, неустанно писала дочери до её возвращения в июне 1953 года после «Сибири, Казахстана и ещё семи лет вольного поселения в селе под Одессой». Когда Людмила Георгиевна вернулась, и выяснилось, что в лагерях она работала по больничной части, академик В.П. Филатов устроил её работать в лепрозорий, где она стала «сначала секретарём, потом медстатистиком».

Вот что мы читаем в посмертно опубликованных мемуарах Л. Г. Цомакион «Моя жизнь и моя любовь» – (Мы из ГУЛАГа: Одесская область. – Одесса, «Оптимум», 2001. – С. 307-323. – Одесский «Мемориал», вып. 13). – «Среди служащих лепрозория было несколько приятных лиц. Наиболее же ярким моментом было появление среди нас одного учёного-биолога, мыслителя, философа, аскета, мистика, с которым мама и я очень подружились, найдя в нём равного по интеллекту человека. Это был высокий, худой, черноволосый мужчина лет 50-ти, напоминавший внешностью индуса. Его история отчасти напоминала мою (Л.Г. имеет в виду арест и сталинские лагеря – прим. Ст. А.). Оттого-то он и попал в лепрозорий.



Он был крупным учёным по свидетельству нашего общего друга академика Филатова. Но кроме этого, он был ещё художником, поэтом и страстно любил музыку. В своей одинокой жизни он много странствовал, много видел и знал. Но это не смутило его пламенной веры, привитой с юности, воспитанной оптинскими старцами и поддерживаемой глубокой работой мыслителя. В юности он мечтал быть монахом, но потом склонился к идее мирского апостолатата.

Начались бесконечные беседы между мамой и Николаем Абрамовичем на философские темы, продолжавшиеся часами. Я сидела и слушала, вступая в разговор, только когда дело касалось богословских или исторических тем. В 1953 году я получила разрешение вернуться в Одессу, и мы уехали из лепрозория. Одновременно Николай Абрамович уладил свои дела и смог выехать в Москву, куда его пригласили на работу в Академию Медицинских наук. (...) Николай Абрамович уехал в Москву вскоре после нашего переезда, но самая оживлённая переписка между нами и им продолжалась ещё семь лет, до самой его смерти».

Вот так в доме Цомакионов и в их круге, «из лепрозория», появился биолог Николай Абрамович Архангельский (1910? – 1960), много перенесший, умерший в Центральной больнице Минздрава в Измайлове, в Москве. Предположим не без оснований, что его второе прозвание – Иофф означает не что иное, как имя библейского Иова Многострадального!.. И жизнь в сталинских лагерях, в ссылке, и тяжёлое заболевание, приведшее к смерти, и скитальческая неприкаянная жизнь – всё говорит за это.

Что же, кроме общей любви к искусству, природе, к музыке роднило этих людей, встретившихся волею случая, а скорее Судьбы, в Одессе?..

Это были вопросы, касавшиеся соотношения планов бытия. Они совместно «оговаривают» бытие и жизнь мысли, приближаясь к наивысшим понятийным маякам вечности – подходили – сколь можно ближе, «приникали» к Абсолюту, к Логосу. В одном из своих последних перед уходом писем из больницы в Одессу, Н.А. Архангельский, боясь не успеть высказаться, всё же пишет 10 сентября 1960 года – «...*Тот голубой Океан до берегов которого нам удавалось раза два дойти – это Океан Логоса. Для меня это центральное понятие. От него я исходил во всех моих исканиях в области науки. Русская философия отдавала ему одно из первых мест в кругу объектов философского изучения бытия*». И откликаются ему слова Марфы Викторовны из письма того же времени 19 сентября 1960 г. – «*Говоря об Абсолюте, я может быть мыслью ЛОГОС*». Ещё Архангельский пишет: «Когда я после этих дней расставания с матерью обращаюсь умом и духом к проблемам теории бытия, а это мне с тех пор удаётся осуществить только с Вами (и удавалось по-особому с В.П. (Филатовым – Ст. А.), я в какой-то мере начинаю временно терять сознание окружающего и ощущать некое веяние “оттуда-то” и, пожалуй, чувствую над собой открывающееся небо и кто-то мне приносит несказанное утешение» (от 8 мая 1959 г.).

Людмила Георгиевна с автором, своей матерью расположила фрагменты эпистолярных произведений таким образом, что создалась особая смысловая кантилена, которую хотели довести до читателей составители. Эта кантилена сама по себе уникальна, но возможно, не меньшее впечатление производила бы переписка, опубликованная полностью, где приведены были бы зеркально и письма Марфы Викторовны и её адресата...

Мысли М.В. Цомакион касались, конечно, не только философии, но и, в силу женственности её мировосприятия, её мир не менее мыслится и образами эстетики. Её очень волновал вопрос катарсиса, очищения искусством. Она протестовала против понимания искусства как некоего опьянения. «Заворожить можно кого угодно. – говорила она, – Искусство для достойных. Поднимите себя до восприятия света, тогда и очиститесь, исцелитесь и вознесётесь». Музыка в её философской системе выделялась роль действительно главенствующая: – «Абсолютное бытие пронизывает своими лучами мир бытия и там, где этот луч сверкает, появляется золотая крушинка Бытия, а так как музыка это Инобытие Абсолюта, она и выполняет роль лучей...» (4 мая 1960 г.).

Нельзя не отметить эссенцистической природы философствования Марфы Викторовны, которая свои записи приправляла часто аттической солью, на то она имела и генетические права, ведь и в ней, как и в её муже, говорили, была восточная кровь: «Рассел в его первом аспекте привлекателен, а потом погружается в логику по уши и невероятно сложным логическим аргументом доказывает, что у котов девять хвостов. Так что об универсальной связи больше не заикается. Жаль. Но будем утешаться девятью хвостами» (22 мая 1958 г.). Об экзистенциализме у М.В. Цомакион также находим критическое высказывание: «Что касается отношений между “я” и “не я” у экзистенциалистов, то у них тенденция смешивать их воедино, сварить их в одном горшке какое-то таинственное варево, которое подготавливала ведьма с целью потопить ад и

сжечь рай. Чёткость, ограниченность, полярность всех понятий расплывается, вьются хороводы менад, в которых мы сами принимаем участие и вопим: “Эвоэ! Эвоэ! Мы существуем!”» (22 мая 1958 г.).

В эпистолярных записях М.В. Цомакион, которые, как кажется, заменяют философский дневник, присутствуют и совершенно определяющие, основные постулативные формулы, – «Теперь послушайте моё кредо, кратко изложенное. Созерцать Абсолют сверхличный, непостижимый, без предикатов. Чтить превыше меры учение И/исуса/ Х/риста/ и личность его. Считать братом чёрного таракана» (от 7 ноября 1958 г.).

Порой её бросает в некие крайности – сомнения сливаются с тягой к догмату, к аксиоме, но сколь изящно глубок этот поиск, как великолепен по узору мысли, каких тонких граней он касается, вот она пишет своему адресату – «В “Тимее” Платона говорится, кроме материи небытия о какой-то вторичной материи, неопределённой, с эзотерическим оттенком символики. Не эта ли материя, – догадывается М. Цомакион, – творит несовершенство и зло мира?» (20 июня 1956 г.).

Философ предостерегает собеседника от того, чтобы тот переносил эйдосы на землю. Нельзя воплощать их, иначе они уродливо подвергнутся дезинтеграции, во всяком случае несовершенству, пусть лучше они остаются в своей недостижимости и не спускаются в мир; где не нашли разрешения бессмертию, загадке космоса. Воплощён же с высот истинно полноправно Великий пример, то есть высшей волей – Иисус Христос.

Говоря, что ей нужна идея вечности во всём, Марфа Викторовна тем не менее считала, что всё же необходима любовь, а любить можно только несовершенное. Перед совершенным и великим Абсолютом можно только преклоняться, «пасть ниц, распростершись»... Тут приходим к сокровенной части всего пути и поиска мыслительницы. Везде, в светозарных умозрениях и в имманентных догадках, она жаждала решения вечной проблемы соотношения чистого сознания и сознания индивидуального, сознания «я».

Ей хотелось как можно ближе подойти к вопросу о личном бессмертии, она во что бы то ни стало хотела аксиологически выделить и определить на философском уровне личность, «я», достать рукою откровения Вечность. Она не хочет полного растворения в чистом свете, она хочет сознания, чувства и делания в созвучии с силой добра, вопреки разрушающей силе времени. «Вопрос об субстанциональности Эго хотелось бы углубить. Он важен с психологической, эсхатологической и даже с эгоистической точки зрения. Меня совсем не устраивает потонуть в Океане Бытия и при выработке собственного мировоззрения я склонна придать этому Эго, этому фихтевскому субстанциональному “я” елико возможное значение в мировом устройстве» (28 апреля 1959 г.). Однако Эго должно быть достойно бессмертия, в системе М. Цомакион имеются «Я» с большой буквы и «я» с маленькой, и соответствующий образ жизни, то есть путь совершенствования и есть доведение малой «буквы» до большой. Соответственно взглядам М. Цомакион, личность должна противостоять силам хаоса, лжи, объективно бытующим в нашем мире. Вдохновение же у нас от сил Абсолюта, сияющих над нами. Впрочем, вновь вспомним, что она говорила: «Говоря об Абсолюте, я может быть мыслю Логос».

Предисловие Ст. А. Айдиняна

**ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
МОЕЙ МАТЕРИ М.В. ЦОМАКИОН
К Н.А. ИОФФУ /АРХАНГЕЛЬСКОМУ/,
сделанные с её согласия и одобрения.**

От 31 мая 1956

Не могу вам прислать привет от Одесской весны. Её место заняла довольно хмурая осень. Холодно. Дождь. Цветы испугались и шепчут: «Что такое? Нас обманули?»

б.д. 1956

Сущее от камня до гения хочет жить.



От 19 июля 1958

Хочу дать вам символическую теорию мира: I) Истинный мир в себе, нами не созданный, но предугаданный. II) Мир творимый нами, иначе мыслью называемый «реальный» мир. III) Мир дьявольский, окутавший нас. Все эти три мира наложены один на другой и какой титанический труд добраться до первого, когда и второй-то завален как древняя Троя (было шесть городов – один над другим) мусором ложного мира, ложной философией, ложной наукой, ложью человеческой и дьявольской.

От 2 апреля 1960 г.

Странно, но мне чудится, что вы шли по ущелью реки Варга и получив моё письмо и, положив его в карман, продолжали прогулку по направлению к какому-то хребту и зашли в зачарованный лес, но не из толстых могучих деревьев, нет, но тонких и хрупких стволов, густо сплетённых ветками между собой. Ветви и стволы сначала реальные вроде осок чуть серебристые, а потом становятся серебряными, совсем из серебра, а затем хрустальными, с легким чуть завуалированным блеском и звенят они как колокольчики неведомой несказанной мелодией, а моё письмо с вами, но вам рассказывает о нём хрустальный шум таинственного бора.

От 10 ноября 1959

Восприятия другого загадка. Так ли мы видим синий цвет моря и голубое небо как самый близкий человек или эта лазурь только моя и больше ничья.

От 2 апреля 1960

Ещё минутку дайте мне побродить без логического намордника.

От 18 августа 1958

Только что получила ваше письмо от неизвестного числа в котором вы мне предлагаете не сбиваться с пути от и не отклоняться от главной задачи, которая состоит в том, чтоб поставить мир на все четыре лапы.

От 22 мая 1958

(Бертран) Рассел в его первом аспекте привлекателен, а потом погружается в логику по уши и невероятно сложным логическим аргументом доказывает, что у котов девять хвостов. Так что об универсальной связи больше не заикается. Жаль. Но будем утешаться девятью хвостами.

От 22 мая 1958

Что касается отношений между «я» и «не я» у экзистенциалистов, то у них тенденция смешивать их во-едино, сварить в одном горшке какое-то таинственное варево, которое готовила ведьма с целью «поглотить» ад и сжечь рай. Чёткость, ограниченность, полярность всех понятий расплывается, вьются хоромы менад, в которых мы сами принимаем участие и вопим: Эво! Эво! Мы существуем!

От 21 декабря 1956

Для меня она /природа/ бесовская. Власть её магическая и опасная.

От 19 мая 1960

Мне нужна идея вечности во всём, что я люблю до котов и воробьёв. Мне холодно в этом голубом свете вечности. Мне нужно любить, любить можно только несовершенное, а перед совершенным Абсолютом можно только преклоняться пасть ниц, распростёршись.

От 19 мая 1960

Конечно интуиция не имеет смысла при полном субъективизме. Зачем она нам при условии, что мы создаем мир всё равно по предусмотренной гармонии или по капризу моего «я».

От 3 апреля 1954

Сейчас слышала «Смерть Изольды» и поняла смысл катарсиса.

От 26 марта 1957

Разве Вы не замечаете, что в мире, в нашем паршивеньком мире чирикают мои дорогие серые воробушки, вполне объективные воробушки, любовь всегда проявляется в маске вечности и длится миг. Эта личина бесконечно свойственна, присуща ей, ибо она расширяет значение бытия до самих глубоких истоков, до основы всех основ. Вы спросите, почему личина, а не лик? Потому, что вечно присутствие способности любить и мимолетен объект её и серенький воробушек и переплет теней за окном и тема Тайной Вечери в Парсифале – мы слушали её вчера – и улыбка дорогого существа...

От 7 марта 1957 года

Сейчас мне кажется, что мимолётность любви иллюзорна и она /любовь/ всё та же во всех её перевоплощениях и для воробушков, и для теней, и для гармонии звуков, и для всех, кого мы любим. Так, возвращаясь к формуле а ля Декарт АМО ЭРГО СУМ можно выкинуть ЭРГО и сделать уравнение АМО – СУМ. Любовь равна субстанции бытию.

б.д. 1956

Я хочу, чтоб мой голос звучал в хоре песнопений, чтоб и этот голос мой был единственный неповторимый. О, дайте мне латы, броню, непроницаемую броню моего существования. Я не хочу расплыться в мире сияний, как бы светозарно оно ни было. Я хочу ограниченности моего «я».

5 апр. 1956

Я приложила ваше чудесное вдохновенное письмо к уху и услышала, «как ветер вечности шумит». Я услышала о блаженстве вечного мгновения, и мне стало жутко, немного жутко, захотелось не этих огней вечности, а тёплого живого света, может быть солнца, может быть огня.

От 22 января 1959

В этом мире вся гармония ушла в музыку, в миру её противоположность – какофония, а также бьёт барабан, этот таинственный барабанный бой, который многие слышали в пустыне и который обычно предвещает опасность.

От 19 июня 1958

Мир есть символ Абсолюта в своём целом? Мне представляется другой вариант. Мы ищем и находим в мире символ вечного.

От 7 ноября 1958 года

Теперь слушайте мое КРЕДО, кратко изложенное. Созерцать Абсолют сверхличный, непостижимый без предикатов. Читть превыше меры учение И(исуса).Х(риста). и личность его. Считать братом чёрного таракана.



От 4 мая 1960

Мир абсолютного Бытья – мне кажется, что это больше, чем абсолютное сознание, потому что здесь предполагается и воля, и энергия, и музыка, его ИНОБЫТЬЕ. А мир, наш мир с его воробьями и лилиями только существует, а не есть мир феноменов, мир бывания, а не Бытья.

От 4 мая 1960 года

Абсолютное Бытье пронизывает своими лучами мир бывания, и там, где этот луч сверкает, появляется золотая крупинка Бытия, а так как музыка ИНОБЫТЬЕ Абсолюта, она выполняет роль лучей. Это прямое общение с ним, непосредственное, но есть и другие лучики великой прелести от снежных вершин Гималаев до моего безхвостого воробья.

От 4 мая 1960

Время зло – Князь мира сего.

От 19 июня 1958

Одни звери не лгут, оттого мы должны преклониться перед ними и тем цветком, на который смотрит с упоением единорог.

От 21 декабря 1954

Опять человек с острова Патмоса на картине Босха так и крутится вокруг вас.

От 7 ноября 1954

Истина это соответствие мысли и тайны.

От 20 мая 1957

Мои тревоги символизируются леопардом. Схема такова: дичь, глушь, холмы, леса, заросли, скалы. Вы там бродите «Не предвидя от сего никаких последствий», и вдруг – леопард, скорпион, каракурт и пр., и пр...

От 1 сент. 1957

Побывали в Аркадии и всё время голова работает над темой сознания. Я смотрела на море, на его голубую даль, на прозрачную как хрусталь воду у берега и старелась анализировать и постичь все три вида сознания: Но в начале было не «Я ВИЖУ МОРЕ», а просто «ЭТО МОРЕ». Объективный мир навязчив, он влезает в сознание, хочешь не хочешь, а ты видишь меня или слышишь. Замечательна эта пассивность нашего «я» как самосознания. Мы покоряемся ему, мы не сомневаемся в его объективности, в его независимости, в его власти над нами. Акт самосознания – вторичный акт «’Я’ его вижу», «’Я’ наслаждаюсь этим морем», «’Я’ вижу все оттенки», «’Я’ схватываю его». И наконец после долгого созерцания, мы можем только перейти в сверхсознание. «Море это бесконечность. Море даёт нам образ чего-то вечного, необъятного, неизъяснимого, оно только символ, облик какого-то сверхмирного начала. Это очень примитивная схема, мне сейчас она не нравится. Главное не объясняет самого важного и самого загадочного, каким образом этот объективный мир влезает в мое субъективное сознание, как X претворяется в Y.

От 8 сент. 1957

Совершенны только птицы из вещей сего мира, так как у них есть крылья.



От 28 мая 1957

Если за тысячелетия какие-нибудь бактерии и инфузории обретают новое свойство братского сотрудничества, то в то время, как люди изобретают ядерное и ракетное оружие, разве это не смеётся Мефистофель, не хихикают ли все гады морские и земные, все химеры, вся нечисть подлунного мира. Человек человеку волк как никогда! Как никогда! Эти антропоиды превысили зверей!

От 28 мая 1957 г.

Мне кажется, что природа открывается нам в своей абсолютной имморальности, что в нашем восприятии переводится ощущением жестокости... Между нами и его бездна, мы для неё только выродки, получившие неизвестно откуда сознание, которое ей чуждо и которое её, впрочем, мало тревожит. Мы чувствующие, а она бесчувственная никогда не поймём друг друга.

От 23 апреля 1957 года

Как же хочется ноуменальных начал, не за зелёной дверью, а тут, поблизости около нас, стоит только протянуть руку, широко раскрыть глаза и вы будете созерцать их. Моя Людмила в разговоре её со мной на эту тему дала хорошее сравнение: «Это иная аккомодация». Мне это очень понравилось. Для созерцания вечных начал нужно аккомодировать свои духовные очи. Умственные же очки не надевать. Это не позор. Надо, чтоб глаза открылись как у испуганной орлицы.

От 30 марта 1957 года

Вы, конечно, знаете книгу Сеттона-Томпсона о зверях. Там я нашла чудные строки о том, как встретились лицом к лицу охотник и олень. И олень смотрел прямо ему в глаза, а тот понял, понял, что нашёл чашу Святого Грааля. Научился тому, чему учил Будда. И он назвал оленя младшим братом, и никогда больше не убивал.

От 30 марта 1957 года

У меня новый зверёк – маленький пушистый котёнок необычайной красоты. Экстаз природы.

От 26 мая 1957 г.

Оба аспекта моего ума, боевой и покорный, одинаково дремают этой холодной сумрачной весной. Мы забыли о солнце, его нет, его куда-то спрятали на горе людям и акации распускаются с трудом, тоскливо опрашивая – «Где оно?»

От 2 апреля 1954 года

Я хочу весну такую, как она бывает на юге, я хочу видеть как изгородь из роз, окаймляющая дороги, расцветает так бурно, что под покровом из роз не видно зелени, я хочу чтоб глицинии обвивали старый мрачный кипарис, затопили его лиловыми гроздьями. Я хочу, чтоб подстриженная лавровая аллея вела к площадке, где на фоне золотого заката стоял бы маленький божественный бронзовый «Давид» Микеланджело, чтоб пышные и нежные маргаритки покрыли полянку на самом берегу бледно-голубых волн, среди которых прыгают и резвятся дельфины, в бледно-голубых водах нашего родного Чёрного Моря. Ещё хочу когда-нибудь, когда настанет час, увидеть то, о чём пишет мой поэт:

Любимый мой! Дай мне в полях Эдема
Увидать бурный цвет твоих цветов,
Там ни единой травки нет согбенной,
Там не наложит смерть руки презренной
На пламя лепестков.

(Из стихотворения А.Г. Цомакион – Ст. А)



От 4 мая 1960

Мысленно сопровождаю вас не в своей обычной форме, но какой-нибудь зверюшкой или птицей.

От 30 мая 1957 года

Знаете мою любовь и зверям, к растениям. Я часто слежу за соотношениями между моими котами и стараюсь улавливать в них альтруистические моменты. Эти моменты конечно есть, но эти звери веками жили при человеке и от него могли всосать чувства любви и дружбы. А этот несчастный антропид когда-то видел на миг лик добра и лучи этого света, рассеянного по миру, они чуть проникли в него, чуть озарили его душу. Но разве вы не замечаете, хоть лучи остались те же, но они не могут больше справиться с заслонкой, завесой и не попадают туда, где они прежде царили.

От 23 июня 1960 года

Хороши только тени и цветы и музыка, всё текущее, мелькающее уходящее – динамизм призрачности.

От 6 марта 1960 г.

Чувствовала себя как «пустынный шар в пустой пустыне»... боюсь продолжать потому, что если я могу квалифицировать мою личность «как дьявола раздуть», сидящее возле меня светлое существо не может подойти к этой квалификации.

От 20 декабря 1957

Приручение до известной степени единорога может исполнить гордостью любого героя, а что же нам, мне по крайней мере, как не гордиться... Вы сами признаёте, что не можете не боднуть. Ему /единорогу/ место в небесной геральдике, а он тут сидит в кресле над сюзане и философствует. Я ведь всегда боюсь, что это сон, что он станет на задние лапы, разобьет мощным рогом всё окружающее и исчезнет в безпланетном пространстве. /Оно в моде теперь, кстати/.

От 6 мая 1957

Я теперь хорошо понимаю – чувство вечности /а оно есть именно как чувство/ родилось от гор, потому что они неизменны, а Океан движется и живёт. Вы скажете: «Как желтые тени и розовый отблеск заката?» Но это не огни, это майя-иллюзия или наша апперцепция (Чур мене!) Они и есть, они будут! И какое им дело до красных тюльпанов? И даже до лиловых теней и розового заката?

От 15 июля 1957 г.

Людмила посоветовала мне заняться переложением моих мыслей в литературной работе и сделать это в форме эпистолярной. А я до получения Вашего письма и чувствуя Вас так далеко, придумала переписку с Сатаной и обдумывала обращение к этой «личности». Возможно например начать переписку классическим «Дорогой сер».

От 23 июля 1957 года

Теперь о космическом чувстве. Я тоже испытывала его в форме «космического страха». Если вы и очутитесь в глухом лесу, в каких-либо дебрях, где вас окружают скалы, когда вы выйдете на рассвете до зари и увидите марево на реке, то вы содрогнетесь перед этой тёмной силой, создающей и поглощающей вас. Это необъяснимое почти непередаваемое чувство чего-то скрытого, тайного, недоступного, лежащего в основе мира. Древний ли это хаос по словам Гютчева, бессознательная ли это воля алогически пожелавшая жить /Гартманн/ или трепет уловленный вашим существом неизвестно каким образом – шестым ли чувством или интуитивно, как то непосредственно. Вы убеждены в реальности этого космоса. Вы пугаетесь призрака, когда вы не считаете его иллюзией, но реальностью.

От 21 дек. 1954

Думаю, что несмотря на разные примеры, мы оба живём там, на высоких вершинах, значит многообразна вечная истина и будет сна благословенна и в вашем и в моём аспекте.

От 21 декабря 1954

У меня в жизни всегда эстетика доминировала над комфортом и я этим очень гордилась, а теперь часто подавляю в себе вопль, как бы мне его хотелось, и утешая себя смотрю на чёртовскую сюзане, на химер, на кактусы. Да, я приобрела великолепную опунцию, колючую-преколючую, вероятно было подсознательное желание вооружиться иглами, чтоб выдержать спор с дикобразом.

От 15 декабря 1959 г.

Сохранился ли хоть кончик ушка того котёнка, который в вашем великом духе мяукал без нас?

От 25 июня 1960 г.

Только в одном пункте я правоверная экзистенциалистка – в постоянном ощущении экзистенциальной тревоги.

От 6 марта 1960

Цитата из Канта: «То, что я должна предположить, чтоб познать объект, я не могу познать как объект». Это «я» следовательно неопределённое, как все принципы оно может только приниматься. Эти изречения затрагивают тему бытия. Жизнь, бытие души и духа не только поток во времени, но существует / существует ли? / свидетельствующее «я». Но не может быть объективным первичный принцип – фактор, стоящий над сознанием и не являющийся его ингредиентом. Тот, который есть. Он должен быть не только связью, потому что связь понятие очень шаткое. Связь в себе носит потенцию распада, расщепления. Это нечто желанное / только в нём может быть спасение от небытия / должно быть чем-то вроде вашего «ординатора», хозяина моего потока сознания, того, кто стоит на берегу и ведаёт как течёт река. Он должен быть вне движения. «Движение – жизнь», но бытие недвижно. Ведь ураган это борьба за бытие, смолкнет ураган и настанет «Тихий Океан», в ком «Музыка светил далёких».

От 20 дек. 1957

Ну а теперь космогония или, вернее, какая-то гностическая фантазия. Пусть будет так: Абсолют превыше всех предикатов, которые все антропоморфичны. Абсолют – вечная воля к творчеству. Затем наш мир / пусть даже не паршивенький /. В этом мире земном, не космическом, – ведь творчество Абсолюта не ограничивается нами, занесена чёрная точка. Только чёрная точка. Мир растёт, точка перерастает и стало зло. «Для борьбы с ним мир создал от себя великие силы – мудрость, справедливость, красоту. Человек породил Гермеса и Аполлона, более прекрасных, чем когда-либо были люди / даже в раю /, создал музыку, которой нет в мире, насёк на скрижалях десять заповедей, сказал: «Фиаг юстициа переат мундум» (*Fiat justitia et pereat mundum – Да свершится правосудие и да погибнет мир. лат. – Ст. А.*), написал диалоги Платона. Но зло росло и крепло, оно не боялось ни мудрости, ни справедливости, ни красоты. Тогда люди взмолились – «Пошли нам силу победить зло!» И он оттуда, где нет предикатов, послал им Любовь. «И он жил меж ними». Но человек не понял и Любовь убил! С тех пор мир пошёл по этому пути – любить и убивать. А точка переросла мир, завладела им, и мы опять молим: что пошлёт он нам теперь – Дух, Интеллект? И настанет эра Духа. Что же сделают люди? Неужели опять убьют? Погасят и его? А мы и нам подобные в нашем страстном желании понять – предвестники вечной истины.

От 25 июля 1957 года

Чувствуете ли вы эсхатологическую романтику наших дней? Вы, воспринимающий все оттенки лесных



трав, все отливы закатного неба, все трели мелких птишек. Знаете, для чего мне было так важно звать точно ваше местопребывание – чтоб в нужную минуту послать вам слова гладиатора – «АВЕ, ЦЕЗАРЬ!»

От 1 февраля 1959 года

Я жажду гештальта во всём от тараканьей лапы да абсолютного Бытья. Я жажду /абсолютного/ незыблемого нерушимого бытья, обусловленного формой.

От 20 апреля 1960 г.

Знаете новость в нашей комнате? Свирепый, рычащий тигр, скромно таящийся между окнами и никем не замечаемый, перебрался на самую середину красного круга насозане и устроился под маской Медузы, горделиво поглядывая на неё и скаля свои страшные клыки. Медуза с некоторого времени слышит его грозное рычание и признаёт реальность этого объекта.

От 13 февраля 1959

Очень меня поразило то, что вы пишете в письме к Людмиле о неверии одного из учеников. Вы тысячу раз правы! Это неверие любви. Ведь любовь во многом требовательнее и настойчивее, чем просто спокойное искание истины. Любовь во всём сомневается, требует особых доказательств, страдает, страдает и тоскует, пока не убедится... И потому мы, ещё не преклонившие голову к Его груди, имеем право спрашивать, радоваться и отчаиваться. Вы это один поняли. Хвала вам!

От 13-14 февраля 1959 года

Как бы хотелось повторить сказанную вами латинскую фразу – DEUS AMOR EST. (*Deus Amor est – Бог есть Любовь – лат. Ст. А*). Но тут дело в смысле слова AMOR. Надо совсем, совсем, перевоспитать себя, чтоб возвыситься до истинного значения этого слова, оно за пределами земного бытия. Это скорее потенция любви, чем любовь.

От 4 окт. 1960

Если бы я могла вам устроить лечение по-своему, я бы лечила вас музыкой и чтением о Логосе, покоем, золотыми осенними листьями.

От 3 сент. 1960

Я считаю, что мой внутренний опыт включает всю вселенную, не только видимость её. Это не скептическое замечание, о нет! Я часто говорю о зелёном луче на далёком горизонте, о светозарном сиянии, о высотах и глубинах того, для чего люди не находят слов, настоящих. Их и нет, может быть. Только музыка, такая как я слушаю её сейчас, она может дать намёк на то, что слово не может выразить. Но разве можно добровольно и самовольно искалечить комплекс опыта, разве мы вправе искать только блаженство и перескочить через страшное, бурное, мучительное? Ласкать свой внутренний взор только лучезарной красотой голубых просторов! Мы должны вместить весь свой мир, такой, какой он нам дан.

От 3 сент. 1960

Преодолейте проблему дезинтеграции, проблему сумерек мира, все огромные вековые проблемы и тогда я ухвачусь вам за хвост, так как тигр это Вы. И Вы это поняли. И вытянете меня туда, где видят только свет. Тигр рычит, говорит – «Не хочу такого адепта». Но я не знаю другого мира. Как же быть? Тигр смиляется. Да?

От 28 мая 1956 г.

Ещё раз поймите, что не скептическая игра ума и подражание моим французам /которые ныне в моде/ заставляют меня сомневаться, а только глубокое и искреннее желание знать и верить. Мой покойный дядя



говорил мне в своих лекциях, что элемент веры, доверия, существует и необходим для знания как основа утверждения. А для меня, наоборот, для веры должно быть знание, хоть искра его доверия.

От 23 февраля 1956 г.

Не только переплёт теней таинственный и нежный за окном, а огромная чёрная тень дерева пытается влезть в окно. Чёрные лохматые лапы бьются в стекло, скользят. Тень отпшатывается.

От 23 февр. 1958

Вы обвиняете меня в пристрастии, в поклонении хаосу! Если бы вы могли видеть смятение духа моего перед вторжением косматых чёрных лап. Хаос это небытьё!

От 23 февр.1958

Месье Венсан – некрасивый, неотёсанный, в старом балахоне, подвязанном какой-то верёвкой, неуклонно, уже больным 80-летним стариком, он, умевший помогать всем страждущим, бродит ночью по улицам Парижа /XVII век/, беспокойным и опасным, и отыскивает подброшенных детей. Это олицетворение активной любви, любви не знающей покоя. Земного покоя.

От 22 февраля 1958

Может быть вы и правы, что только система космоса спасает от хаоса и мы должны преклоняться перед ней, принять её не ропща и найти в ней, – Вы – ваши крокусы, я – моих воробьёв, а месье Венсан – бездомных детей.

От 5 апреля 1957

Вот другие ваши утверждения я категорически отрицаю, – что я готова примириться с дезинтеграцией. Это уже какое-то полное непонимание моей психики, духа, рассудка, души и существа. Я с невыразимым ужасом думаю о ней /дезинтеграции/, всякое слово, дающее мне указание на победу над ней ловлю с жадностью! Но надо условиться, что именно даст нам веру в эту победу.

От 17 мая 1958

Слушаю I симфонию Рахманинова. Если бы мы никогда не подозревали, что существует трансцензус, мы бы постигли его в музыке Рахманинова.

От 17 мая 1958

На днях слышала последний концерт Ван Клиберна, этого Ариеля музыки /3 концерт Рахманинова/, и знаете, что мне представилось... Опять космогония. Опять Абсолют вне добра и зла, неведомый, непознаваемый, холодный, леденящий Свет, величье Сверх-Разума, даже не волн, а потенциалы, Вами неопытаемый. Но среди мира-Космоса зажглась звезда несказанного блеска, светозарная, к которой шли все лучи, понимаете, не от неё, а к ней, а снизу клубились чёрные не то облака, не то клубы дыма, движущие, извивающиеся в своей великой тревоге, а навстречу, – навстречу Звезде – я думаю вам нечего говорить, что это слово Истины – идут тонкие чёрные лучики, вроде чёрных щупальцев эманации нашей тревоги.

От 18 июля 1958 года

Моя интуиция или инстинкт не верит мне, что объективный мир существует, мой ум вызывает некоторое сомнение в том, адекватно ли наше познание о нём, мой дух и моя совесть говорят и вопиют о том, что я хотела бы, чтоб он был совсем иной.



От 18 июля 1958 года

Вчера были мои именины, и на столе много цветов, и гладиолусы и розы и голубая гортензия, приехавшая из-за моря, и львиный зев, который, если его потрогать, открывает злую, издевательскую пасть. Между цветов обычная лукавая химера /разрезной нож/и подаренный мне вчера крокодильчик, а может быть и ящерица и флорентийский Медный Кабан, он доказательство волшебного края, который я так люблю. Он выхвачен на вечности.

От 10 апр. 1958 года

Х(ристос).В(оскресе). Постарайтесь провести праздник в мире и покое, хотя покой этих дней нельзя сравнить с безмятежностью Сочельника. Эти дни, дни великого познания, сверхкосмического опыта перед которым в трепете замирает душа. Душа прошедшая такой опыт не может искать безмятежность, а покой находит в полноте познания.

От 30 ноября 1958 г.

Будда требует, чтоб мы оставили попытки определить неопределимое и заниматься этими «любовными интригами рассудка» – спорами на метафизические темы.

От 6 апреля 1958 года

Перейдём к Эрленкёнигу. Я тоже жажду быть «сынишкой» и жажду защиты от призраков и от всего мира этого, тёмного страшного леса, в котором, увы, я вижу подлинного, настоящего Эрленкёнига как одного из проявлений чёрной точки.

От 30 мая 1958 года

С первым вашим положением я вполне согласна. Логос это абстракция, философичная мечта. Может быть даже «логическое» построение. Но сердце знает, ищет, зовёт только его, в его этической сущности и вы правы, вероятно это так и надо.

От 28 мая 1957

Космический гнев, о котором вы пишете, так же реален как рычание льва.

От 9 мая 1957

Две недели ни слова! Какой Пан или леший овладел вами настолько, что вы забыли о мире, о милосердии, о друзьях! Потому что природа, повторяю, вне добра и зла и милосердье ей недоступно. Она не слышит, она ещё в плане под добром и злом. Может быть пройдут века и муравьи будут падать в объятия друг другу.

От 30 мая 1958

Воздух полн запаха акаций, а у нас /канун Троицы/стоят ветки цветущей маслины, которые заглушают даже акации – это концерт ароматов. Слишком жарко и будто бы над морем собираются тучи. Тучи ли это, или эманации великой тревоги?..

От 1 июня 1958

Я тоже имею концерт ароматов, о котором я писала вчера вечером, и море и тучи. Но всё это слишком связано с людьми – перефразируя Бальзака – только в пустыне можно постичь Абсолют.

От 14 февр.1957

Хаос и Система! Система конечно с большой буквы. Единая надстройка над тараканьей лапой. «У нас есть данные, и из них мы выводим величественное здание космической системы. В моём письме я не отрицаю этой системы, наоборот, я же сказала вам, что Вы правы, подснежник наклоняется к человеку по закону физики и поэма «Жизнь героя» построена на математическом соотношении звуков. О хаосе не было оказано ни одного слова. Я только сказала, что кроме этой системы существует система нашего восприятия мира, система этическая, эстетическая и т.д., что моя надежда, моя мысль требуют, чтоб эта система, великая система всех духовных ценностей была создана не нами, а свыше, и была сплетена с той космической, не нарушая её, а только освещая её своим сиянием. Это ли хаос?

От 19 мая 1960

Мир «не я», конечно, любопытнейшая штука, но мне кажется эта его запутанность при познании, самая мысль, что он немного от нас, немного от глины и немного от трансцендента делает его загадочным романтическим и немного забавным.

От 9 марта 1958 г.

Я вижу мир во времени, мир жизни, вспыхивающий и погибающий, крокусы, растаптываемые ногой зверя, зверя сожранного другим зверем, ужас дезинтеграции всякой жизни. Грозный конец. СОЛЬВЕТ СЕКЛУМ ИН ФАВИЛЛА...

От 26 мая 1957 года

Мне представилось не во сне, а в обычной предсонной галлюцинации, что Владимир Петрович (*Филатов – Ст. А.*) за моей спиной протянул руку, и помог мне прикрепить кнопками бумагу для рисунка, а потом медленно обошёл стол и удалился в свою комнату, все видение происходило у них в столовой. Я даже помню, что он был в чёрном пиджаке из альпага. Я лежала и читала в постели и очевидно на минуту закрыла глаза. Странно, что подошёл он сзади и я сперва не видела его, когда увидела, то несмотря на реальность /даже пиджак из альпага видела/, в медленности шагов и в каком-то особом чувстве, что он войдя в свою спальню исчез, было сознание чего-то потустороннего. Неужели мы никогда не узнаем тайну общения с ними? Только ли это моё воображение, только ли это моя апперцепция? Или в этом кроется реальность – вещь в себе, идея, инобытие, называйте как хотите, то что за гранью бытия нашего паршивенького мира. Или этот мир не паршивенький и парит в бесконечном величии своём, обнимая все реальности, все мечты и ещё многое и многое, о чём мы и мечтать не умеем.

От 1 августа 1954

Заметили ли вы, сколько гения, сколько усилия вложили светлые умы человечества для преодоления пространства – одной из категорий нашего бытия? И пути сообщения и авиация, и радио, и телевидение, все эти великие достижения снимают с нас оковы пространства. Но время? Оно неодолимо, оно непобедимо, оно неуклонно в своём вечном движении. Будущее так же загадочно для нас, как для древнего египтянина или грека.

От 1 окт. 1955

Поймите вы меня в Свете нерукотворного Сияния – нет объективного и субъективного. Оно озаряет человека также как и гадиков.

От 1 октября 1955 года

Моя схема такова: Материя создана Деминургом и озарена Нерукотворным Ликом. Озарение не проникает все, и оно встречает сопротивление. Свет завоёвывает, он борется и побеждает. Любовь и творчество – два великих свидетельства этой победы.



От 1 окт. 1955

Вас возносит логичность в устройстве какого-нибудь гадика, меня умиляет и возносит к вершинам ласка зверя. Не заинтересованная ласка-любовь.

От 1 окт. 1955 г.

В улыбке Джиоконды и в мурлыкании моей Биче всё то сверхматериальное начало, каждый проблеск которого откровение о той же и о том же.

От 2 апреля 1960 г.

Если мы будем перекидываться образами из одной категории сознания в другую, как будто КТО-ТО там играет в футбол, то мы будем иметь очень беспокойное существование, это будет какая-то перепалка, вроде того, что нам хотят уготовить утрмеровцы со своим ОНЕСТ ДЖОНОМ.

От 28 апреля 1958 года

Теперь о дисгармонии в мировом устройстве: конечно если я даже я признаю онтологически Единого Абсолюта, то этически я не могу иначе мыслить как в плоскости Ормузда и Аримана. Депрессия часто одолевает меня, и тогда Ариман встаёт во весь рост я говорю: Я создал этот мир – и может быть ещё добавляет: «И мне поклонись».

От 13 февраля 1959 г.

Вещь в себе – идея единства, не связи отдельных частей. Она больше даже чем гештальт или образ, она внутри спаяна, связана, ненарушима.

От 23 февраля 1959 г.

И вот встала передо мной идея математического мира. Все сводится к математическим отношениям, качество как начало самодовлеющее исчезает. Красота сводится к логарифмам, а мораль к дифференциальному исчислению. Дружба, может быть даже наша, вычисляется уравнением, которое приводит к нулю. И весь мир вообще – один только огромный начертанный Сатаной НУЛЬ от края до края. Гойевское каприччо.

От 5 апреля 1956 года

Теперь перейдём к линии, которая соединяет небо и землю. Это слияние земного и небесного я как-то особенно ценю. Оно встречается в искусстве, в музыке, в людях. Через всю историю проходит этот момент слияния и символики его. Вспомните лестницу Иакова и картину Боттичелли, где ангелы обнимают пастухов в одну чудную ночь.

От 22 янв. 1956

Вы большое значение придаёте термину «накладывание». Я даже не знаю, откуда я его почерпнула, неужели у Челпанова /О ужас!/ Он достойнейший, порядочнейший человек, вроде Брута, но отчаянно скучный.

От 5 апреля 1956

...среди рассеянных мыслей и смутных чувств на миг проснулась и зазвучала редкая для меня любовь к людям вообще /«Заповедь новую даю я вам»/, вот к этой толпе у меня перед глазами, каким-то анонимным, чужим, а всё-таки людям. И вот как я была вознаграждена. Через несколько мгновений передо мной появился как видение /внутреннее/ облик непостижимой красоты, но не античный, будто бы высеченный из слоновой кости и волосы тоже, только чуть-чуть темнее лицо. Хитон красный с античным вырезом

от плеча до плеча. Появилось и исчезло. Нижняя часть фигуры была как в дымке, но величье фигуры не было нарушено. Ни на одной из знакомых мне картин /а я-то их хорошо знаю/ не было ничего подобного. И вот вам пример очищенной, преображённой, просветлённой материи. Чистая форма, видение было статуеподобно, а не византийского плоскостного типа. Форма как таковая – цель искусства. Ни настроение, ни освещение, ни колорит не могут передать то непостижимое. Они только сопровождающие пажи – несут шлейф царице-форме, – идее божественной, единой, постигаемой лишь мыслью человека, той мыслью, что как музыка звучит в нашей душе.

От 30 января 1958 года

Теперь укажите мне, почему вы так стремитесь подчинить весь мир единой системе? Не кажется ли вам, что это гипостазирование организма /о, биолог!/ Я мало знакома с теорией относительности. Старый шут Бернард Шоу с ужасом восклицает, что Меркурий ИНОГДА, когда ему вздумается, приближается к Солнцу погреть руки и теперь всякий шут, напялив на себя бумажную корону, станет вопить о чуде. Я, кажется, переврала немного. Я должна сказать, что мысль о систематизации до пределов бесконечного – какой парадокс! – меня леденит! Так и представляются мне какие-то концентрические обручи да ещё с этикетками. И это вы, вольный ветер, вы романтик, Вы во всём своём существе /психическом/ игнорирующей систему?! Верно это отталкивание от системы и заставляет меня воспринимать природу только эстетически. Но как я могу подснежник и лилии прикрепить к этому страшному обручу. Нет, они вольно растут где-нибудь на круче, колеблемые ветром и ласкаемые солнцем, но может быть вы скажете, что поворачивая головки к солнцу, они подчиняются закону тяготения, ветер колеблет их под известным углом в зависимости от проходимого ими количества километров в секунду. Сейчас передают симфоническую поэму «Жизнь Героя» Штрауса Р(ихарда). Неужели музыка тоже входит в систему? /А как же!/ Количество интервалов тона и прочее! Пока значит, вы правы, и мы в тисках системы! Не может же быть, чтоб наше восприятие подснежника и симфонической поэмы, внесистемное восприятие, было только от нас, и что в железные обручи мирового организма не вплетены золотые нити истинной сущности мира. Не нашей только. Должна быть система вольного ветра, полевой лилии, музыки и гармонии. Система не случайная и побочная, а самодовлеющая и могучая, не без строго соподчинения системе «которая приводит к чуду. Ну, надевайте на меня скорее бумажную корону!

От 19 сент. 1960

Я искала жадно решения проблемы соотношения чистого сознания и нашего «Я», нашего индивидуального сознания.

От 19 сент. 1960 г.

Говоря об Абсолюте, я может быть мыслью ЛОГОС.

От 19 сент. 1960 г.

Вы протяните мне руку и я увижу голубой Океан. Я чувствую солоновато свежий запах вод, дуновение вечной весны.

От 28 апреля 1959

Вопрос об субстанциональности ЭГО очень хотелось бы углубить. Он важен с психологической, эсхатологической, и даже с эгонистической точки зрения. Меня совсем не устраивает потонуть в Океане Бытия и при выработке собственного мировоззрения, я склонна придать этому ЭГО, этому фиктивному субстанциальному «Я» елико возможное значение в мировом устройстве.

От 29 апреля 1959 года

Мне кажется, что есть «Я» с большой буквы и «я» с маленькой. Так вот по-моему соответствующий образ



жизни, – цитирую Н.Б. (Николая Бердяева – прим. А.Г. Цомакион) и есть доведение этого «я» до предела большой буквы.

От 8 окт.1953 г.

Начала прибирать ящик с сухими абрикосами, и когда я открыла его, на меня пахло тёплым, почти новым летом, пышным, ароматным Баденским летом и розовым сеном, бессмертниками, яркими закатами, крупными звёздами, могучей силой кантовского звёздного неба.

От 16 апреля 1954

Как вы могли в Вашем стихотворении на тему симфонии Франка выразиться – «Лучезарный Сатурн?» Это всё равно, что сказать – «сверкающая ворона».

«Сатурна шар огромный светоч смерти» – Так по крайней мере говорит о нём Гюго, и я согласна с ним.

От 13-14 1959

У Изольды шерсть дикой кошки, хвост пышной чернобурки, а глаза – неопишемые глаза зверя, которые видят то, чего не видим.

От 16 апр. 1954

Крепко жму вашу руку с когтями Аримана.

От 14 февраля 1958

Ну вот, значит мы как будто и согласились, и систему вашу я признаю и Логос пожалуй усматриваю в море спокойном и тихом, и старом огромном дубе и звёздном небе, в цветах, и в птичках и в хаосе. Я не мечтаю, и о чуде также не помышляю. Мир на всех четырёх лапах мирно пасётся на полях космической системы, только я за ушко хотела бы воткнуть ему цветок.

От 9 марта 1958

Смутное понятие о нём – хаосе, было ещё в древней Халдее, сознающей какое-то смутное странное неоформление нашего мира. Вы правы, что в нас, нашей психике тоже есть это начало, и мы может быть только гипостазуем его.

От 9 мая 1954

Я как Кассандра склонна к страшным видениям.

От 1 ноября 1953

Радио мурлыкает вальс Шопена, самый избитый, но всё-таки хороший, вернее милый, а разряды (*радиопомехи на ламповом приёмнике – примеч. Ст.А.*) как песнь злых духов. Вообразите, какие орнаменты можно сделать на тему этой борьбы звуков.

От 1 ноября 1953

Гришп как маленький человечек сидит возле меня и сосёт мою душу.

От 19 апреля 1954

В романтике XIX века есть какая-то легенда о царе звуков или «гении звуков» мстительном и беспощадном.



Я нашла это вчера в переписке Шумана... Вот мне кажется, что Вы находитесь в плену у гения звуков. Он вас покорила и очаровал, и кто его знает, чем это кончится, на что вы ему? Он немного, а может быть и очень коварен. Берегитесь.

От 7 января 1954

Весной вы появитесь с перелётными птицами, вопреки закону природы с севера на юг, и будете как ласточка Будды.

От 8 марта 1954

Жизнь широка и глубока, а душе тесно в рамках времени и пространства.

От 13-14...1959

Злой гений математика для равновесия требует некоторого количества зла, иначе мир пошатнётся и падёт прахом. Если так, то вдруг она, безупречная, оплошает и он всё-таки плюхнется в тартарары.

От 6 октября 1957

Я тоже не люблю аксиом и предпочитаю откровенные постулаты, хотя бы повешенные на ниточке среди мирового пространства. Моей скептической душе легче сомневаться хоть в чём-нибудь, если не в выводах, то хотя бы в основах. Всё это слова. Я вовсе не хочу сомневаться, я хочу веры, догмата, аксиомы.

От 9 февр. 1954

... Такие были смутные дни, что рука не поднималась писать. Несколько дней я наблюдала агонию бедного, маленького, столь любимого мной существа Вивашки. Вы не котолобивы. Вам вероятно это кажется преувеличенным. Но страдание есть всегда страдание и бессловесность и покорность в этой борьбе со смертью вызывает это нестерпимо болезненное чувство, когда нельзя помочь. Почему-то именно животные вызывают это мучительное чувство.

От 28 авг. 1953 года

Вы совершенно правы – переписка это очень несовершенный способ общения. Помните тютчевскую глубоко верную фразу: «Мысль изреченная есть ложь». Так мысль записанная – дважды ложь, она из трепетной бабочки делается косматой гусеницей вопреки законам природы.

От 15 авг. 1954 года

На днях утром слышала Мефистоваля Листа. И сразу подумала: «Это не вальс и не Мефисто». Потом в восторге и упоении слушала этот необычайный, не всем доступный голос отца лжи. Сколько ума, тонкой изворотливости, обаяния и несказанного очарования. Вывод тот, что много «ему» приходится тратить энергии, чтоб покорить людей типа Листа. Да и на вас он много сил тратит. Конечно напрасно.

От 20 ноября 1954 года

Это учение Будды какой-то хорал под аккомпанемент Шехерезады.

От 19 марта 1954 года

Сказка в конце концов ведёт нас только к земным чудесам, скорее вглубь, чем ввысь, сказка подземная и наземная, но не сверхземная.

От 7 июля 1958

Для меня доступны, чувствуются некоторые стороны этой фантастической экзистенции. В борьбе мы создаём себе мир и бессмертие. О, как это далеко от спокойного сияния Абсолюта, от глубины Сущего. Это то, что нам открывает царящая в мире тревога. Как вы счастливы, что вы уходите, «трансцендируете» от неё в какую-то блаженную безучастную страну. И что это? Откровение или слепота?

От 8 июня 1958

Я считаю, что взлёт – трансцензус должен быть всеохватывающим, то есть обнимающим небо и землю, говоря конечно фигурально, а не подниматься по одной линии. Вы скажете – Я же проделал этот бредущий полёт – это не то, это не трансцензус – это уход с земли – что мне до этих тревог земных, когда соловей поёт на кусте черемухи в зачарованном лесу! Всё прочее пыль земная! Мне нет до неё никакого дела, я ушёл от неё, я возвысился, трансцендировался. Людовик XVI /Шестнадцатый/ в день взятия Бастилии написал в своём дневнике, что ничего особенного не произошло. Нельзя безнаказанно проходить мимо событий земных... Видение Иоанна на острове Патмосе охватывает небо и землю во всех деталях, вплоть до цвета роковых коней. Я смотрю навеликую борьбу Ормузда и Аримана, слушаю отзвуки труб Архангельских. Ведь не только в волнующейся ниве мы видим отблеск Абсолюта.

От 14 декабря 1958 года

...Я писала под аккомпанемент чудесной музыки – увертюры к «Летучему Голландцу» – Лоэнгрину, Миннезингерам, исполненную оркестром Германской Демократической Республики. Она кончилась и мир вдруг опустел. Как это странно! Мир звучащий, мир гармонии, населён какими-то духами вроде Ариеля. Они смолкли, эти звуки, и «они» улетели. А где же Ариель?

От 17 августа 1957

Спокойной ночи. Вы мне прислали веяния гор. Пусть бы приснились мне. Я их когда-то видела.

От 29 января 1954

Я вам когда-то писала, что пятая симфония Бетховена зародила во мне ряд мыслей, касающихся понятия судьбы. И вот мне попала интересная книга, сравнительно недавно выпущенная – «Эллинская цивилизация» в которой есть глава, затрагивающая эту идею в древних верованиях. У Вавилона рок, страшный, неумолимый, беспощадный. Судьба уже имеет оттенок морали/Провидения, и какая-то капризная, взбалмошная ТЮХЕ, играющая людьми. Неужели вы попали ей в лапы в Раздельной?

От 31 окт. 1958

Ночью поднялась, загудела сильная буря. Злейший норд-ост принёс нам привет с Вашего Севера. Холодный морозный привет, снега ещё нет, но листья сыпятся совсем ещё зеленые, не успевши пожелтеть и их жалко. И вообще какой-то первобытный атаквистический страх перед холодом, зимой, бураном.

От 9 марта 1954

Сегодня, просматривая Метерлинка, нашла хорошую фразу: «Обладать Истиной это ещё мало. Надо, чтобы Истина нами владела». Вот это и нужно и мне и всем оглашённым. Может быть это можно достигнуть путём катарсиса, может быть путём откровения.

От 9 марта 1954

У нас по комнате бегает очаровательное существо, маленький чёрненький медвежонок, величиной в этот листик или даже меньше, с прелестной, грациозной мордочкой.



От 9 марта 1958

Вы пишете, что скука – оскорбление Абсолюта. Позвольте оправдаться. В данном случае это не скука, а скорое Тоска – тоска всё о том же непостижимом Абсолюте, или вернее о непознаваемости его.

От 5 авг. 1958

Дикие тёмные силы природы вырываются на свободу из хаоса. Возникает ложная жизнь – жизнь лжи, тревоги и гибели.

От 5 августа 1958

Зло состоит не в недостатке добра, а в активной противоположности добру. Небу надо противопоставлять ад, а не землю.

От 17 авг. 1958

Меня восхитило выражение «воля к гвоздику». Об этом буду серьезно писать завтра. Сегодня не хочу, немного устала. Если разрешите игру слов, у меня сейчас воля к гладиолусу. Они как никогда хороши в этом году, пламенные, бледно-розовые, пурпурные, тёмные, красные, почти чёрные. /Из Филатовского садика/ Я их рисую с натуры, спеша и мучаясь, так как они на глазах трансформируются и надо успеть их поймать, всё равно, что схватить птицу за хвост, не просто птицу, а жар-птицу. И вот я, обжигая руки, ловлю и остаётся одно какое-то перо, один отблеск от этого экстаза природы.

От 20 июня 1956

В «Тимее» Платона говорится, кроме материи небытия, о какой-то вторичной материи, неопределённой с эзотерическим оттенком символики. Не эта ли материя /Это тут моё/ творит несовершенства и зло мира. В этом же «Тимее» говорится по поводу материи о снах /Вспомните Микеланджело Людмилы. (имеется в виду стихотворение А.Г. Цомакион – Ст. А.) «Есть Океан Бытия за морем снов». – что соотношения материи с интеллигибельным миром происходят непонятным образом, а вторую материю – генерацию – он объясняет и быстро прячется. /бедный Платон!/ за спину своего Пифагорейца (то есть Тимея – прим. Ст. А.).

От 20 июня 1956

Когда вы переносите эйдосы на землю, в земное бытие и воплощаете их /кроме одного великого Примера/, это значит подвергнуть их дезинтеграции, а может быть хуже ещё, уродству. Во всяком случае, несовершенству. Нет, пусть лучше они сияют там, в далёких лучах холодного голубого света. Пусть они никогда не спускаются в мир тлена, в котором ещё не нашли тайн бессмертия – этой загадки космоса.

От 26 июня 1956 года

Ни копия, ни гештальт, ни отпечаток не дают осязаемой вечности. Вечность была бы в идее индивидуальной души. Ни лучи света откуда-то, а свой индивидуальный светильник. Но светильники гаснут. Но может быть вы и наш земной мир есть только млечный путь, где миллиарды отдельных звёзд горят вечным светом.

От 6 дек. 1954

Что касается тумана, чего-то зловещего, то он по-моему не знает ничего общего с обыденщиной; наоборот, это Босховское «проникновение вглубь природы вещей». Это умение видеть, прозреть там, где иные видят лишь доступный всем, обыденный налёт бытия. У него есть одна картина – остров Патмос, и около фигуры Иоанна на некотором расстоянии маленький человечек прижался к скале. Вот умение их заметить это есть мерило мудрости, а не слабости.

От 21 июня 1954

В лесах Подолья, мне кажется превосходящих своей пышностью московские, я видела поляны цветов с удивительными названиями. Я видела ромашки величиной с чайные блюдечки, как глаза у андерсеновских собак и колокольчики, на которых лепший может наигрывать свои мотивы и какие-то ещё розовые цветы, названий которых и не должен знать, это тайна леса, а про папоротники и говорить нечего.

От 21 июня 1954 г.

У нас нестерпимая жара даже для меня, воздух какой-то раскалённый свинец, дышать трудно, коты стараются устроиться на подоконнике, а Медный Кабан на том же окне вспоминает свою родную Флоренцию и смеётся над ними. Он, выточенный руками человеческими, над ними, жалкими детьми природы.

От 19 марта 1958

Теперь вернёмся к катарсису. Вы хотите акцентировать (то, что) искусство само очищает, Искусство и есть катарсис. Оно даже врачует – дайте ему власть. Оно поднимает, несёт вас освободить от земли, поднимает над прахом и несёт. Так? | Теперь, если это так, то воспринимающий индивид должен быть только пассивен, максимум стать на колени для восприятия благодати. И только я хочу взаимодействия, активности, своего рода диалога между адептом и творцом. И это требует очищения «ВЕЙЕ Д'АРМ» (*veiller d'armes – обеспечить оружием – фр.*) посвящения. Вот в этом-то рыцарском обряде и заключается то, что я понимаю под катарсисом воспринимающего субъекта.

От 19 марта 1958

В вашей трактовке искусство становится магией. Заворожить можно кого угодно. Не только Титания подпала под чары летней ночи, но и её длинноухий партнёр. А я хочу так: Искусство для достойных. Поднимите себя до восприятия света, тогда и очиститесь, исцелитесь и вознесётесь.

От 2 июня 1954

Вы говорите – ощущение единства, основы – это я скорее понимаю как санкцию моего суверенного права на мир. Если я это «оно», то мне должно быть открыто всё. Я могу ждать, требовать, мечтать искать, надеяться в зависимости от силы духа моего. На этом построен процесс познания. А музыка даёт мне ощущение того, что хочется знать.

От 2 июня 1954

Я люблю пышность. Мне нужно не одну розу, а целый сноп. Я очень жалею, что у нас только пять чувств, а не десять, и то каких-то паршивеньких. Ещё хочу рассвета жизни, многообразия красоты, небо и землю /и может быть даже и преисподнюю/ Я даже готова, пожалуй, полюбить сосновые стволы, освещённые солнцем. Это тоже одна из граней мира красоты.

От 29 июля 1954

Отвечаю сначала на Ваше письмо с имагинабельными дисками и Саломеей. Вы правы, что в вас не могут не существовать эти блаженные диски, заложенные для далёкого будущего, смутно напоминающие нам о нём. Где-то в глубинах духа они приоткрывают для нас щёлочку в стене с золотыми барельефами, шепчут о невиданном, они говорят – «Слушай! Ветер вечности шумит».

От 20 июля 1958

Море сегодня синее синее, хочется в этой синеве найти покой от мировой, от космической тревоги.



От 20 мая 1958

Пишите чаще друг мой, пишите чаще о горах со снежными вершинами и о красных тюльпанах, даже если они в прошлом, и о прошлых и будущих тюльпанах.

От 23 мая 1960

Сегодня мне принесли на дом посылку, и оказалась, что ваша добрая душа захотела меня порадовать и побаловать. Ценю элегантность и оригинальность, не говоря о том, что последнее время бедный мой бедный брат осёл немного поддался. Никаких болезней нет, но отчаянная слабость, нервозность, депрессия и т.п. А люди добрые говорят, что икра витаминозна и очень полезна. Может быть мой ослик воспрянет и будет гамбадировать (*от фр. gambader*: Резвиться, баловаться. – *Ст. А.*) по лужайке мира не «я».

От 23 мая 1960

В хаосе инстинкт выше разума и опыта.

От 24 мая 1960

Я надеюсь, что в верховьях Урала Вы, наконец, набредёте на них /камышовые заросли/ и увидите мощные и стройные заросли их с султанами лилового цвета с листьями, которые только китайцы и японцы умеют изобразить, передавая ракурсом их изумительную динамичность, вернее динамическую статику, каприз, излом. Ну мы опять подходим к ночи. Где вы? Услышите ли вы моё пожелание покоя? Ответьте мне, совершенно отрешившись от всех капризов локализации во времени и пространстве. Покойной ночи же, далёкий камышовый кот.

<...>

Краткие примечания

«АМО ERGO СУМ» – «Я люблю, следовательно, существую»; уравнение АМО–СУМ – «Люблю – существую» – с латинского яз.

Гартман Николай (Hartmann) (1882–1950), немецкий философ, основоположник так называемой критической, новой онтологии.

Гештальт (gestalt) с немецкого переводится как «образ», «фигура», «форма», нечто целое, полное. Гештальт – целостный образ какой-либо ситуации. Гештальт психология исходит из простой и здравой мысли: недоделанные, незаконченные вещи мешают нам жить.

Венсан де Поль (1581 – 1660) – католический святой, основатель двух католических конгрегаций. Святой Венсан служил бедным и обездоленным, боролся с чумой.

«Эрленкенип» – часы, немецкий хронометр известной в Европе фирмы.

СОЛЬВЕТ СЕКЛУМ ИН ФАВИЛЛА... – Strict Confidence – In favilla. Mozart – Реквием Моцарта, используется в заупокойной мессе – dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla... – «Тот день, день гнева в золе развеет земное...».

Владимир Петрович Филатов (1875 – 1956) – знаменитый офтальмолог и специалист по тканевой терапии. Лауреат Государственной премии СССР, академик АМН СССР (1944) и АН УССР (1939), Герой Социалистического Труда. Племянник основателя русской педиатрии Н.Ф. Филатова.

«Онест Джон» – MGR-1 (англ. MGR-1 Honest John, буквально «Честный Джон») – американская неуправляемая твердотопливная ракета класса «земля-земля», первая ядерная ракета такого типа в арсенале США.

Утмер – Во многих книгах, посвящённых Крестовым походам, говорится, что государство крестоносцев на Ближнем



Востоке пришло в полный упадок после известной победы Саладина при Хаттине в 1187 году, но это не совсем так. Уцелели небольшие государства крестоносцев, имевшие собирательное название Утрмер (Outremer), в Утрмере находится небольшой тамплиерский замок.

Георгий Иванович Челпанов (1862 – 1936) – русский философ, логик и психолог. Среднее образование получил в мариупольской гимназии. После окончания гимназии, в 1882 году поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе, который окончил в 1887 году с последующим прикомандированием к Московскому университету, где в 1886 году служил его научный руководитель Н.Я. Грот.

Гипостазирование (от греч. hypostasis – сущность, субстанция) – логическая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстрактных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования.

Тюхе – в древнегреческой мифологии божество случая, богиня удачи и судьбы. В древнеримской мифологии ей соответствует Фортуна.

Имагинальные диски – биолого-генетический термин. «Имагинальные диски можно культивировать, имплантируя их в брюшную полость взрослых самок, где гормональные условия допускают пролиферацию клеток, но предупреждают дифференцировку. Дифференцировка имагинальных дисков может быть достигнута путем их трансплантации в полость тела личинки непосредственно перед её окукливанием. Гормональные изменения окукливающейся личинки индуцируют дифференцировку трансплантированных дисков например, имагинальные клетки глаза дают начало структурам глаза и т.д.» («Справочник химика»).

Публикация Ст. А. Айдиняна

«ОКОЁМ»

От редакции: В этом номере «Южного Сияния» мы продолжаем публиковать произведения участников Пятого Международного арт-фестиваля «Провинция у моря – 2015» – победителей и лауреатов поэтических конкурсов и членов жюри, а также интервью с одним из организаторов фестиваля Сергеем Главацким. Среди победителей представлены Аркадий Ратнер (Санкт-Петербург), Галина Пцкович (Нью-Йорк), Тамила Синеева (Киев), Анна Стреминская (Одесса). Члены жюри представлены прозой (Леонид Подольский, Ольга Пильницкая) и стихотворными подборками (Владимир Гутковский, Александр Карпенко, Владимир Каденко).

«Я ЗАПРЕТИЛ ПОЭТАМ ГОВОРИТЬ О ПОЛИТИКЕ...»

6 сентября завершил свою работу проходивший в Одессе и Ильичёвске юбилейный Пятый Международный арт-фестиваль «Провинция у моря – 2015». Это было действительно крупное событие, достойное называться фестивалем, ведь в наши дни этот термин обесценивается слишком частым употреблением, когда даже единичный концерт на лужайке устроители стараются обозвать каким-нибудь «фестом». Организатор фестиваля, Председатель Южнорусского Союза Писателей Сергей Главацкий делится выводами и впечатлениями.

– Сергей, времена сейчас нелёгкие для поэзии, а вам удаётся проводить столь масштабный фестиваль. Интересно, когда это было сложнее сделать, в прошлом году или в нынешнем? Поэты – существа эмоциональные, затеют между собой обсуждение спорных вопросов геополитики. Такое начнётся, за ними глаз да глаз...

– Несмотря на то, что почти весь механизм фестиваля был продуман заранее, в этом году было сложнее. В первую очередь, потому что приехало больше участников – финалистов, членов жюри, великолепных и долгожданных гостей фестиваля. Их всех требовалось расселить, предложить им как рабочую, так и развлекательную программу, продумать всё до мелочей, проследить, чтобы каждый вовремя оказался в автобусе и уехал в нужную сторону. В Одессе мы по обыкновению справились своими силами, а команда в Ильичёвске, где проживали гости и проводились последние массовые мероприятия, приняла на себя основной удар. Кто-то занимался семичасовым рок-концертом «View Rock Evening». Кто-то – конкурсом авторской песни «Поющая гавань». Кто-то – открытым поэтическим финалом. Звук, свет, оформление залов, подарки победителям, «книжная полка», «буккроссинг» и так далее. Все, как всегда, сработало великолепно, слаженно. Много молодёжи в Ильичёвске помогало нам, я благодарен творческому объединению «Фермата» за это. Неопенима работа Светланы Полинной и Ирины Василенко в последние дни фестиваля. Сомневались, например, понравится ли нашим гостям – а это известные писатели, критики, издатели – в Ильичёвске, или, может быть, им хотелось бы остановиться в Одессе. Но и тут наши опасения не подтвердились. Жаль, что, по понятным причинам, из 45-ти финалистов к нам смогла приехать примерно одна треть. А надо сказать, что победа в предварительном конкурсе ещё не означает победы в основном конкурсе. Необходимо доехать до Одессы, лично участвовать в борьбе за



победу. Что касается нелёгких времён, у нас – территория мира, совершенно особое пространство, некая параллельная реальность, самим своим существованием которой мы пытаемся показать, что можно жить иначе, вне агрессии и насилия, которое не приемлю категорически. Нас всех объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Там что такая красная тряпка, как политика, у нас запрещена. И вход политикам на территорию мира тоже запрещён.

– А если бы кто-то дерзнул нарушить запрет, какое наказание могло бы последовать?

– Нарушитель был бы выдворен из зала. Мы заняты серьёзными вещами, нам не до политики. Этот канон был известен всем заранее, все были предупреждены, и, к счастью, правила игры были приняты.

– Как пришло в голову провести такой продолжительный рок-концерт?

– Дело в том, что когда-то я сам играл в рок-группе. Но люблю и играл я музыку более сложную, чем та, которую зачастую принято играть у нас в Одессе. Поэтому не был на рок-концертах уже несколько лет. Но раз такое дело, и музыкальную составляющую фестиваля тоже надо было вывести на новый уровень, мы подумали сделать такой рок-концерт, чтобы это было достойно, и чтобы мне наконец захотелось прийти. Грех не прийти на концерт, который сам задумал. Спасибо Сергею Кравчуку и Ирине Бобровой за содействие в этом! У нас получилось!

– Как удалось записать замечательный, на мой взгляд, видеоролик, где стихотворения победителей предварительного конкурса читают Владимир Вишневский, Эммануил Виторган, Борис Грачевский, Иван Кононов, Александр Лебедев?

– Скажем так, мир не без добрых людей. Занимался этим известный московский продюсер Александр Лебедев, и идея эта нова для поэтических конкурсов как таковых, так что, это, можно сказать, ноу-хоу. Поэты, чьи стихотворения были прочитаны, были приятно удивлены. Мы попали в точку – и насчёт прекрасного поэта Андрея Мединского, чьё стихотворение прочёл создатель Ералаша Борис Грачевский, и насчёт Арины Грачёвой, чьё стихотворение прочёл её любимый актёр Эммануил Виторган.

– Кто ж не любит Виторгана?! А вообще результаты конкурса были ожидаемы для тех, кто внутри литературного процесса, или же открывались новые имена?

– Среди участников предварительного конкурса было множество имён, нам незнакомых. При ближайшем знакомстве с финалистами конкурса, все они оказались хорошими авторами. И потому нам не стыдно за результаты нашего конкурса, не стыдно печатать их стихи в «толстых» журналах, которые, конечно, опубликуют подборки победителей. Так, для начала, в следующем номере «Ожного Сияния» планируется большой блок публикаций, посвящённых фестивалю – в нём будут опубликованы произведения и членов жюри, и лучших участников открытого финала.

– Кстати о результатах. Любой журналист, хоть немного проработавший в издании, где хотя бы изредка печатаются стихи, знает, как тяжело бывает отбиться от авторов, утверждающих: «Раз вы сами не пишете стихов, значит, не можете судить, насколько хороши наши стихи!». Логика железная, конечно. А ещё ведь люди вслух любят читать свои поэмы, войти в кабинет и с порога провозглашать чудовищные строки вроде «И чутко зная всех запрос, отреагирует Привоз». Помню, Ольга Ильницкая, замечательная поэтесса, с которой мы трудились в «Вечерней Одессе», пыталась избавиться от одной назойливой версификаторши, восклицая: «Мы привыкли иметь дело с текстами, а не с чтецами!». Вот у профессионала спрашиваю: каковы критерии оценивания поэтической продукции?

– Не зря ведь главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский, выступая в Литмузее, ни в коем случае не советовал начинающим авторам читать стихи вслух в редакциях! Как минимум, прививка от назойливых графоманов у редакторов журналов пожизненная. Как это ни цинично звучит, но хорошего автора видно по первым четырём строкам. Рыбак рыбака видит изглубока... Читать дальше или нет – для редактора вопрос самосохранения. А насчёт критериев... В стихотворении должно быть что-то между строк, между слов. И, конечно, это «между строк» должно вызывать эмоциональный всплеск. Если всё ясно от начала и до конца, поэзии тут нет.

– **«Муха села на варенье, вот и всё стихотворенье»... Чем выделилась Майя Димерли, победительница основного конкурса? Какие предъвила важные качества?**

– Как раз в стихах Майи присутствует неоднозначность, подтекст. Важный элемент – трагизм, и не однолинейный, а многоплановый. С моей точки зрения, сарказм, гротеск могут способствовать проявлению поэзии, а вот юмор... убеждён, губит поэзию. Так вот, то, что оживляет поэзию, у неё есть, того, что губит – нет.

– **Возвращаясь к теме «толстых» журналов, хочу похвалить «Провинцию у моря» за интересный круглый стол с участием редакторов, не менее интересные блиц-презентации.**

– Именно Ольга Ильницкая выступила в роли великолепного модератора круглого стола. Такое в Одессе было впервые: семь редакторов за одним столом, и с ними рядом – писатели, критики, это была незабываемая полуторачасовая беседа. Андрей Костинский, представлявший харьковскую «Лаву», наш Евгений Голубовский с альманахом «Дерибасовская – Ришельевская» отнюдь не затерялись в созвездии столичных редакторов, издания только высочайшего уровня, хоть и разной степени известности, были представлены у нас. Три года назад в Коктебеле мы с Евгением Степановым и Мариной Саввиных задумывали фестиваль литературных журналов в Одессе, мечтали пригласить главных редакторов десяти «толстых» журналов. В какой-то положительной степени, тот замысел осуществился сейчас. А наши уважаемые члены жюри, в частности, Евгения Баранова из Ялты, Дмитрий Бураго, Владимир Гутковский и Владимир Каденко из Киева, москвичи Андрей Дмитриев, Александр Карпенко и Леонид Подольский признали, что усилия оргкомитета были не напрасны, что был достойный уровень участников, что общение всем принесло большое удовольствие. А общение интеллектуалов из разных стран мира, как известно, основная цель международных фестивалей.

– **Итогом стал весьма приличный фестиваль сборник «Провинция у моря – 2015», презентованный и подаренный всем участникам уже в первый день работы, такого ещё у нас видеть не приходилось.**

– Поэтический сборник по итогам предварительного поэтического конкурса «Провинции у моря» выходит третий год подряд. В нём собраны произведения финалистов и членов жюри. Считаю, что нынешним сборником есть все основания гордиться, там слабых стихов нет. А уже основной поэтический конкурс подарил радость встречи и общения с киевлянкой Еленой Шелковой, Олегом Духовным из Николаева, Анной Галаниной (Москва), Ольгой Андреевой (Ростов-на-Дону), Галиной Ицкович (Нью-Йорк). Список можно продолжать... Думаю, нам следует подумать о том, в каком режиме существовать дальше. По опыту могу сказать, что каждый крупный фестиваль, проходящий на одной территории, рискует уйти в самоповторение, ведь хороших поэтов – не бесконечное количество. Так что формат нужно будет менять.

– **Неужели перейдёте в режим биеннале?**

– Совсем нет, планируем работать каждый год. Но наверняка, придумаем что-нибудь новое. И, возможно, в следующий раз обойдёмся без конкурсной части, сделав акцент на общении, на встрече участников всех лет друг с другом и с Одессой, вызывающей неизменное восхищение. Сколько раз я слышал решительное: «Переезжаем к вам!». Мы соберём вместе всех, кто подумывал о переезде, и дадим им ещё один шанс сделать Одессу литературной столицей. Это я, конечно, с известной долей иронии.

– **Главное, Сергей, чтобы вы никуда из Одессы не переезжали и «не оставляли стараний». Удачи вам и «Провинции у моря» в целом!**

*Впервые опубликовано: «Таймер – Одесса» (12.09.2015),
беседа вела Мария Гудыма*

АРКАДИЙ РАТНЕР

«ДОННА АННА, СЛОВНО КАПЕЛЬКА РОСЫ...»

Тринадцать на пять – полюбилей,
артрит и отложение солей.
Ешь, что тебе оставят на столе,
и, равнодушно нацепив обноски,
возрадуйся, что ходишь по земле,
а не в краях, где Бродский.

«Но гибок ум, и глаз пока остёр,
и дров хватает поддержать костёр», –
в наивный лепет, мол, ещё не вечер,
на этот раз поверил режиссёр,
бал не свернул, хотя убавил свечи.

И значит, страх поглубже спрячь внутри,
на все болячки плюнь и разотри.
На улице прекрасная погода.
Санкт-Петербург, декабрь, дожди, плюс три.
Меж лысых ёлок и крутых витрин
шагаю гордо.

Наконец в Петербурге привычное – дождь.
Ты его, словно манну небесную, ждёшь
пол-июня, июль, август весь, ну почти.
Умоляешь: «Отходную лету прочти».

Он читает, а ты окружающим врёшь,
что с рожденья влюблён в мелкий северный дождь,
что не можешь без Невского в сетке косой,
тротуаров, покрытых гниющей листвой,

без дворцов, что как скалы торчат из воды.
Узурпирует осень правленья бразды.
Вроде рано погост для себя выбирать,
только ленишься утром покинуть кровать,

чтобы плыть через вязкую лишнюю хмарь,
омерзительную, как замшелый сухарь.
В ноябре я когда-нибудь съеду с ума,
но, на счастье, врывается в город зима,

и, ударившись больно о скользкую твердь,
понимаешь, что под ноги надо смотреть,
что сегодня тебя не в ту степь повело,
что до лета осталось полгода всего.

Запомнилась осень, в которой
я глухо торчал на мели.
С концами накрылась контора.
Ветра вдоль проспектов мели.

Неделю лило без антракта.
В домах отрубили тепло.
Заржавленный жэковский трактор
смотрел на меня сквозь стекло,

увязнув в расплывшемся дёрне.
Соплями измазав рукав,
пошёл я на кухню и сдёрнул
решительно люстру с крюка.

Проверил, насколько он крепко
вмурованный. Хрен тебе: хрясь
куском штукатурки по репе...
Озвучил, что думал про власть,

строителям выдал по полной,
на дворниках выместил зло.
И только под утро вдруг понял,
что мне, наконец, повезло.

Боялся: «Ordnung über alles»,
Но ты... Ты оказалась той!
До полусмерти измывались
над старой узкою тахтой,

творя дуэт, играя соло
шальных кульбитов и гниссад.
Сойдёт с ума любой сексолог.
Помрёт от зависти де Сад.

Презрели все табу и вето.
Ты гладила моё лицо,
и девять с половиной метров
казались мраморным дворцом,

а на стекле оконном влага
из лунных нитей соткана.
И восхищался нами ангел
под псевдонимом Сатана.



НА НАБЕРЕЖНОЙ РОБЕСПЬЕРА

Сфинксы, спуск к воде и стела под эгидой Робеспьера.
Вот «Большого Дома» тело. В берега вросли мосты.
Броневик перед финбаном.
За спиною донна Анна, словно капелька росы.

На продавленном диване дремлет муза Модильяни.
Трехкопеечный уют. Жизнью битый ундервуд
мается в углу без толку.
Только наизусть, поскольку, обнаружат – загремишь
не в Париж.

Революции солдаты вдоль Невы кричат виваты.
Нынче праздничная дата, будет вечером салют.
«Ишь, затихарилась гады, булки сладкие жуют,
жить народу не дают»;
«Мы – одна шестая суши. Жар буржуи не потушат»;
«...знаю, где так вольно душат...» – репродукторы орут.

Петербургские мосты, там Аврора, тут Кресты.
Не меняются посты.
Смотрит мимо донна Анна, и глаза её пусты.

ПИСЬМО БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА

...постреливают иногда в степи.
Казачи добивают комиссаров.
Добыл трофей – Апухтина стихи,
валялись на земле в подсумке старом

с убитым рядом. Я его узнал:
провинциал, сходил с ума от Блока
и декламировал: «Весь мир – большой вокзал».
Вагон ему не тем подали боком.

Ещё цитирую: «...Ласкал губу губой (!),
стремясь сломать сопротивленья слабое».
Денщик Семён, щербатый рот, рябой,
на каждом хуторе находит бабу.

И в этом весь естественный отбор
венца творения по Дарвину и Ницше.
Вчера молился истово, чтоб Бог
оставил нам хоть маленькую нищу,

прекрасно понимая, nevertheless.
В конвульсиях интеллигентских бьются...
На этом обрывается письмо
в запаснике музея революций.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

«НЕЧТО ИНОЕ, ЧЕМ ДЫМ ПОЖАРИЩА...»

ПОГОРЕЛЬЦЫ

Мокрым дымом пахнет, поёт юродивый.
Ищут платье, паспорт, детей, распятые.
В кулаке зола – прогорает родина.
Ты дыши потише, на дольше хватит.
Жёлто-красное – в чёрное; пламя бесцельно мечется.
Задохнувшихся вынесли, но воздух не очищается.
Как же хочется верить, что дым отечества –
Это нечто иное, чем дым пожарища.

Разожмешь – зола...

РАДИОАКТИВНАЯ ЗОНА

вариация на тему картины Анри Руссо «Спящий цыган»

Помогите, человек проглотил звезду!
На песке пустыни с посохом на весу,
Не дождавшись, что вынесут и спасут,
Пuls неровен,
На боку застыл. Он теперь другой.
Лев, его альтер эго, блюдет покой,
А нуклиды владеют его водой.
Он бездомен.

Из далёких стран прибывает взвод
Обучить бродягу музыке новых нот,
Но цыган упал. Видно, не найдёт
След кочевья.
У бродяги отроду нет жилья –
Не жалеют близкие и жена,
Не тревожит громкое: «Вот и я!»
Час вечерний.

Здесь живут невнятные племена.
Нам чужими кажутся их имена,
Может, и у них где-то там война –
Не завидуй.
Наглотавшись звёзд, надышавши след,
И без нас повымрут – сомнений нет,
Но сюда доходит незримый свет
В лучшем виде.

Идеальный выдался полигон.
И солдат доволен – отличие он
Получил – и дальше, траншею вон
В поле роет.



А цыган лежит – неприятный тип!
 От него остался дагерротип.
 Зарисовка. Кадр. Дигитальный клип.
 Полароид.

ВИННЫЙ

Неужели не видно, что делает с гражданами страна,
 Где ямщик всегда замерзает, где в облаках
 На верёвочках сушатся жизни-копчёные окорока,
 Где не распахнуть ни души, ни окна,
 Где смех без причины, обернувшись стонами,
 Причиняет физическую и прочую боль,
 Где дурачиной бывает почти любой,
 Неудачное слово грозит судьбой,
 А будущее – просто сорванный урок истории,
 Где теряют страницы дневник и тетрадь,
 Где воздух льнёт к дёснам непропеченной мякиной,
 Хлещет наотмашь пощёчиной пыльной.
 Погляди, как на Клио, беднягу, нахлынуло –
 И не пытается всё отрицать.

Мелом мечен заправленный в брюки рукав:
 На неучтённой войне побывал
 Или проще – по пьянке попал под трамвай?
 Не вникая, вперёд пропускают историка.
 Вторсырьё – прошлогодний учебничек тоненький –
 Удобряет пустырь, прорастает травой.

АВТОБУСНЫЕ ПОЕЗДКИ В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА

Что я успела узнать об этом автобусе,
 мчащемся
 мимо цветов на обочине,
 мимо маленьких злых штопоров пыли,
 мимо, мимо,
 пока я думала о колонии микробов,
 греющихся и растущих под пальцами
 на горячем металле поручня?

Зачем, впрочем, задаваться вопросами о придорожном цветке,
 если тут, в автобусе,
 старуха везла оранжевые лохматые комки,
 оторванные от ножек, обесточенные,
 нанизанные на нитку,
 говорящие «namaste»,
 целующие мой локоть разбухшими, влажными то ли от росы,
 то ли от старухино пота губами.

Их название, знакомое с детства, затерялось тоже.

Я даже не выяснила толком маршрута.
 Среди непроговариваемых названий
 не было видно моей остановки,



но, очевидно, автобус всё-таки
 позаботился обо мне,
 поскольку пишу эти строки из места, которое я зову
 домом.

Был в моей биографии и другой,
 деревенский автобус,
 только тогда, в первом, не зияла разделительная черта
 между маленькой мужской
 и большой женской половиной.
 Я стояла, неожиданно высокая,
 на невидимой полосе между ними –
 женщина, одетая не так, как подобает женщине,
 решительная, как мужчина.
 Americana – для мужчин,
 для женщин – рута,
 крадущая их мир.

Но и этот автобус
 (ох, и натерпелась же страху)
 не подвёл, доставил.
 Водители знают, куда мне надо,
 или это я привыкаю к новым местам,
 новым мирам,
 новым правилам
 в их неуловимой похожести?

Иногда спрашиваю себя:
 из того ли пишу дома, из которого
 вышла с утра?

ОГОРОДНАЯ МОЛИТВА

Сон и бессонница: чёрное, белое, белое, чёрное.
 Нет равновесия, есть победители. Я – побеждённая.
 Чёрное/сонное, просто пугает своей чернозёмностью/.
 Белое/бодрствуя, тупо таращится твёрдою льдиною/.
 Как же так, Г-споди? В картах ведь не было дома казённого?
 И с обречённостью с грядки взываю я: «Пересади меня!»

Будет потеха ему, агроному-любителю.
 Знаю, что некуда деться, вокруг – геометрия.
 Пересади меня, Г-споди, слышишь? Иссохшими листьями
 Шарю по грядке в припадке тоски и неверия.
 Эта разметка уже утомила, и выело
 всё, что питало когда-то, из почвы отчаяние.
 Эксперимент затянулся. Считаешь гордынею
 Вечный мой голод и жажду, весёлый начальник?

Ладно, чего уж, считай меня дурой капризной,
 неблагодарною выскочкой парниковой.
 Что-то ведь есть и лучше обычной любви с перегноем?
 Что-то другое.



– Пересади меня, Г-споди, – горестно. –
В новую лунку, под новым именем.
Что тебе стоит, прошу, помичуринствуй:
пересади меня.

ОДА БУЛЬОНУ

Науке и логике неподвластны,
Два снадобья лечат универсально-
Имбирный эль мамыши ирландской
Да (у нас говорили о нём с придыханием)
Еврейской мамыши бульончик куриный.
Простуда ли мучит больного, язва ли,
От хвори банальной иль неисцелимой.
Я где-то услышала – бульон прозвали
Метко еврейским пенициллином.

Расплавленным золотом, жидким кристаллом
Дрожа и дымясь, опалает весело.
А в детстве я, помнится, презирала
Бульона наваристое еврейство,
И, заболев, торговалась с мамой,
Воротясь от тарелки, ворча: «Не буду»,
Отодвигала горячей рукой упрямой
Навязчивую заботу этого блюда.

Казалось, откармливают, как курицу – просом,
Под байки да рассказы, под любое
Объяснение, а это – просто:
Меня отпаивали любовью.
Меня любили, о том не зная,
Неприхотливые те несущки,
Чьи телеса мне несли, вздыхая
(Деликатес, а не хлеб насущный),
С базара, шаманские телодвиженья
Их очищали от грешной крови,
И бледные жертвы кораблекрушенья
Вступали в кипящие воды бульононы.

Всплывали на гребне, потя жарко,
Целомудренно-непорочны,
Местечковые Жанны д'Арк, но
Потом тонули в расчёте точном.
Зла и голода не помнящая,
Выживающая на малом,
Курица себя отдавала полностью,
Веками еврейских детей спасала.
И бабушка, полководец куриный,
Всегда выпрыгивала Цусиму.

А нынче пенициллин – в аптеке,
И, если мне заболеть придётся,
Не пощупают лоб, не оттянут веки,
Суета тревожная не начнётся.

Сухарей засушите из старой булки,
 Отведите в детство, где не удержишь
 Любовь на плите, выкипая, булькает
 Во вредных прозрачных разводах жира.
 Где вы, тетушки, бабушки? Где ты, мама?
 Разотрите спину, укройте плечи.
 По звонку из китайского ресторана
 Принесут чикен суп, только он не лечит.

ТАМИЛА СИНЕЕВА

ИГРА «БЕЛЫХ МУХ»

ФЛАМИНГОВОЕ

Она была странной какой-то, будто из книжек Кинга.
 По вечерам к ней приходил такой же чудной фламинго.
 Она привыкла к их болтовне ни о чём.
 А он клал голову на её худое плечо,
 от удовольствия закатывая глаза,
 пытался что-то ласковое сказать.
 Но получалось обычное «курлы-мурлы»,
 от которого плавился потолок и пыл.
 И она гнала фламинго прочь. Короче,
 пинком желала ему спокойной ночи.
 Потом расчёсывала непокорные волосы,
 садилась в метро и мчалась к Южному Полюсу.
 К своему возлюбленному пингвину,
 который был белым и чёрным наполовину.
 Клала голову на его птичье плечо,
 замирала, хотела чего-то ещё.
 А пингвин улыбался ей во весь треугольный клюв.
 Говорил, мол, напрасно, давно другую люблю.
 И дарил невиданной красоты круглый жетон,
 шёл с ней к метро, заводил в голубой вагон...
 А дома ей снился фламинго, розовый, как заря.
 Она во сне уже понимала, что ждёт его зря.
 И утром принималась за спасительную работу.
 Шила крылья из старой фаты и ещё чего-то
 из прошлой жизни: обрывков чужих стихов,
 детских праздников и просто забытых слов.
 А за окном, недалеко, на ветке раскидистого ореха
 сидел фламинго, смотрел на ту, к которой уже не придёт,
 и давился от смеха...



И ЛЮБИЛИ МЫ...

Уносились в невозвратность наши годы цвета молний,
синих птиц бросая перья, превращая их в вороньи.
Там, где реки цвет меняли, становясь свинцовым пленом,
наше счастье, замерзая, укрывалось старым пледом.

Время мчалось, не падало, разрушало наш порядок.
Но звучала, не кончаясь, песня цвета летних радуг,
и любили мы, любили! Посмотри, как вечер льётся!
Я тебе принёс сегодня апельсины. Цвета солнца...

АВГУСТОВСКОЕ

Август обнимет за плечи
оранжево и горячо.
Я поцелую его
в одинокие жёлтые листья.
Перебродившее лето
продлится ещё и ещё.
Осень отступит
неслышно,
мелькнув чем-то грустным
и лисьим.

Вспомню, как ты называл меня
Веточкой и Мотыльком.
Будешь смеяться,
но мне это нравилось,
очень и очень.
Только теперь тёплый август
молчит под окном
ни о ком,
и понапрасну считает
не чьи-то бессонные ночи...

Осень вернёт свою грусть,
и, наверное,
мы ни при чём,
в том, что она нам так часто
болезненно
грезится-сниется.
Просто сегодня мне солнечный август
погладила плечо.
Я целовала
его печальные
жёлтые листья-лица...

ВО МНЕ...

Во мне поселился дракон, размером с соседний дом,
с тремя головами и сломанным в драке крылом.
Течёт и пенится кровь из пасти его одной.
А из другой – валит дым, как от трубы выхлопной.



А третья – закрыта пасть, словно воды набрала.
Три пары глаз, осколки бутылочного стекла,
глядят на меня, каждая со своей стороны,
ведь три головы – это три мира и три войны!..

Я знаю, с утра подъём, и снова на бой с собой –
с драконом, размером с дом, а я ещё тот герой.
И сердце моё с мечом, как будто Иван Дурак,
удар за ударом – бьётся с монстром, и всё никак.

Но, только ночью, когда на помощь приходит сон –
огромный, как небоскрёб, дракон во мне побеждён.
А я делю его шкуру на множество равных частей
и помню – утро вечера мудреней. И честней...

МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ

Я московскую осень так бережно в руки возьму,
как берут, чуть дыша, новорожденного ребёнка.
Покажу зимний Киев, наш рынок, игру «белых мух»,
и в замерзшем окне любопытные глазки котёнка,

так забавно следящего будто за птицей, за мной,
и за яркими листьями осени рыжей московской,
на которую падают мягко снежинки одна за одной
и, целуя, немедленно тают. От нежности просто...

КТО-ТО

кто-то любил
кто-то плакал
кто-то ни с кем не шёл
просто возился с собакой
потом на крыльце курил
и уходил в потёмки
и не прощал
и не ел
молча тревогу комкал
но умирать не смел
и головой об стенку
не ударялся
нет
видел как ржавой пенкой
ажурный вставал рассвет
снова курил
между прочим
и небо благодарил
за то
что сегодня ночью
не плакал
и не любил



КАК БОЛЬНО...

*...как больно, милая, как странно
раздваиваться под пилой...*

А. Кочетков

Как больно это всё...
Зима, метели...
Во мне любовь растворена, как соль.
Мои снега –
безбрежные постели,
и я верчусь, и не приходит сон.

Как больно это всё...
Стихи не лечат.
Слова твои иголками впились.
Подкожно, внутривенно
и навечно
инъекциями смерти стала жизнь...

Как больно это всё!
Порочно время.
Предает исподтишка, когда не ждёшь,
расставит зеркала,
истреплет нервы.
А мне уйти бы незаметно в дождь...

Как больно это всё...
Я исчезаю.
Ты не грусти, читай мои стихи.
Я просто вышла в дождь
в начале мая,
в его грозу и круговерть стихий.

Как больно всё,
и странно. Очень странно...

АННА СТРЕМИНСКАЯ

«ОБЛАКА ГОВОРЯТ НА САНСКРИТЕ...»

ПАРИЖ

Что ты со мною делаешь,
что ты мне говоришь?
Слышишь, Париж?
Видишь, Париж?
Знаешь, Париж?



Все бродяги твои изысканно так просты,
словно есть у них дом где-то там неземной красоты.
О, как весело нам в нечистом твоём метро –
там играют «Бесаме мучо», танго, фокстрот...

Поднимусь на вечерний Монмартр и сяду под Сакре-Кёр,
чтоб глядеть на твои огни, как в глаза – в упор.
Чтобы тайны твои ты разбалтывал мне налегке
на французском, арабском, бенгальском своём языке!

Ароматы твои буду помнить я долго, до...
тех пор, как состарюсь, как мой состарится дом.
Круассаны твои, «Шанели» твои, «Ферро»...
Даже вонь негритянской мочи в ветвистом твоём метро!

Буду помнить я площадь с весёлым названьем Пигаль,
и как Элвиса Пресли старик из Нью-Йорка играл!
Там священные тени бродили – ты помнишь ли кто?
Кто стоял там в цилиндре и в сереньком летнем пальто?

Облака говорят на санскрите,
Облака говорят на латыни...
Говорите со мной, говорите!
Этот день был тяжёлый и длинный.

Облака надо мной проплывают
и словарь драгоценный роняют:
«агни», «ведь», «поэта грекорум»
и рифмуют его с «романорум»...

Древний агни горит в наших жилах,
мимо стройная дэви проходит.
И в уме все слова колобродят:
Веды – ведьма, медведь, джива – живы...

Облака знают всё, всё видали:
древних ариев славу и горе,
древних греков дороги и дали,
древнеримских владений просторы.

Но к истокам припасть тянет снова,
что в санскрита живительной влаге.
Мама – мата, брат – братар, и слово
польхает огнём на бумаге!

Он говорит: «Я давно одноклассников не видал,
мы так редко стали встречаться в последние 10 лет...»
Он говорит: «Я с Машкой ходил туда,
где “Гости из будущего” тогда давали концерт».
Я ему говорю, что рифм половодье меня
так захлёстывает, что только давай держись.
Творчество – это молитва, что жжёт посильней огня,
и это – моя стихия, мое проклятье и жизнь!



Он говорит: «Какие суки – вчера
вновь не пришли электрики, света в подъезде нет!».
Он говорит: «А предки мои с утра
желают бутылку водки и блок сигарет».
Я говорю: «Ведь этот роман, представь,
мне дали на пару дней, и я прочитала его.
И после него я стала верить в Христа,
и поняла, что есть на свете любовь!»
Он говорит: «Я жить без любви устал!»
И так ли мне важно, что ещё скажет он?
Но, Боже, как он целует в губы (или в уста)!
Таков мой самый странный роман... таков
мой вечерний звон!

За одну ночь все города очистили,
больше в них не было этих обрубков без рук и ног.
Нечего портить видом своим, воистину,
непогрешимость улиц, дворов, дорог!

На груди у многих были ордена и медали,
Но они так стучали своими тележками, что не было сил!
Вы их страшные орды на улицах наших видали?
Милостыню у вас кто-то из них просил?

Нет, не видали – обо всем позаботилась партия
и лично товарищ Жуков – пухом ему земля!
Боже праведный и Богородица, вы воздайте им
за подвиги ратные! Пусть им шелестят тополя...

Их погрузили однажды ночью в вагоны,
кто-то бросался на рельсы, не желая переезжать.
Кто-то добрался до Соловков под песни и стоны,
кто-то расстрелян был раньше – но сколько ж руки мать?!

Кто-то был сброшен с откоса (вокруг лесные угодия),
чтоб мог свободно пройти по городу пионер.
Спасибо тебе, мама ты наша, Родина!
Спасибо тебе, папа СССР!

БЕЖЕНЕЦ

Твое имя – это долгий и синий звук *И*
и мягкое *р* в конце.
И плывут по стенам твоим корабли,
лишь блики дрожат на лице.
Твой дом наполнен строною Крым,
которую бросил ты.
Лишь блики дрожат на лице и мосты
сгорают, дымят костры
пожарищ памяти – ты сидишь
и куришь, и пиво пьёшь.
Я выпью с тобою – мне радостно лишь
оттого, что на свете живёшь.



Разложишь ты камни, как царь Соломон,
 расскажешь о каждом мне.
 В тебе есть свет и тепло времён
 киммерийских – на самом дне
 души твоей детской, что так мудра.
 А в ней Коктебель и Макс,
 Марина, чьи лёгкие ноги в горах
 не уставали, стремясь
 всё выше забраться... Всё знаешь ты
 о них, ничего о нас.
 Ничего о себе, и шуршат листы
 твоих книг о Крыме сейчас
 в моих пальцах. Твоей Феодосии свет
 будет вечно с тобою здесь...
 В граде Киеве Феодосийская есть –
 это родины горький след!

Моему погибшему коту Мурчелло

Всё исчезает, Мурчелло, и мы исчезаем...
 Все мы – лишь капли в огромной клепсидре вселенной.
 Жил ты три года и был ты философ – слезами
 тут не поможешь – ты мачо был первостепенный!

Рыжий комок, рыжий сгусток тепла, – не напрасно
 было твоё появление на грустной планете.
 Ты хулиганил и прыгал, и дрался, и лаской
 сердце моё согревал, словно память о лете...

Друг мой Мурчелло, смотри из кошачьего рая:
 что-то не то с нами всеми давно происходит.
 Лучшие люди стремительной искрой сгорают,
 лучшие люди, сорвавшись, внезапно уходят.

И тектонических сдвигов зияют разломы
 в судьбах и душах. Поэтому, зверь мой невинный,
 ты и погиб, непонятною силой влекомый,
 сгусток тепла – под машинною грязною шиной!

Ты для меня – лишь голос, лишивший меня покоя.
 Твой голос в мобильной трубке пытаюсь согреть рукою!
 Твой одинокий голос в руке держу, как награду,
 и никакой другой музыки мне не надо –
 лишь этот вкрадчиво-низкий, застенчивый, мягкий голос,
 что вперемешку с ветром в мой проникает космос!
 А журавли летят над куполами соборов,
 улавливая обрывки наших ночных разговоров...
 Твой голос, текущий плавно, в руке я держу синицей,
 но верю: когда-нибудь приникну к его истокам, чтобы напиться!

ЛЕОНИД ПОДОЛЬСКИЙ

ПЛЕНУМ ЦК рассказ

В последние годы Виктор Михайлович Яблонский очень редко бывал в городе С. Всё время что-то мешало: симпозиумы, конференции, лекции, несколько лет он проработал за границей, да и отпуск лет десять как проводил исключительно в средиземноморских странах. Лишь сейчас приходилось признаться себе, что главная причина заключалась не в занятости, а в обыкновенном эгоизме и чёрствости. Знал, что мама тяжело больна и что жить ей осталось недолго и всё-таки из года в год откладывал поездку, все заботы о матери переложив на сестру. Теперь, когда мама умерла, так и не дождавшись любимого сына, – в последний раз Виктор Михайлович видел маму почти пять лет назад – откладывать поездку больше стало нельзя. Прямых билетов на самолёт до города С. не оказалось, приходилось лететь через Минводы, а потом часа четыре пилить на автобусе. Случай словно специально избрал круглой путь, чтобы профессор Яблонский мог подумать о прошедшей жизни. Выделил время для раскаянья и скорби, как определил он сам.

Виктор Михайлович очень давно уехал из дома и с тех пор редко навещал родителей, особенно после того, как умер папа. Он многого достиг в этой жизни, стал профессором и довольно известным учёным, получил премию, собирался баллотироваться в Академию, но тут всё вместе со страной и с системой, которую он, как и отец, не любил с детства, но которая, как выяснилось, была относительно благосклонна к нему, полетело в тартарары. Одно время в девяностые, когда стало особенно плохо, Виктор Михайлович попытался найти работу в Израиле, в Америке или в Европе, но оказалось, что постоянного места для него нет. Это в Союзе Яблонский считался восходящим светилом, за рубежом же наши генетики не слишком котировались. На несколько лет всё же, забыв на время об амбициях, Виктор Михайлович сумел устроиться в Европе. И мама очень гордилась им. Для неё сын всегда был предметом гордости, как в своё время муж. Когда сестра упрекала Виктора в эгоизме, мама, не раздумывая, защищала и оправдывала его. Родители всегда хотят видеть в детях только хорошее.

В самолёте Виктора Михайловича слегка лихорадило и в автобусе тоже, но он упорно заставлял себя думать о маме. Прокручивал в памяти один и тот же эпизод: вскоре после переезда в город С. Витя далеко ушёл от дома и заблудился. В растерянности бродил он по улицам, временами ему казалось, что вот она, его улица, или дом представлялся похожим на тот, в котором жили, – и всякий раз обнаруживалось, что он ошибся. Витя начинал приходить в отчаяние, ему хотелось заплакать, начинало темнеть, когда вдруг он увидел маму: она шла навстречу. Мама искала его. Витя подбежал к ней, бросился на шею и стал целовать...

Через час примерно автобус сделал остановку. Профессор Яблонский вышел размять ноги и словно проснулся – почувствовал, что на Кавказе уже весна, солнце, не то, что в промозглой, холодной Москве – ласковое дыхание весны, ощущение заново нарождающейся жизни охватило его. Молодая грузинка, а может, черкешенка с ослепительной улыбкой торговала чурчхелами, вокруг неё прыгали голуби и воробьи – Виктор Михайлович купил чурчхелу и почувствовал, что мрачное его настроение проходит, печаль убегает, рассеивается, как бывает, рассеивается от солнца утром туман.

«А ведь жизнь прекрасна, – подумал Виктор Михайлович, – несмотря ни на что». Мысли его переменялись, Яблонский стал вспоминать детство. Воспоминания были светлые, мама в них занимала совсем немного места...

...В город С. переехали, когда Витя учился в третьем классе, в самом начале сентября. На Кавказе ещё стояло лето. Дом, который построил папа и в котором почти до конца, пока могла оставаться одна, жила мама, осиротевшего этого дома ещё не существовало, его построят только следующим летом – родители сняли квартиру в старой части города, недалеко от остатков крепостной стены, возведённой казаками в екатерининские времена. Улица, где стоял дом, была проезжая: одной стороной она упиралась в рынок, другой уходила к вокзалу. Не успели войти, как на улице что-то загромыхало, послышались шум, топот, мальчишеские крики – все кинулись к окнам и увидели запряжённого в арбу верблюда, на котором лихо восседал калмык в войлочной шляпе.

– Невероятная экзотика. Верблюды! – Пришёл в восторг отец. – Здесь степи встречаются с горами,



Европа – с Азией, а в ясный день сверкает белой шапкой Казбек. В ковыльных степях тут кочевали скифы и печенег, где-то неподалеку жили хазары-иудеи, пронеслись вихрем монголы и гунны. В этих краях ещё лет сто назад абреки совершали набеги, а при закладке крепости откопали огромный каменный крест. Кто здесь жил раньше: греки, армяне, аланы? – По случайному стечению обстоятельств судьба явила азиатскую, степную экзотику лишь в самый первый день. Никогда больше верблюды в С. не появлялись. Зато тот год, пятьдесят пятый, оказался особо обильным на урожай винограда, от изобилия на рынке у Вити разбегались глаза. Кавказ казался землёй обетованной, благодатной, особенно по сравнению с нищей, скудной, до конца не оправившейся после войны Белоруссией.

Жизнь была ещё другая, неторопливая, время не летело скоростным экспрессом, и люди по вечерам не прятались за запертыми железными дверями. В то время папа любил беседовать со стариками, которые застали ещё совсем другую жизнь. Старики рассказывали, что при царе рынок, казавшийся Вите огромным, был в несколько раз больше. Особенно же осенью, когда проводились ярмарки – всё бывало заставлено телегами почти до самого вокзала и что нынешнее, с каждым годом заметно убывавшее изобилие ни в какое сравнение не шло с тем, что было прежде...

Виктор Михайлович стоически перенёс похороны и поминки, почти как истукан, без чувств, испытывал лишь пустоту и страшную усталость – от шумных, малознакомых соседей, от неизвестно откуда взявшихся на похоронах детей, от не в меру бойких внучатых племянников и пустословных неумных речей, в которых сквозила фальшь, – лишь когда увидел маму в гробу, маленькую, исхудавшую, совсем не похожую на себя, что-то больно кольнуло его в сердце, и из глаз выступили слёзы: прежняя жизнь закончилась безвозвратно. Бесповоротно. Мама, словно пуповиной, привязывала Виктора Михайловича к прошлому, к городу С., но вот пуповина оборвалась...

«Пилигрим никогда не вернётся, – нехотая вспомнил Виктор Михайлович выдуманные им когда-то слова, – никогда»...

Он не стал оставаться у сестры в её не слишком просторной, шумной квартире, решил погостить в осиротевшем пустом доме, родном, где прошло его школьное детство и где несколько лет никто уже не жил. В доме со скрипучими полами, давно не мытыми окнами, паутиной по углам и старой, разваливающейся мебелью. Со старинными, с инкрустацией и резьбой, немецкими трофейными часами, давно превращёнными в комод. Когда Витя был маленьким, часы эти били каждый час, мешая спать по ночам, и папа полвека назад остановил их, сняв гири.

– Дом я хочу продать, – сказала сестра, дипломатично умолчав о деньгах. – Жить в нём некому, да и возни слишком много. Посмотри, в чулане оставались твои книги.

– Хорошо, – согласился Виктор Михайлович. Он и сам собирался порыться в чулане. Сколько он помнил, там оставались раритеты – собрания сочинений вождей и пластинки с записями речей Сталина. То были не просто книги – реликты прошлого, с которым предстояло окончательно проститься.

Отоспавшись и позавтракав, профессор Яблонский открыл дверь – не в чулан, но в другую жизнь, ушедшую, потому что призраки тотчас обступили его. Среди старых, пропитанных древней пылью, из иной эпохи, безнадежно устаревших книг, Виктору Михайловичу открылись аккуратные подшивки газет, пожелтевших – от времени, пыли и, почудилось Яблонскому, от истекавшей с их страниц злобы, с почти непонятными, режущими ухо, вроде «тризонию»¹ словами. Вскоре Яблонскому стало казаться даже, что с ветхих страниц сочится кровь: одно за другим перед ним возникали «дела» – ленинградское², Сланского³, врачей-отравителей⁴, бесновался Жданов⁵, громил безродных космополитов⁶, злобные псевдонимы изливала яд на «кровавую собаку Ранковича»⁷, всюду мерещились отщепенцы, ротозей и враги. То казался мир «капричос»⁸, шизофрении, Корейской войны – мания, через десяток лет во время Карибского кризиса едва не обернувшаяся ядерной катастрофой.

Ощущение шизофрении усиливалось оттого, что на протяжении нескольких лет подряд газеты на многих страницах печатали поздравления к семидесятилетию Сталина. Колхоз за колхозом, совхоз за совхозом, районы и области, стараясь перещеголять друг друга, давали невероятные обязательства: увеличить за год поголовье скота, производство мяса и молока сразу в несколько раз. Обязательства были совершенно сюрреалистические и, однако, по всей стране проходили собрания и митинги, выступали рядовые колхозники, передовики, рабочие, поэты, писатели, учёные и деятели искусства, секретари райкомов и



обкомов, депутаты – и все принимали обязательства и писали телеграммы вождю, газеты непрерывно сообщали об успехах и достижениях, которых не было и не могло быть, и громко славил победителей.

Но ещё больший сюрреализм заключался в том, что, читая газеты изо дня в день и слушая радио, невозможно было не поверить в то, что они писали и говорили, не поверить в достижения передовиков, чьи фотографии печатались тут же, невозможно было не поверить их простым и искренним словам, в их величайшую любовь к вождю, сильнее, чем к собственным детям, допустить мысль, что всё, что писалось в газетах, – величайший в истории блеф, настолько грандиозный и невероятный, что обыкновенный человек просто не мог бы поверить – не хватало никакого воображения, – что всё это неправда. Или правда, но тщательно перемешанная с ложью. Но и те, кто писали, кто создавал эту ложь, они тоже начинали верить.

Ложь и вера, как и сумасшествие, – вещи заразные. Тут действовали иные законы, не те, что в обычной жизни, – законы массового внушения, гипноза. В этой великой лжи было что-то религиозное, космическое, и цели у неё были совершенно грандиозные – те, кто породили, вырастили, раздували и лелеяли эту ложь, полу- или четверть правду, являлись величайшими в истории манипуляторами. Они знали, что если со всех сторон, из всех рупоров на чёрное десять раз, или двадцать, или пятьдесят, или сто сказать «белое», большинство людей поверят, что так оно и есть. В этом и состоял тоталитаризм.

Да, это была такая огромная, такая могучая ложь, что усомниться в ней было нельзя. Даже сейчас, хотя с прошлого давно был сброшен покров и профессор Яблонский всё знал, читая газеты, он начинал верить... поддаваться гипнозу... ощущал почти физически, как газетная ложь обволакивает мозг, и лишь усилием воли сбрасывал оцепенение. Да, это была страшная смесь, адская – правды и лжи... Каково же было современникам? Подвергшиеся массовой обработке, оболваненные, кроме самых умных и самых устойчивых психологически, единиц, не могли не поддаться гипнозу, не заразиться ложной верой. Именно поэтому умных, устойчивых к внушению уничтожали. Выводили особую породу людей: слеповерующих. То была великая, величайшая, жесточайшая селекция. По существу, вся сталинская гигантская пирамида – обыкновенная тоталитарная секта.

Только теперь, перенесшись мысленно в прошлое, профессор Яблонский начинал понимать, что непрерывная, длиной в несколько лет компания притворной, а может, и настоящей любви к Сталину, беспримерной веры не меньше, чем в Бога, когда миллионы людей в нищете, голодной колхозной деревне, ограбленной по Его приказу, не для себя, но для Него обещали совершить чудо и, быть может, верили в это чудо – что **это безумие** не было просто очередной компанией, просто организованной ложью, обыкновенным пресмыкательством – нет, это был величайший обман, беспримерный, геббельсовский, такой беспримерный, за гранью, что в него нельзя было не поверить. **Социальный гипноз.** Глубочайшая, массовая психологическая обработка. У этого гипноза имелось только одно слабое место: он не был рассчитан на длительное испытание временем. Гипноз ослабевал, едва ослабевала психологическая обработка. И ещё: гипноз невозможен был без страха.

«Увы, – подумал Яблонский, – как может заболеть психически отдельный человек, так может заболеть и целое общество. И болезнь эта отпечатывается в генах».

Странно, однако, что ложь эта, величайшая, почти сразу всеми была забыта и что, едва разоблачив культ, тут же принялись строить новые, столь же грандиозные и несбыточные планы. И всё повторилось почти точь-в-точь. Воистину, трагедия чуть ли не всегда повторяется фарсом...

Виктор Михайлович закрыл глаза. Сюрреалистические газетные картины заставили вспомнить другое, похожее – из собственного детства. Произошло это классе в шестом, история, в сущности, мелкая и глупая, если разобраться, пустячная, если бы не *место* и *время*. Тогда же она вполне могла закончиться катастрофой.

Сталин к тому времени лет шесть как умер, состоялся двадцатый съезд, у власти находился Хрущёв – вот он и выдумал новый странный фарс. На сей раз фарс, потому что новому факиру не верили, смеялись: *догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла* казалось смешно. Вскоре Витя слышал, как отец тихо шептал маме: «Никита – колхозный вождь. Колхозники должны быть ему благодарны. Паспорта вернул, отменил сталинское крепостное право. Но и у него ничего не получится. Стимулов-то он не придумал. Личное хозяйство по-прежнему под запретом. А крестьянин – индивидуалист. Хозяйчик. Ещё Ленин говорил. Против их фермера наш колхозник ничто». А Коля Иванов, одноклассник, нарисовал как-то бегущего Буратино. Длинным носом тот упирался в лужу. И приписал: «догоняет Америку».

Вот примерно в то время и врезалась в Витину жизнь Вилена Александровна, историчка, женщина резкая, властная, грубая, бессменный парторг школы, она сама рассказывала, что Вилена – не настоящее её имя, а комсомольское, советское, её боялись и недолюбливали, сам директор обычно пасовал перед

ней, потому что директора в школе постоянно менялись, а она всегда оставалась на своём посту. У неё и прозвище было соответствующее: *Большевичка*, хотя, если разобраться, походила она не на ленинскую, из фильмов, комиссаршу в тужурке, а на бесцветную мымру с химической завивкой, на которую, казалось, хоть бирку вешай, как на казённую мебель, настолько лишена была всякой индивидуальности, – правильная, партийная, скучная, ни слова в сторону, к тому же, жена секретаря сельского райкома. Вот она-то и стала рассказывать об очередном пленуме. Пленум ЦК как раз посвящён был животноводству, вот этому самому: *догнать и перегнать США*. Не столько о себе думали, а *вызов бросить. Доказать*. «Подсунуть ежа в штаны»⁹. Видно, комплексы были сильные. Зависть точила и злоба.

Пока Витя слушал Вилену, – не столько об увеличении производства мяса пеклась, сколько *их* ругала Большевичка, империалистов, на их головы революцию кликала, Маркса призывала, и громы, и молнии, – в голове у Вити всё больше разрастались сомнения. Не может корова произвести больше одного телёнка в год. И кормов нет. И для молока наши бурёнки низкопородные. А значит, никакой скачок невозможен. Никакой семимильный шаг. Да если б возможен был, что же раньше мешало? Нет, сельское хозяйство требует постоянства, терпения и труда, а не пленумов ЦК... чтоб по щучьему велению, по чьему-то там хотению... и Маркс с Лениным тут совсем ни при чём. Не в первый раз заврался Никита... И тут же Витину голову посетила банальная, показалось ему, мысль: нужно развивать птицеводство. Вот, собственно, и вся крамола, потому что, когда Вилен Александровна закончила, Витя поднял руку.

– Я думаю, это неправильный путь, – гордась своим открытием, произнёс он. – Корова может отелиться лишь раз в год. А значит, быстро обогнать Америку не удастся. К тому же и они тоже будут наращивать поголовье. Коровки, они несознательные, беспартийные. Им всё равно, где телиться: в Советском Союзе или в Америке, им бы корма посочнее. Мне кажется, нужно сделать ставку на птицеводство... – Витя ещё продолжал свою речь, с самоуверенностью дилетанта ожидая одобрения и восторгов, когда Вилен разразилась адским криком.

– Ты что, Яблонский, из пионеров захотел вылететь? Так мы с тебя быстро галстук снимем. Умнее всех, думаешь? Умнее партии? Завтра же с родителями к директору школы! Он ещё издевается... Отца в райком вызовем, из партии исключим, а то сын больно умный. Яблоко от яблони далеко не падает. В партбюро заседает в институте... Оппортунисты... Антисоветчики... Космополиты... Мало *вас* били... Мы обязательно выясним, что у тебя говорят дома... чем дышат... не спрячешься... Не будете насмехаться... – она кричала долго, очень долго. И сорок с лишним лет спустя Виктор Михайлович всё ещё слышал крик Большевички, и в голове у него что-то начинало пульсировать и холодеть от этого её крика. Тогда же он очень сильно испугался. Не столько крика – крик проникал в него, от крика делалось плохо, тошнило, но ещё больше Витя испугался последствий...

Как раз накануне они с папой ходили гулять в парк. Папа остановился у стенда с газетой «Правда», но Вите газета показалась очень неинтересной, скучной, и он потянул отца за руку:

– Папа, в «Правде» одна ерунда, пошли...

Мужчина, что стоял рядом и тоже читал, странно посмотрел на Витю, но ничего не сказал, папа же торопливо схватил его за руку и быстро отвёл прочь. Отойдя на почтительное расстояние, отец принялся то ли ругать, то ли объяснять:

– За такие слова при Сталине могли выслать всю семью. Никогда не знаешь, кто стоит рядом. Нельзя так говорить, опасно. Никогда. Ни про одну газету. А про «Правду» особенно. «Правда» – это голос партии. Ты понял?

Вите пришлось поклясться, что понял, что партия никогда и ни в чём не может ошибаться. И сейчас он перепугался... Он оказался против партии...

После урока одноклассники вместо того, чтобы посочувствовать, подняли Витю на смех.

– Решил на гусе-лебедь въехать в коммунизм? – С издёвкой спросил Валера Коровьев. – Представь, сколько потребуются гусей и уток вместо одной коровы. Да и водоплавающие они. Где станут плавать? Прудов-то ведь мало. И корма нет. И вообще, тебе что, больше всех нужно?

Но Витя, хоть и испугался, глубоко уверен был в своей правоте. Он знал: чтобы догнать Америку, нужно развивать птицеводство.

По счастью, организм пришёл Вите на выручку, он заболел, температура поднялась до тридцати девяти, так что в школу на следующий день пошёл один папа. Прежде чем идти, накануне вечером он зашёл к райкомовскому знакомому Гармапу, бывшему директору совхоза, и долго с тем разговаривал,



проясняя обстановку, а потом передавал их разговор маме. Родители думали, что Витя спит, а потому разговаривали в соседней комнате довольно громко.

– Чёрт знает, что происходит, – говорил громким шёпотом отец. – Наш Лебедев решил выделиться. Подражает до мелочей Никите. Матерится по селектору на весь край. С ума сходит. Знаешь, что они делают? Заставляют колхозников сдавать скот с личных подворий, по соседним областям рыщут, скупают молоко и мясо у населения, по несколько раз сдают, добрались и до колхозного стада. Видно, решил получить героя соцтруда или назначение в Москву. А там хоть трава не расти. На весь край нашёлся один смелый председатель, который отказался резать скот. Так его поставили перед выбором: режь или партбилет на стол. Муж этой Вилены, исторички, среди первых застрельщиков. Подхалимничает перед Лебедевым, проенты выдаёт, видно, рассчитывает попасть в крайком.

– А Никита что, не знает ничего? – спросила мама.

– Самое странное, что Москва поддерживает. Давит. Давай, давай... Не знаю, знает ли Никита. Но недалёкий человек. Романтик-волонтарист. Сам не понимает, какой он сталинист. На сталинском страхе едет и погоняет. Помнишь? «Это вы, профессора, думаете так, а мы, большевики, считаем иначе»¹⁰. Это у них общее, родовое: командно-волевой стиль... Ты же его видела, Никиту... – Хрущёв приезжал недавно награждать край, выступал на стадионе. Был он пьян и удивительно, на редкость, косноязычен, сплошные «э» и «мэ», люди долго вспоминали и плевались. Ни один враг не смог бы придумать лучшую агитацию против власти. По радио потом транслировали другую речь, на партийном активе, до выпивки, по бумажке...

Витя не знал, о чём отец разговаривал на следующий день с Виленой Александровной и с директором школы. Но домой папа вернулся в хорошем настроении.

– Редкостная стерва, – сообщил он. – Будь с ней очень осторожным. В своё время доносы писала при Сталине, сажала людей, – позже Витя узнал, что прежде, чем идти в школу, папа попросил позвонить в райком секретаря парткома института, с которым состоял в приятельских отношениях, а из райкома – там хорошо знали Вилену – позвонили в школу и посоветовали не раздувать дело. Профессор Яблонский, Витин отец, лечил крайкомовских, и никто, кроме Вилены, не жаждал затевать новое «дело врачей». Да и повод казался слишком мелким.

У Вити с Виленой Александровной с тех пор шла хотя и молчаливая, но изнурительная холодная война. Большевичка больше не кричала, демонстративно старалась не замечать, лишь изредка задавала каверзные вопросы, и Витя старался избегать споров, но тихое напряжение сохранялось, словно электрическое поле было между ними. Иногда Витя ловил на себе её подозрительные, колючие, злые взгляды, он был уверен, что Виленка его ненавидит и, скорее всего, ненавидела ещё до этого случая, и в душе он платил ей тем же. К тому же, хотя Витя лучше всех знал историю, Виленка почти всегда ставила ему четвёрки, а бывало и тройки. Мол, историю мало знать, надо верить в торжество великих идеалов, а он, Витя, человек без твёрдых убеждений или с мелкобуржуазными взглядами. Закончилось тем, что из-за этой необъявленной войны Витя с родителями стали подумывать сменить школу. От греха и от Вилены подальше.

Не только шестиклассник Витя, но и подавляющее, огромное большинство других людей, взрослых, лишь смутно догадывались, как работает могущественная партийно-государственная машина, похожая на огромный чёрный ящик. Не понимали кто, почему и зачем изобретает разные политические компании, нередко доводя их до абсурда, составляет планы, доклады и речи, согласовывает каждое слово. Какие там существуют негласные правила, группировки, кто и с кем там враждует и кто кого поддерживает, отчего и как принимаются те, а не иные решения и какое всё это имеет отношение к марксизму. Сам ли первый секретарь выдумывает, или ему подсказывают, просчитывают, прогнозируют будущее, или выдвигают голые лозунги, думают о последствиях собственных начинаний или пекутся о корысти, и в чём состоит эта корысть. Собираются выполнять, или цинично надеются, что время всё спишет? Когда Хрущёв провозгласил очередной лозунг: «догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла», люди смеялись, не очень даже скрываясь, потому что Хрущёв, как выразился папа, «развязал языки», и когда Никита Сергеевич обещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – выходило примерно в 1980-м году – и когда дополнял формулировку Ленина, что «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всего народного хозяйства» своей химизацией, все предполагали, что это пустые слова. Экспромты многоречивого первого. Никто не знал толком, что такое коммунизм. На самом же деле тотчас бросались планировать, разрабатывать государственные программы, спускать директивы, писать передовицы. Вслед за высшей властью приходило в движение руководство среднего и низшего звеньев,

все стремились отличаться – собирали собрания, воодушевляли, мобилизовывали, выдвигали встречные инициативы и планы, демонстрировали энтузиазм, одним словом, неуклюжие партийно-государственные механизмы начинали вращаться – при Сталине, обильно смазанные кровью, подгоняемые страхом, относительно быстро, но с каждым годом всё натужней и медленней. Чем больше номенклатура сузилась, выслуживалась, урывала должности и награды, тем конечный результат оказывался меньше похож на задуманный изначально. Так и в данном случае: стоило только Хрущёву бросить лозунг «обогнать США», тотчас началась суeta, начальники разных уровней бездумно бросились исполнять. Выслуживаться. Демонстрировать рвение. Увы, они не могли изменить ни природу коров, ни советской власти, не могли дать свободу крестьянину, да никакой свободы и не было в их партийных головах. Их метод уже много лет состоял в том, чтобы *выжать* из крестьянина, *вырвать*, *заставить*, *воодушевить* – вот только измученные крестьяне не воодушевлялись, устали от шараханий и директив; результат, между тем, требовался немедленный. Партия требовала. Хрущёв не хотел ждать. И тогда партийная номенклатура пошла тем единственным путем, которым всегда шла: стала крестьян *принуждать*. Время, впрочем, уже не прежнее было, промежуточное. Не только принуждали, но и очки втирали. Но это позже придумали втирать очки легко и удобно, без лишних усилий, *на бумаге*, хотя, вероятно, и тогда тоже, но больше похоже было на продрозвёрстку. Стали заставлять колхозников сдавать своё молоко и масло, а главное, резать скот. Плюс, как всегда, соревнование, социалистическое. Секретари обкомов и крайкомов спешили выслужиться перед Москвой. Впрочем, и Москва давила встречно... Начались рапорты, а вслед за рапортами – раздача орденов. Советский Союз действительно догонял Америку. Но, понятно, чем больше рапортов и успехов, тем меньше оставалось скота. И, ясное дело, не могла долго виться верёвочка. Через год мясо исчезло с прилавков. И даже с хлебом начались перебои. В Куйбышеве¹¹, рассказывали, в Хрущева кидали спрятанные в букетах камни...

...Очень скоро настанет время отвечать. Хрущева подсыдят позже, обвинят в волонтаризме – через несколько лет после профессора Яблонского, Витиного отца, который всё понимал и ни минуты не заблуждался, хотя вынужденно состоял в партии, – пока же партия призвала к ответу особенно отличившихся руководителей. Тогда Витя и услышал, как отец тихо говорил маме: «В Рязани Ларнонов, первый секретарь, застрелился. Вырезал скот, дал триста процентов, получил орден, а потом застрелился». И Лебедева, первого секретаря крайкома, тоже сняли – за двести пятьдесят процентов. Не его одного, много нашлось виноватых, много полетело голов...

Когда провал стал очевиден, в Москве собрали очередной пленум. Решили последовать совету, который года за два до того, в шестом классе, дал Витя: развивать птицеводство. О, как Витя торжествовал. В каком пребывал диком восторге. Ведь он давно сообразил то, до чего так долго не могли додуматься кремлевские мудрецы с высот своей непобедимой теории. А всего-то и требовалось элементарно подумать. И в классе смеялись. Но главное, Вилена Александровна. Слюной брызгала, орала, злобствовала, обвиняла, что он против партии, выскочка, родителей хотела вызвать в райком, исключить из партии... стерва так стерва, сталинская закваска, а оказалось, что антипартийная группа¹² – это она сама. Теперь выходило, что именно Вилена против партии. И это её муж велел резать скот, как когда-то кулаки. Вредительствовал. Недаром Вилену недавно переизбрали и она уже не вечный секретарь... И с центральной доски почёта, что в парке, сняли Большевичку. А Витя с ребятами танцевали, увидев, что Вилены там больше нет.

– Пленум ЦК, пленум ЦК, наконец-то додумались, – от радости всё пело в Вите, так здорово пело, громко, что он плясал; плясал и стишки сочинял, дурацкие, наверное, стишки, верлибром, к слову «партия» рифмы не подбирался, разве что «братия», но «братия» звучало двусмысленно, с подковыркой, вроде «шпатия-братия» или «банда», да и к ЦК тоже рифм не было, кроме «намять бока» – это, понятно, врагам и догматикам, вроде Вилены. «Догматикам» и «фанатикам», – придумал Витя. Так пел и плясал он – громко и весело, что мама, придя домой, поинтересовалась, всё ли с ним в порядке.

– Всё, всё, – заверил Витя. – Пленум ЦК, пленум ЦК, Вилене намнём бока. Фанатикам и догматикам покажем политграмматику, – фальшиво запел он. – Теперь я покажу ей Кузькину мать¹³. Против партии не пойдёт. Партия – это святое, – от радости Витю впервые в жизни переполняли тёплые чувства к партии. К этой не очень понятной шпатии-братии, абстрактной, безгласной, покорной, но вместе с тем и бесконечно могучей, непогрешимой многоголовой силе, в верности которой клялись и в которой состояли совершенно разные люди: сосед-выпивоха Василий Иванович, бывший энкавэдэшник Перфильев, донашивавший старые галифе и писавший во все инстанции жалобы и доносы, грозный прокурор Громов, которого боялись и перед которым заискивали, засудивший недавно тихого, доброго с виду



партийца Вареника, начальника краевой кооперации, и мама с папой, совсем не любившим эту самую партию, в которую много лет стояла в очереди, ожидая лимита, папин приятель, интеллигентнейший, со старорежимной бородкой, профессор Бреславский. Но Бреславского никак не брали, чтобы не нарушить пропорцию между рабочими и прослойкой.

О, конечно, не мог Витя отказать себе в удовольствии. Настал его час куража, час мести, сладостной и игривой. Час возмездия Вилена. Час торжества. «Зуб за зуб и око за око», – беззвучно пропел он, поднял руку и встал. «Суд идёт», – хотелось сказать ему. И замер урок истории, и Вилена замерла, заморгала злыми глазами, будто перед ней рок.

– Помните, Вилена Александровна? – Элегически спросил он. – Помните, как обзывали меня врагом партии? Что говорили, когда я сказал, что нужно развивать птицеводство? Вы, конечно, читали решения пленума? Получается, что партия за меня, что я ещё раньше партии. А вы, выходит, подходили с антипартийных, с антиленинских позиций. С позиций слепого догматизма...

Словно вихрь приподнял Виктора над землёй и не восьмой «А» оказался перед ним, и не Вилена, а разверзлась земля. От волнения Витя перестал ориентироваться во времени и в пространстве... В разверзшейся холодной, пустынной земле мелькнули болота, тайга, лесоповал, охранники с собаками... Сосед-грек не так давно вернулся с того света, из лагерей... Витя не знал ни имя его, ни отчество, только, что грек, из бывших коммунистов, муж медсестры, что ждала его, как жены ждали декабристов, реабилитированный. Пятнадцать лет отпахал – за этот самый догматизм. За троцкизм и догматизм... Сидя на завалинке и посасывая мундштук, рано постаревший седой человек рассказывал соседям о лагерном житье-бытье...

– Пленум ЦК, – вспомнил Витя. – Пленум ЦК, – повторил он, теряя мысль и оттого теряясь. Витя ожидал, что Вилена сейчас закричит, разразится проклятиями и бранью, выгонит с урока. Тем более этого ожидал, что всё последнее время Большевичка ходила взвинченная и злая и чуть что начинала кричать, напоминая раненую, но по-прежнему опасную и злобную тигрицу, но вместо крика Вилена затравленно смотрела на Витю. Показалось даже, что она плачет, взгляд был такой, словно Бирнамский лес¹⁴ двинулся на неё. А дальше произошло и вовсе невероятное: Вилена уронила классный журнал и почти бегом вылетела из класса. Вот тут только Витя пришёл в себя и устало опустился на парту.

– Чудо изгнания бесов, – ломающимся баском прокричал с последней парты Валера Повидерный.

– Зачем ты её довел? – С упреком спросил у Вити Валера Коровьев. – Не видел, что ли, что она в последнее время сама не своя? У неё мужа сняли с работы.

– Так ей и надо, – возразил Повидерный. – Не всё коту масленица.

Класс разделился. Одни осуждали Яблонского, другие, напротив, поддерживали его. Сам же Витя со страхом думал о том, что Вилена сейчас вернётся, возможно, с директором школы. Её неожиданное бегство не предвещало ничего хорошего. Ясно было, что Большевичка отомстит. Витя не сомневался, что его ожидают крупные неприятности и втайне раскаивался в своей смелости. Но в то же время испытывал гордость оттого, что отомстил Большевичке.

Вопреки ожиданиям Вилена не вернулась. Ни в тот день, ни на следующий, никогда, и никому из учителей, вероятно, ничего не сказала. Не до того было, потому что на следующий день стало известно, что муж Вилены, бывший райкомовский секретарь, застрелился. Через день, рассказывали, его персональное дело по уничтожению колхозного стада собирались рассматривать на бюро крайкома: исключать из партии, отбирать ордена и возбуждать уголовное дело. Хозяин-то новый уже был, железной метлой выметал лебедевские кадры – и он, то есть муж Виленин, говорили, дрянь-человек, из на всё готовых, колебавшихся вместе с линией партии, не стал ждать, напился пьяный, пиджак свой надел торжественный с орденами, среди них и новенький орден Ленина, полученный за перевыполнение плана мясозаготовок, и пустил себе пулю в висок.

– Проигрался в партийную рулетку, – сказал отец.

Времена ещё были старые, суровые, хоть и не сталинские, хоронили Вилениного мужа тихо, почти тайно. А Вилена исчезла. Вроде долго болела, а потом уехала в другой город. Витю, впрочем, это не очень интересовало. Главное, не стало нужно переходить в другую школу. Лишь не так давно, в девяностые уже, когда по телевидению показывали съезд нинюандреевских коммунистов¹⁵, одна из старушек показала Виктору Михайловичу смутно знакомой. Но разглядеть как следует он не успел. Да и едва ли смог бы точно опознать после стольких лет.

Виктор Михайлович не знал, что делать со старыми подшивками газет. Везти их с собой в Москву невозможно, да и зачем? Что станет он с ними делать – разве что показывать знакомым? – но, главное, где хранить? Но и сжечь – не поднималась рука. Это было прошлое, не такое далёкое ещё, но тёмное, страшное, забывать о котором нельзя, потому что прошлое не умирает бесследно, а незаметно, по капле, перетекает в сегодняшний день.

Виктор Михайлович считал себя атеистом, не верил ни в каких призраков, однако сейчас ему стало казаться, что он разворошил старое осиное гнездо, где много лет дремали именно призраки: кроме пожелтевших от времени газет, в чулане оказались собрания сочинений Ленина и Сталина, «Краткий курс», тома истории с перечёркнутыми, замазанными чернилами лицами¹⁶ и ещё какие-то партийные книжки. В своей квартире, даже если бы имелось свободное место, он не стал бы хранить эту раритетную рухлядь. Старые газеты и книги вызывали у него смутное беспокойство, порой казалось, вопреки всякой логике, что на их страницах могут ожить привидения. Недаром ночью Виктор Михайлович плохо спал, словно поток времени отнёс его назад, в прошлое, которое он не застал или не помнил, – во сне он видел призраков, кричавших: «Смерть им! Смерть предателям! Смерть космополитам!». Люди размахивали руками, лица их были искажены ненавистью и злобой и, показалось профессору Яблонскому, злоба их была направлена против него. Судя по всему, ему приснилось собрание в институте, одно из тех, о которых Виктор Михайлович прочёл накануне. А утром профессор Яблонский обнаружил, что дверь в чулан распахнута и оттуда доносятся странные, похожие на писк звуки. Он заглянул в чулан, но там никого не было, лишь книги стояли на полках, зато за спиной у профессора Яблонского мелькнула чья-то тень, и на мгновение, отключившись и похолодев, Виктор Михайлович вообразил, будто сам генералиссимус, слегка прищурившись, смотрит на него сквозь оконное стекло.

– «Нервы, – подумал Виктор Михайлович. – Нервы совсем расстроились. Мама... папа... эти газеты, дело врачей... Вроде поезда уже готовили... – папа когда-то рассказывал, что в доме на всякий случай многие годы лежал мешочек сухарей...»

...Виктор Михайлович набрал номер краевой библиотеки.

– Сталин убил моего отца, – услышал он в ответ немолодой женский голос. – В 52-м, перед самой своей смертью.

– Извините, я не сталист, – заверил Яблонский. – Но тут такая фантазмагория... Жалко выбрасывать. Ведь всё может начаться сначала.

– Да, может, – голос женщины стал мягче. – Люди, кажется, всё забыли. Настоящие второгодники. А старые газеты у нас есть. И собрание сочинений Сталина тоже. Хотя, если вдуматься, людоед. Но приносите. Сталин, знаете, в последнее время очень востребован. Не к добру...

Примечания:

¹ Тризония – в советской прессе во второй половине сороковых – начале пятидесятых годов так обозначалась западная часть Германии, оккупированная западными союзниками: США, Великобританией и Францией.

² Ленинградское дело – серия судебных процессов в конце 1940-х и начале 1950-х годов против партийных и государственных деятелей СССР, выдвиженцев из Ленинграда, а также против руководителей и сотрудников партийных и советских органов, и их родственников. Всего осуждено 214 человек, 23 человека, среди них секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, председатель Госплана Н.А. Вознесенский, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П.С. Пошков и др. Многочисленные аресты проведены в Ленинградском университете, в филиалах музеев Ленина, революции, обороны Ленинграда, среди хозяйственных, профсоюзных, комсомольских, военных и др. категорий руководителей.

³ Дело Сланского – процесс в Чехословакии в 1952 году, в ходе которого были ложно обвинены высокопоставленные деятели компартии. Всем предъявлено обвинение в «троцкистско-сионистско-типовском» заговоре. Осуждены, в основном к смертной казни, 13 человек во главе с первым секретарем КПЧ Рудольфом Сланским. Процесс носил выраженный антисемитский характер, направлялся из Москвы.

⁴ Дело врачей (врачей-отравителей) – уголовное дело против группы ведущих советских врачей, обвинённых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Носило выраженный антиеврейский характер, перекликалось с другим, не менее одиозным делом – против членов Еврейского антифашистского комитета.

⁵ Бесновался Жданов А.А. – видный советский партийно-государственный деятель. В 1930-40-х годах один из глав-

ных идеологов ВКП(б). Проводил линию партии на поддержку социалистического реализма. В 1946 году выступил с разгромным докладом, осуждавшим лирику А.А. Ахматовой и рассказы М.М. Зощенко. Этот доклад лёг в основу разгромного постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», положившего начало длительной кампании шельмования и запугивания гуманитарной интеллигенции.

⁶ Безродные космополиты – термин введён в 1948 году в рамках длительной идеологической кампании (1948-1953 гг.) борьбы с «космополитизмом», носившей антисемитский, антиинтеллигентский и антизападный характер и ставившей своей целью насаждение «советского» патриотизма, сочетавшего в себе, по замыслу Сталина и подчиненных ему идеологов, элементы «квасного» патриотизма и так называемого «пролетарского интернационализма».

⁷ Ранкович Александр – серб, югославский политический деятель, в течение ряда лет заместитель председателя СФРЮ, в 1946-66 гг. министр внутренних дел Югославии. Организовал репрессии против коллаборационистов (рупниковцы, усташи) и конкурировавших партизанских движений (четники). В конце 1940-х годов, когда Сталин начал борьбу против Тито, Ранкович поддержал последнего, лично руководил репрессиями против сталинистов.

⁸ Капричос – в данном случае серия офортов великого испанского художника Франсиско Гойи, представляющая собой острую сатиру на политические, социальные и религиозные порядки. Наиболее известная работа серии «Сон разума рождает чудовищ».

⁹ Выражение Н.С. Хрущёва.

¹⁰ Высказывание И.В. Сталина на одном из совещаний в споре с Н. Вавиловым, демонстрирующее волюнтаристическое отношение Сталина к законам природы, которые, якобы, могут быть изменены волей большевиков.

¹¹ Куйбышев – так в честь видного деятеля большевистской партии В.В. Куйбышева назывался город Самара в 1935-1991 годах.

¹² Антипартийная группа – официальное название для обозначения группы высших партийных деятелей (В.М. Молотов, Г.М. Маленков, А.М. Каганович), попытавшихся в 1957 году сместить Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Смещены со своих постов и исключены из партии.

¹³ Кузькина мать – идиоматическое выражение, неоднократно употреблявшееся Н.С. Хрущевым.

¹⁴ Бирнамский лес – в трагедии В. Шекспира «Макбет» говорится, что *«от всех врагов Макбет храним судьбой, пока Бирнамский лес не выйдет в бой»*. Противники узурпатора Макбета окружают его замок, маскируясь ветвями из Бирнамского леса и слуга в панике сообщает Макбету, что лес движется.

¹⁵ Ниноандреевские коммунисты – основанная в 1991 году немногочисленная партия коммунистов-ортодоксов: Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ).

¹⁶ Тома истории с перечёркнутыми, замазанными чернилами лицами – в годы массового террора (30-е – 50-е годы) возникла традиция перечёркивать, замазывать чернилами или «выкалывать глаза» многочисленным изображениям «врагов народа». Книги «врагов» изымались и уничтожались.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

СМЕРТЬ ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

записки из реанимации

Восемь суток мне пришлось провести как пациентке в одной из одесских клиник, в отделении интенсивной терапии. Жизнь в реанимации тянется пунктиром. В светлых промежутках возник дневник. На моих глазах врачи спасали людей. И всё же пять сердец перестали биться.

Чтобы выдержать и рассказать об увиденном и понятом, надо работать. Я не могла не писать.

РАЗГОВОР С ДОКТОРОМ

– Вы не сумеете, – сказал врач, – написать о нас изнутри отделения, как не напишете и изнутри проблемы. Они неразрывны.

– Кто они? Проблемы?

– А не улыбайтесь, – они – это мы с вами. Как минимум, чтобы был реаниматор, нужен умирающий. Вас ведь реаниматоры больше интересуют?

- Меня – всё...
- Неправда ваша. Всё интересоваться не может. Всегда что-то главное.
- Да, – соглашаюсь. – В моём интересе главное всего тапочки.
- Какие тапочки?
- Без задника, «ни шагу назад» называются. В реанимационных отделениях предпочитают именно такие. Для пациентов.
- Я же говорю, ничего у вас не получится. Не нужны тапочки нашим больным. Причём здесь тапочки?
- При душе.
- Так вы о душе хотите писать или о реаниматорах?

ТАПОЧКИ

Толстый мужик смотрит напряжёнными голубыми глазами. Ворчит:

– Тапочки на седьмом этаже остались, принесите мне тапочки.

Ему принесли.

– Та не эти, у меня свои есть!

...В палату – синюю комнату с четырьмя большими окнами, где свободно разместились шесть кроватей – его перевели из гастрохирургии в день моего поступления. Комната синяя из-за кафеля, которым выложен пол. А стены покрашены голубым. Аквариум не аквариум, вполне подойдёт – палата интенсивной терапии. Интенсивной – слово голубого оттенка.

Что мужик вредный, сразу в глаза бросалось. Из ворчунов. Замученный болезнью, намученный лечением...

Дежурный врач с решительным молодым профилем раздражённо говорил медсестре:

– Чего рыпаешься? Посылает? Пусть поднимется сам, боров, нажрался, блин, а теперь его поднимай!

Хочется ему...

Ему хотелось то мочиться, то дышать, то чтобы тапочки принесли.

Медсестра Ирина помогла больному сесть. Он не реагировал на недовольство врача – притерпелся. Тапочки попросил принести в очередной раз. Вот тут ему и принесли его тапочки. Целый день жил, не снимая тапочек. Коричневые шлёпки из выворотки.

Весь день он в них не мог от койки отойти. А куда и зачем? Вся жизнь сосредоточилась в голубом аквариуме на кровати с особым названием – *функциональная послеоперационная*. Она то прямая, то под наклоном, то пополам складывается. А под ней и с неё висят-свисают трубочки, как сытые дождевые черви, почти бесконечные в своей резиновой растянутости. Окунаются носиками в бутылочки с разноцветными жидкостями – жёлтыми, красными, коричневыми... Вторым носиком живот дядечкин щупают, всасываются, и он их ласково похлопывает, поглаживает осторожно. Уговаривает?

Не уговорил. Когда сбегались к нему, к его дождевым трубочкам, я всё под кровать пыталась заглянуть, сквозь пританцовывающие ноги в белых бахилах докторских – стоят ли тапочки?

Так и ушёл от бригады реаниматоров дядечка в тапочках «ни шагу назад», так и ушёл куда-то за полночь...

АВОСЬ ОБОЙДЁТСЯ

– Бабушка, ну что ты прыгаешь! Тебя уже привязали, и на подсове лежишь, и в груди у тебя ножницы торчат («русское чудо» называются: когда грудину, зацепив за живое, оттягивают грузиком – бутылкой с водой на бинте, закинутой за высокую спинку кровати, чтобы дыханию не мешало и сломанным рёбрам и не задохнулся бы больной), что же ты всё прыгаешь!.. – приговаривает медбрат Коля, расправляя перед разбитым лицом старушки чистую пелёнку. – Вырви, бабушка, а не прыгай, – уговаривает он.

Но старуха не соглашается, кричит:

– Ведро дай!

Не может в чистое...

Её убили вчера вечером.

– Кто убивал, бабушка?

– Чужие.

– Что же скорую сразу не вызвали?



– Так авось обойдётся?..

Не обошлось. Прооперировали ночью, более чем через сутки: сломанные рёбра, разрыв селезёнки, руки-ноги в ожоговых волдырях.

– Тебя что, пытали, бабка? Кто?

Молчит, смотрит. Разбитые глазницы, а из чёрных провалов – глаз в катаракте и глазок – голубенький, выцветший, недоумевающий. Семидесятидвухлетний.

ХУДО-ТО КАК

За голубой разделительной полустенкой между женским и мужским боксами вторые сутки – двое покинутых мужчин, послеоперационные.

У правого от окна на предплечье «Не забуду мать родную» и дата – 1923. Молчун. Всех-то слов – «извините» и «не надо». Остальное взглядом. Поэтому сестричка в его сторону с напряжённым вниманием – не прозевать чего-либо.

Левый – холёный, из начальников. Голый, без сознания. Всё равно видно, что из начальников. Когда пришёл в себя, сказал: «Здоровеньки булы!» – удивив всех. После затянувшейся паузы повторил: «Здравствуйте». И, нахмурившись: «Утку, катетер, медбрата!».

Медбрата не нашлось, справился с медсестричкой. И опять потерял сознание. Уже из-за барьера добавил: «Худо-то как».

Красивый человек, хоть и начальник.

УМНОЖАЮЩЕЕ ЧУВСТВО

Ко мне здесь хорошо относятся. Потому что я умываюсь сама, регулярно глаза подвожу карандашиком, а «подключички» – подключичные катетеры – нашу как украшения, напоказ. Они у меня не на узелок, а бантиком завязаны – прикрывая пробочки.

Кокетство не может повредить женщине даже в отделении интенсивной терапии, если оно целомудренно. Моё – целомудренно. Я хочу, чтобы работая со мной, красивая сестричка Любочка с пуговично блестящими глазами улыбалась без брезгливости. Её улыбка для меня индикатор: всё в порядке, я в порядке.

Красивая игра для красивой девочки Любочки. Ей со мной не затруднительно быть сострадающей.

У медсестрички Светланы на мою игру иная реакция. Она смущенно говорит: «Разрешите, я простыни вам переменю», – и убирает забрызганные кровью. Врач, ставя катетер, промахнулась и... правильно пробила грудину со второй попытки (когда я готовлю и приходится разделять курицу, нож с таким же звуком входит в куриную грудинку).

Светлана не забудет положить возле моей подушки чистую салфетку (я заметила, она всегда выбирает для меня с голубым васильком в уголке), и всегда возле моей тетрадки лежит остро заточенный карандашик. Света помнит, что я пишу простым карандашом.

Эстетическое чувство Светланы не самодостаточно, она усиливает его этическим. Соприкосновение с красивым и чистым рождает потребность умножить красоту и чистоту.

Оказывается, сострадание – чувство умножающее!

ЗДОРОВЕНЬКИ БУЛЫ

У них ко всему отношение разное, у этих милых девушек, прикасающихся к боли и смерти ежедневно.

Любочка, состоящая из шеи, ног и отлично сидящего халатика, честолюбива.

– Поеду в Штаты – за два года двадцать кусков и лучшая аппаратура, – и пренебрежительно толкнула ножкой «жужжалку», аппарат для гемосорбции, а руки в это время промывают одноразовую систему для внутривенных вливаний. Потому промывают, что её при необходимости ещё попользуют. Необходимость в системах постоянна. Нехватка – тоже.

– Любочка, так одноразовая ведь!

– Что же делать... и потом, это от вас – вам же! Авось не помрёте!

– Авось уже было, по-моему, – говорю. – Со старушкой.

– Не смотрите на жизнь мрачно, – заявляет Любочка, – мрачно надо только под ноги смотреть, чтобы не оступиться.

Используя повторно одноразовую систему, Любочка не оступается. Она выполняет медицинский долг. У неё нет возможности выполнить его гигиеничнее. Или нет привычки? Но это не только её вина.

Светлана тихая, в милых кудрях из-под голубенькой шапочки. У неё есть дети, и поэтому нет апломба Любочкиной невинности, невежество молодости вытеснено наработанным умением незаметно всюду поспевать: капельницу поставить, вынести утку, стены протереть мокрой тряпкой и ещё много всего совместить – например, при надобности адреналин в сердце ввести.

Врачи и средний персонал в реанимации почти не различаются по функциям – все делают всё, а нянечек здесь нет. И для такого дела, как подмыть и спустить мочу, извините, нужна квалификация. Иначе из-за мелочей, которых у службы реанимации не бывает, можно потерять отвоёванного у смерти человека.

Светочка успевает и врача подменить при необходимости, и передать Любочке, что у гематологов плащ за двести – «как раз на твой рост». Сидящая за протёртым Светочкой столом круглосуточного поста Любочка расспросит, какого плащ цвета и почему двести, а не сто пятьдесят, и побежит примерять. А Света пол дотрёт, забрызганный желчью из бутылочки, которую разбил стесняющийся, с «Не забуду мать...», и присядет на Любочкино место. Но посидеть не дадут.

Доктор Илья скажет: «Блин, остановка...».

И Светочка понятливо зазвенит шприцами (здесь всё ещё многоцветные) и вложит в требовательную руку врача адреналин, упакованный в надежду с длинным жалом, – а вдруг да оживит внезапно тормознувшее сердце красивого начальника?

«Трахнуть придётся», – вновь ругнётся Илья, и Света подкатит польский аппарат, чтобы от электрического заряда заработал «мотор» начальника, но уже хекнула грудная клетка «Здоровеньки буль» под крепкими ладонями реаниматора в последний раз. Не поможет физика... Здоровеньки булы.

СТЫДНО ОТОБРАТЬ

Все медики, как китайцы для европейского человека, на одно лицо. Белизна халатов и шапочек ослепляет, белый цвет нивелирует то индивидуальное, что ты едва успеваешь выделить – сквозь уплывающее сознание – в подошедшем к тебе.

Но вот прошло время – привыкаешь и постепенно учишься отличать Илью по вечному его «блин», а Олега – по белозубой улыбке. Игорь Иванович определяется привычкой вытирать вымытые руки о свежеперестеленную простыню на освободившейся функциональной кровати, изящно опираясь то костяшками, то ладонями.

Женщин-медичек в этом отделении меньшинство. Мера индивидуальности проявлена косметикой. И выражением глаз. Глаза-пуговицы выразительны по-акульи: круглая дура, но схватчива, чтобы «всё как у людей было». Этим и примиряет, её легко корректировать. Узкий взгляд сквозь: этой сейчас не до тебя, и никогда до тебя не будет – свои проблемы...

А если нормально смотрит на тебя и рукой прикасается: не больно? Как ты, лучше? – становится спокойнее. У неё всё нормально – и у меня будет нормально.

Их немало, смотрящих и прикасающихся рукой: не хуже ли тебе?

Их, слава Богу, большинство.

Ещё есть доктор Филипп. Удивительный. Так и видится дрыгающий пятками младенец в надёжных Филипповых руках. Разговаривает доктор наклонясь к собеседнику и губы трубочкой, но в позе натуги нет, просто Филипп устремлён к пациенту, и это в нём прекрасно.

Хочется ему на жизнь пожаловаться, доверить сокровенное, но останавливает стеснение в груди: стыдно отобрать у него время и что-то ещё, чего может не хватать другому, более нуждающемуся, чем ты. Наверное, напрасное стеснение. Трудно представить, что Филиппу не хватит внимательной расположенности к другому.

И ЕЩЁ ОДНА НОЧЬ

– Катя умирает, – первое, о чём я услышала, поступив в реанимацию. А что за Катя?

Потом, позже, врач сказал:

– Не ходите через правую дверь (из палаты два выхода). Ходите через мужскую половину.

Катя, наверное, умерла, – подумалось. Но нет, в коридоре из-под мохнатого коричневого одеяла на всё такой же функциональной кровати, которая, оказывается, выезжать может – большие удобные



колёса, – виднелись крупные мужские ступни в носках, тоже коричневых.

...Катя каждый день давала о себе знать приближающейся смертью. То кто-нибудь спрашивал: «Катя как?». То женщина в платочке, завязанном по-деревенски, стояла у входной в реанимацию двери с осунувшимся лицом, плакала. То другая, на эту женщину похожая, но моложе – шептала что-то, ломая пальцы, – мама и сестра Кати. Была ещё девочка шестнадцати лет. Дочечка Катина.

– Да кто же такая эта Катя? – спросила я у дежурной сестрички на пятые сутки. Что за Катя, за которой смерть пришла, а она всё держится, или её этот свет держит, на тот не отпускает – слезами мамиными, руками докторовыми...

– Из бухгалтерии больницы, наша Катя. Заболела желтухой, осложнение... Мучается-то как, бедная... Хорошая была женщина.

Резануло это «была» – живая ведь.

...Шли шестые сутки Катиного межвременья. Я спала.

С вечера привезли мальчишку – семнадцать лет, мотоциклист. Крови много; расколот череп, перелом основания... Врач прибежал почему-то с настольной лампой. Оказалось, глазной врач.

Мальчишка всё кричал, кричал, а потом ему в рот вставили черную гофрированную трубку аппарата – реаниматоры его гармошкой называют. И мальчишка притих. Загнал...

Проснулась я в начале третьего. Думаю, что это я проснулась? Завтра гемосорбция, завтра трудно. Нет, кажется, спать уже не надо. Более важное что-то наступает. Более важное.

Поднялась, старуху проверила, что справа от меня лежит, описалась. Значит, жива пока.

Через мужской зал прошла: сестрички нет на посту, мужчины, трое, спят. Все дышат. Одного водичкой напоила и вышла в коридор. А из чужой палаты на меня глаза смотрят. Тоскливые. Посмотрели мы друг в друга. Подошла. На кровать присела, и заговорили мы о важном. Девочка совсем. Самоубийца.

– Что вы, – говорю, – нельзя! Не понимаете, грех какой? Для всех, остающихся тоже! Дети есть?

– Двое. Шесть и полтора.

– Господи, неужто жизнь так достала? Чем же это?

– Топором мужниным, – ответила.

Говорю:

– Братство есть – самоубийц бывших, не знаете?

– Не знаю.

– А вот когда в ночи, как мы, встречаются, то нужно договор заключить, что никогда больше – ни в помыслах, ни наяву, никогда – руки на себя не наложите. А если случится,... то примите грех и за побратима. И ему тяжело придется.

– Да, – говорит девочка, – я понимаю теперь. А вы что, тоже?

– Нет, я не то же. Другое я. Но про горе тоже всё знаю, так что давайте договор такой заключать. Чтоб от вашего греха подальше. Ну что, согласны?

– А вы не боитесь? – и жжёт глазами.

Выговорила она мне всю жизнь свою двадцатисемилетнюю. Хорошая жизнь, вот только... Сынок тяжело болен, странной болезнью, хлеба ему есть нельзя, ни каши манной, ни печенья. И никто про эту болезнь ничего не знает, кроме редко какого доктора специального... Муж вот... хороший, только он в ГАИ работает, красивый... Пьёт. Там все пьют, работа такая. А он ещё и сам на сам, и с друзьями, хотя какие они дружки? Однодельцы. Напьётся – бьёт, а как с топором погнался, она и выпила таблетки от ужаса безысходности.

Катя в это время за нашей спиной застонала и вскрикнула. То лежала молча, без сознания. А чем разговор у нас страшнее и серьезнее, тем беспокойнее становилась Катя.

– Что она мечется? – говорю.

Девочка расстроено: мама над ней сегодня плакала опять, «что ты, Катенька, распоряжений никаких не сделала, что ты умираешь, ничего не сказав?». Зелёнкой прыщик ей прижгла, – так Катя среагировала! Застонала в ответ – впервые за последние дни. А когда ей мама губы водой смачивала, она мамины пальцы прикусила – почувствовала...

Ушла мама, Катя вот всё и мечется, а теперь кричать начала. Распоряжения дать хочет?

Тут мне словно голос какой сказал: поговори с Катей.

– Катя, Катюша, – тихонько к ней подошла – что ты, зайчик, мечешься?.. Дома у мамы всё в порядке, и у сестры твоей, и с дочечкой нормально. Что ты беспокоишься? Ты усни, маленькая, засыпай, а о распоряжениях не печалуйся. Родные у тебя хорошие, всё будет правильно у них, спи...

«Бог», – вдруг подумалось, и вслух продолжила:

– Бог твои мучения видит сейчас и поможет тебе. И маму с девочками не оставит, так что засыпай спокойно.

И она затихла, глаза полуоткрыты. Потом прикрыла глаза и уже не кричала больше.

Мы посидели с мамой-самоубийцей, я стихи ей читала. Колыбельную спела. А Катя за спиной вдруг горько вздохнула.

– Видишь, – говорю девочке, – жизнь больше, чем мы о ней понимаем. Душа живёт в теле, но независима от него. Наверно, самое могущественное в мире то, что невидимо и неслышимо, но – чувствуемо... И Бог даёт человеку всё. Даже право проверить истинность собственного бессмертия. Не может разложиться душа, она ведь нематериальная субстанция. И мы не опровергнем этого факта, он по ту сторону логики естествознания.

Без сознания Катя, а душой – слышит. И успокоилась. Понимает, значит.

Катя опять вздохнула – ответила. Задышала спокойнее. Так мы и разговаривали втроём, Катя вздохами отвечала. Когда задышала ровнее, мы замолчали, и я вышла, чтобы не мешать.

Мальчишку-мотоциклиста проверила (спит привязанный) – беспокойный.

А мама его всю ночь в коридоре с мёртвым лицом у стенки. Вышла к ней, молча стул и валидол вынесла. Она – тоже молча – взяла.

Подошла медсестра, сказала на ухо:

– Катя отмучилась.

Пошла смотреть Катю.

Сестричка уже вывезла её в коридор и зелёной на бедре, пониже прыщика, что мама утром смазывала зелёной же, написала: Корачинская Е. И дату – 2.06.90.

Вспомнила, что, когда увезли того, в носках коричневых, осталась в коридоре длинная игла с намотанной ваткой и пузырёк; я иглу в руках повертела, подумала: такие в бутылку с лекарством, когда капельницу делают, вставляют, воздушкой называется. Зачем здесь? Вот зачем, оказывается. Фамилию и дату на бедре писать.

И тут меня прошибло. Какое число написано на Кате? Второе июня.

Годовщина. Точка в точку – двадцать два года спустя.

Катя, Катюша, милая, поклон передай папе моему!

Вот и ещё один человек появился в моей жизни, в один и тот же миг – в одну и ту же ночь, второго июня, человек, с которым я – последняя в его земной жизни – поговорила.

Такая уж мне рифма выпала этой ночью.

Напоминание.

И БЫЛ ДЕНЬ

Маленькую и холодную, её завернули в простыню и оставили лежать в коридоре. Длинная игла с намотанной зелёной ваткой лежала рядом.

Я ходила-ходила мимо, как привязанная, вспоминала её позу, посмертную.левой рукой с почти детской ладонью прикрыт пах. Катя лежала в позе Венеры Таврической (только Венера стоит) – реаниматоры сказали, очень распространенная посмертная поза.

А в другом коридоре на моем стуле, который по секрету от дежурного врача выволакивала я очередной женщине с опрокинутым лицом, застыла Катина мама. Рядом стояла младшая сестра. Смотрели на меня. Ждали, как я расскажу то, о чём говорила с их Катей.

Я рассказала – спокойно и как было. Добавила, что девять дней им плакать не нужно, чтоб Кате не мешать в свет переходить.

Говорю – мокрой от вашего плача тяжелее возноситься.

И мы верили, что Катя вознесётся к свету. Мама послушно слёзы вытерла. Сестренка не смогла.

Нам надо во что-то верить, потому что допустить во главу жизненного угла пустоту или абсурд не по-людски. Во главу угла многие люди допустили Бога. Мы тоже...

Допустили.

У Бога руки слабые.

У Бога руки белые.

О, что мы с Богом сделали!



О, что мы с Богом сделаем...

– У всех руки белые, – задумчиво говорит доктор Олег. – Даже у негров. Вы обращали внимание на их ладошки?

– Отмытые?

– Отмытые, – улыбается Олег. – Так что вы Катиным родственникам сказали?

– Олег, не притворяйтесь, – вам про это не интересно.

– С ними лучше не разговаривать. Я ненавижу родственников, – сердится доктор.

– Не так, Олег. Вы с ними беспомощны гораздо очевиднее, чем... я замаялась.

– Чем с пациентами? – улыбчиво подсказал Олег. И без перехода: Выпьете со мной?

– Мне можно?

– Всем можно. – Покрутил головой и сосредоточенно произнес: – Да. Именно сегодня – можно, за возвращение ваше с того света.

– У вас тяжёлая работа, – сказала.

Ему не понравилось. Парировал:

– У вас тоже.

– Вы о *болеть* или о *писать*?

– Я о любви к родственникам.

Мне тоже не понравилось.

Надо выпить, согласилась с врачом. Когда не нравится, лучше выпить.

Пошли в ординаторскую и выпили. За здоровье. И родственников тоже.

ВСЕ МЫ ТАМ БУДЕМ

Я лежу в реанимации восьмь сутки.

...Её сердце оживили, и оно теперь стучит через монитор на всю палату. Сначала мешало, как вода, капающая из крана. Но когда осознала, что это стучит сердце, чтобы не прозевать новую его остановку, переносить стало легче.

Иногда оно сбивается с ритма, и тогда в окошечке аппарата белая маленькая змейка ломается неравномерно и некрасиво – как провалы в горной гряде после землетрясения. Здесь, в реанимации, из телевизионных передач вспоминаются самые тяжёлые – и Спитак, и Мехико, и Карпаты с Кишинёвом стоят перед глазами – горами наоборот. Самые высокие пики опрокинуты глубоко в землю.

...Иногда она кричит. Вернее, она кричит постоянно. Само её дыхание – крик, сплошная бессловесная жалоба на жизнь.

Глядя не её распостёртые сто пятьдесят килограммов дышащего женского мяса, задумываюсь о страшном: а надо ли реанимировать? Как о том, надо ли помогать даунам... Ну и о Господе Боге.

Она похожа на трипольскую статуэтку – антропоморфная фигура, сплошь бёдра и на отточии шеи нет головы. Уже нет.

Гуманизм реанимационной службы неоднозначен. Хочется сказать – *двусмыслен*, но *неоднозначен* вроде бы помягче и поточнее.

Чтобы родственники не терзали врачей реанимации, надо бы их допускать ухаживать за телами ещё живых близких. Правда, помещений не наберёшься, и возможностей всегда недостаёт...

Чтобы женщинам не делать аборт, их мужей уже допускают в родильные залы. А чтобы молодость не стремилась покончить жизнь самоубийством, надо от молока матери объяснять, что любовь – это всегда сплошная и естественная функция организма от роддома до могилы, но ещё и не имеющее отношения к физиологии явление духовного порядка. И что только одухотворив физиологично, человек... мы, то есть, приближаемся к совершенному. Паустовский когда-то сказал красиво: ребёнок – это поцелуй, запросивший вечности.

Не справился с болью, испугался тяжести того, что за любовь принимает от большой жажды любви неопытный человек и... вот уже слёзы, и грех отчаяния, и ничего нельзя поправить. Поздно, обрыв...

Не научили взрослые юных правилам поведения в мире своих бесчеловечных проблем – и миллион непоправимых глупостей наделают подрастающие Ромео и Джульетты, и племя молодых Вертеров отвоюет у жизни право на глупую смерть до срока. Потому что молодости свойственно свихиваться от перенапряжения жизнью, одним махом решать проблемы: прекращая и любовь, и жизнь.

Хорошо ещё, если действительно одним махом прекращают. Чаще же по трусости или ленивому

необязательному любопытству – неслухи и самовольники дело до конца не доводят, становясь калеками и обузой себе и близким. А те имеют обыкновение с годами привыкать к горю и тупеть от него. И тогда уже совсем и всем становится худо. Мается калека по собственному выбору, мается его семья...

Реаниматоры – первые помощники в горьком этом деле. Горьком и неблагородном. Гуманизм вообще поражает кровавостью и неблагородством. Если во главе угла не поставлен тот, кто там действительно есть. Есть независимо от того, поставлен или нет.

...И наступает момент, когда душа унижена до праха. Когда откажешься от утешения. Когда и при усмешке заболит сердце. Когда врач в пациенте теряет личность.

Это страшный момент для больного. Это начало его конца. Дальше лекарь имеет дело с телом. Он его лечит, регулирует. Отлаживает, как механизм.

Этот страшный момент, бессознательно предшествующий началу работы, опасен для обоих: теряя в другом личность – свою ли, его ли, в сомнениях и автоматизме долга – всегда ущемляешь человека. Человек получается в остатке. В остатке человека быть не может! Только в прибывании.

Вероятно, здесь и есть главная ошибка реанимационной службы – если она вообще есть, эта ошибка...

Думаю, что правильная мысль в рассуждениях о реанимационной службе и людях этой службы – «Спаси Бог!».

И сокращённая форма этой мысли нашим атеистическим безжалостным временем – «Спасибо!».

ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ

ЕСЛИ ТЫ В СИЛАХ ОСТАНОВИТЬСЯ

К ПОРТРЕТУ

автор – художник Рафаэль Багаутдинов

Ни взгляда оторвать, ни выпустить на волю.
Затейливый пейзаж, сгодившийся на фон.
Но ты уже к нему прикован, им присвоен,
до капли растворён, навечно пригвождён.
Как отзвук давних слов, плывут другие лица.
Иные имена вползают в сюжет.
И странный этот свет струится и двоится
в ночи – как явь и сон. Как образ и портрет.

Там полная луна парит на пьедестале
и символов ночных неразличима нить.
И медлишь потому, уставившись в детали,
что страшно сделать шаг – к загадке подступить.
Цветного витража, растрескавшейся фрески
осколок, лепесток, чешуйка и пыльца.
И полуоборот решительный и веский
над призраками снов царящего лица.

Которое к себе влечёт неотвратимо –
пленительный изгиб, таинственный обет.
С рождения души наложенная схема,
Впитавшая в себя небесный этот свет.
А ты опять ему внимасшь богомольно,
глядишь во все глаза, следишь издалека,
как тонкая рука роняется безвольно –
трагический излом поникшего цветка.



Продолжить этот жест могли б клинок и гарда,
опущенные вниз, – окончена дуэль.
Улыбкою б черты чуть тронул Леонардо,
но так – трезвей – её увидел Рафаэль.
Обычный человек, нерасторопный гений.
Всего вначале он и сам не знал, но вот –
свободный результат медлительных прозрений,
мерцая и маня, пред нами предстаёт.

И дальше – суть видна как прорастанье зёрен,
как отповедь тоске, как парафраз обид.
И дальше – каждый штрих случаен, но бесспорен.
Он всё соединит. И снова раздробит.
Глаз этих глубина как ангельское пенье.
И как благая весть из неизвестных стран.
Как под рукой – волос спокойное кипенье.
И кожи белизна. И горделивый стан.

Что самоценно и что параллельно славе –
неизъяснимость слов, объятий нежный хруст.
О чём не рассказать, когда раздует пламя
неистой свечи дыханье этих уст.
Порхают мотыльки в трепещущем полёте,
настойчивая кисть вскрывает новый пласт –
простой и внятный смысл – что и по части плоти
высокий этот дух любому фору даст.

И всё же стоит быть поэтом и изгоем,
и смутно ощущать, как с плоскости холста
нисходит в бранный мир провидческая горечь –
бессмысленна любовь, беспцельна красота.

И сколько надо слов отбросить и растратить,
пускать Пегаса вскачь, переводить в полёт,
чтоб истину постичь или себе потрафить, –
а там – кому дано, возможно, и поймёт.
Оставить лёгкий след, едва заметный слепок
своей души и знать – хоть вечен бег времён,
но их могучий рёв, неуловимый лепет,
по сути, для тебя – не более чем фон.

Вот я и в Раю. Тут даже не тесно.
Кущи. Птички. Фонтаны. Словом, почти как надо.
Только я для себя всё же выпрошу место
у толстой стены, отделяющей Рай от Ада.

Пусть флейты вокруг так уповательно блеют,
призывая забыть все мирские печали.
Но эта стена, хоть немного, да греет
холодными здесь, как и везде, ночами.



Там за нею бушует адское пламя.
Серный огонь выжигает людские страсти.
Чтоб из того, что однажды случилось с нами,
ничего не осталось – ни горя, ни счастья.

Я-то в Раю по ошибке. Вернее – случай.
Но иногда, если совсем уже худо станет,
с твоей душою – не такою везучей –
через стенку перестукиваться пытаюсь.

*Пение сироты радует меломана.
Посиф Бродский*

Ария. Голосок тоненький и дрожащий.
Звук к языку присох, ищет и не обрящет.

Так собой увлечён и красотами слога,
даже на слове «Чёрт!» не запнётся о Бога.
В пении до зари всё, что спеклось и спелось,
рвущийся изнутри неутолимый мелос.
Прошлое теребя и заломивши руки,
иногда про себя, чаще в открытом звуке.

Бывший больничный сад. Воспоминаний свалка.
Прежних его услад, как и себя, не жалко.
Трепыханье пичуг с их переливом чистым.
Общий у всех недуг. Утоление – свистом.
Соткан диагноз весь из недомолвок и пауз.
Бестолковая спесь, – дескать, сколько осталось!

Многое на ходу делая по нитью,
обретая судьбу, то есть, идя за нитью,
верен теме одной, женщине, впрочем, тоже,
балагур расписной, на себя не похожий,
дует в свою дуду, ноту сквозную тянет,
разную ерунду мелет, не перестанет.

Это такой расклад, что не имеет срока.
Возвращаясь назад, но не ища истока,
лучше глаза раскрой – самое милое время
чёрной ночной порой, чтоб таращиться в темень.
Чуть, как реет дух за стеной вертограда.
Может, не стоит вслух? И вообще не надо?

Но всесильна тщета, зависть даже потешна.
Как и гордыня та, что почти неизбежна.
Ария подбодрит, но, извиваясь странно,
вряд ли удовлетворит горнего меломана.
Ждать ли благую весть иль дожидаться сдачи?
Рядом, похоже, есть Кто-то ещё, тем паче.



Нам не предъявит счёт поле священной брани,
обоюдный зачёт делать никто не вправе.
Если ты, словно в сон, в их взаимные распри
до конца погружён, можешь постигнуть разве
тривиальный ответ, чудо расхожее, что ли,
как умаление лет, умноженье юдоли.

Горе, воздевши взор, вмешиваться не к спеху
в этот извечный спор, чтоб не выпасть в прореху.
Или же впасть в сарказм, в глупость, которой близок
обыкновенный маразм, не способный на вызов.
Но у этой черты просветляются лица.
Остановись, если ты в силах остановиться.

Росчерк черновика? Только не слишком грешный
всё поёт сирота, полностью постаревший.

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

В созвездье впечатлительных гостей
руины поэтических страстей
воздать согласны каждому по вере.
Естественное сопряженье скал
собою представляет пьедестал,
где профиль будет не один примерян.

Пролог, переходящий в эпилог,
Возвышенно высокопарный слог,
Созвучия, богатые фонемы.
И сквознячок уносит лёгкий пар,
Отходы снов, подкормки вялый жар,
Оскомины навязчивые темы.

Вещать посредством чистого листа,
смежив глаза, не разомкнув уста,
лишь изредка душою – чаще чревом.
А в промежутках оседлав кровать,
перебиваться, как перебивать,
и знать – тебе всегда внимает Ева.

Но всё-таки тащиться по следам,
что оставлял стреноженный Адам,
и загребать веслом по сонной глади,
попутно занося себе в актив
недопрочтенной жизни детектив,
и так и не решив – чего же ради.

Да, многолики здешние места,
куда я возвращаюсь неспроста
по прихоти души. Но, в самом деле,
их снова обходя за пядью пядь,
не понимаю – что могу понять
в истоптанном словами Коктебеле.

Господь прорёк мирам не исчисленным –
Я есть Спасенье, Путь, Первопричина!
И Голос покатился по Вселенной
воистину как горняя лавина.

Вознесено духовное над плотским.
Но расстоянья – трудная помеха.
До нас дошли всего лишь отголоски,
обрывки галактического эха.

И постигая вечные основы,
цепляясь за доступные детали,
ниспосланное нам Господне слово
отчасти поняли, а, в целом, – переврали.

Но в трепете благоговейном, или
чтоб не было Ученье слишком сухо,
его во славу Божью расцвелили
всей мощью человеческого духа.

Сложили гимны. И воздвигли храмы.
Предивно расстарались богомазы...
И в завершенье возглашали – Амен! –
в языческом, по сущности, экстазе.

Но, в общем-то, – не велика потеря.
За то Господь нас не осудит строго,
что истово и просветленно веря,
мы поклоняемся – Макету Бога.

Неизъяснимый взлёт – паденьем искупаем.
И ржавеет душа в глуши на якорях.
Как саблезубый тигр, я прочно ископаем,
как снежный человек – я где-то там в горах.

А ты – доносит слух – всё больше хорошеешь.
И видно потому, мечтаю об одном.
Но только раз в сто лет высовываю шею,
чтоб озеро Лох-Несс ходило ходуном.

Как прошлое забыт и как преданье вечен.
Но прилетит к тебе однажды НЛО.
И выйдет из него зелёный человечек.
И скажет – Это я! – и больше ничего.

—

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО**В ТВОЁМ САРКОФАГЕ**

ОРХИДЕЯ

Лауре Цаголовой

Что ты делаешь в мире расколотом,
Орхидея с расстегнутым воротом?
Как ребёнка по редкостной родинке,
Ищешь берег неведомой родины...
И цветов ожидаешь реликтовых,
От страстей воспаряя к религии...

Я живу между плахой и молотом,
Орхидея с расстёгнутым воротом.
Человек там не ждёт сострадания,
Там за встречей идёт расставание;
Там уже не излечат поэзия,
Мумие для души и магнезия...

Снова птица порхает над городом,
Орхидея с расстёгнутым воротом...
Это наших исканий разведчица
Не находит свершенья – и мечется
Среди глади лазурной безмолвия,
Разрывая мне сердце, как молния.

Что же в мире послужит нам золотом?
Дар любви в этом мире расколотом!
И за то, что мы станем крылатыми,
Сердце, сердце мы отдали платою...

САНТА-ЕЛЕНА

Там, где зыбучи пески,
Море и пена,
Лечит меня от тоски
Санта-Елена.

Ей от природы дана
Власть исполина.
Кистью небесной она
Лечит от сплина.

Манит бездонная синь.
Смотримся в даль мы.
Взгляд свой куда ты ни кинь –
Море и пальмы.



Там, где верстается путь,
Ждёт перемена,
Верной мне спутницей будь,
Санта-Елена.

*«Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски».*
О. Манделъштам

Отчего твоё сердце не птица,
Что вещает рождение дня?
Прилетело воды бы напиться,
Да зерна поклевать у меня...

Вы, сердца, к своим милым летите,
И, оковы земные поправ,
Божьей спицей меня распустите,
Словно матушки Волги рукав...

И незримую тайну ловите,
И, спасаясь от рыжей тоски,
Расплющите меня, растащите
Вы на синего неба куски!

Чтоб и в неге ночной, после бала,
И среди огнедышащих бурь,
Вас, бессмертных душой, согревала
Мной манящая в небо лазурь.

Я бормочу стихи, как мантру,
А ты шагаешь по Монмартру.
Ты ищешь вещь из терракоты,
Но от меня так далеко ты,
Что я не вижу этой сцены
На шумной набережной Сены.
Но знаю я, гуляешь там ты,
Привстав за чудом на пуанты.
И нет сомнения: оттуда
Пуантилизма веет чудо.
Огромны грёз резервуары,
И спят в них сердца мемуары.
В глазах твоих – покуда здесь я,
Я нить тяну из поднебесья.
Стрельнёт бессмертие из лука –
И вмиг закончится разлука.



Когда ты на землю вернёшься родную,
И я, как богиню, тебя поцелую, –

Так ранней росой предрассветные дали
Встающее Солнце своё целовали;

Погаснут огни золотого Парижа,
В тоскующем сердце заполнится ниша,

И пенные волны протяжно и гулко
Бесценную сделают нашу прогулку.

И майя отбросят свои покрывала,
И жизни для счастья покажется мало;

И мало для сердца окажется мира,
И росы на травах блеснут, словно мирра...

РАВНАЯ

*«Пошли мне, Господь, второго...»
Андрей Вознесенский*

Тайною мира раненный,
В сердце пряду мечты.
Господи, дай мне равную –
Если всемогущ Ты!
Ту, что сыскать непросто мне,
Одолеев тьму...
Брошенным в море островом
Зябко жить одному!

Пусть на картину женщина,
Ляжет, как светотень.
И, красотой увенчана,
Ночь превратит мне в день;
Ласковая и славная,
Света в очах не счесть.
Боже, пошли мне равную, –
Если такая есть.

Боже, пошли мне нежную,
Словно Твоя рука;
Чистую – или грешную,
Лишь бы была тонка...
Станом, умом и тайною –
Мыслями о былом.
Боже, пошли мне равную
В мой опустелый дом.



Вновь не везёт мне с крыльями,
И тяготит предел.
Но красоту открыл бы я,
С женщиной – полетел!
С неба осыпан манною,
Тихо шепчу в веках:
«Боже, пошли мне равную:
Сир я, убог и наг».

...Лавою чувств мгновенною
Свяжет нас крепко нить.
Огненную Вселенную
Станем мы с ней творить.
Если, не поняв главного,
Бросит она меня,
Боже, пошли ей равного, –
Мужа, каким был я.

Е.К.

В этом сказочном Коктебеле
Мысли моря летят к тебе ли?
Только ветер, лишь волн атака
На сокровища Карадага.

И, куда ты ни кинешь взоры,
Справа – горы, и слева – горы.
И, печалью позабыта,
Ты выходишь, как Афродита,

Из воды, и подвластна плену,
Морю ты возвращаешь пену...

CHAMBERMAN

Камерный человек сидит на берегу моря
И слушает рокот волн.
Он протирает канифолью
Смычок своего одиночества.
Музыка! Фиолетовые волны небытия
Накатывают одна за другой,
Дублируя песочные часы берега.
Как же тесно мне в твоём саркофаге, Время!
Земля раскидывает над собой
Шатёр звёздного неба.
Море! Оракул души бессмертной!
Буря и штить равновелики
В сердце камерного человека.
Весь видимый мир –
Грот его космического уединения.



ВЛАДИМИР КАДЕНКО

«УЖЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДАТЫ...»

1801 ГОД

Над Невским – звон. Витийствует сенат.
Малиново, легко колоколами
Гудит Москва. Как прежде, Зубов рад
Заняться властью житейскими делами.

Разделавшись с нагайкой и уздой,
Пришла пора восторга и азарта.
О, первый день свободы молодой!
Безумный день! Двенадцатое марта!

В порыве слёз, покинув шумный зал,
Барятинские потчуют дворовых.
Течёт вино. У Оболенских бал,
И мальчики шалют у Муравьёвых.

Резвится Пушкин, в новое одет,
Стоит Вильгельм, по сторонам глаза,
Не ведая, что через десять лет
Отпразднуют открытие лица.

Седой Кавказ не покорён ещё,
Клокочет революция в Париже.
Всё впереди! Радищев возвращён!
И Аракчеев к трону не приближен.

Спит Австерлиц. Всё впереди. Пока
Казачий конь не пьёт воды днестровской.
Кровь Кульнева куда далека.
Орудий нет на площади Петровской.

И юный Александр ещё не врёт,
Стремясь найти для совести лекарства.
Москва гудит. Безумствует народ.
И русский царь венчается на царство.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОХОТНИКА

Подполковник Лунин отправился на охоту.
Подполковнику Лунину легко затеряться в полях,
Где берёзы поклоны отвешивают оттаявшему болоту,
Где травит линялого зайца ясновельможный ях.

Подполковнику Лунину, как видно, давно за тридцать,
Будто б ему не по летам к небу глазами припасть.
Ружьё холодит ладони, летит перелётная птица,
А впрочем, охота не главная, не первая Лунина страсть.



По польским полям без выстрела всадник к Варшаве скачет,
 Лунин успеет к сроку – ветер свистит в ушах.
 Мелькают кусты придорожные, предместье вдали маячит.
 По сути, остался Лунину самый последний шаг.

И где-то у внешней заставы всадник настиг карету,
 И улыбнулся Лунин лукавых очей синеве...
 «Czy jutro spotkamy się, Łunin?»¹ Да только вместо ответа
 Лунин промолвил уклончиво: «Ktowieotem, pani... ktowie?»²

Для подполковника Лунина поэзия – та же охота,
 Он продолжает любезничать, уста расточают мёд...
 Женщина звонко смеётся, и, словно припомнив что-то,
 Лунин тоже смеётся, и дьявол его поймёт...

Лунин живет, как дышит, времени не считает,
 Лунин легко проходит мимо дворцовых постов...
 Апрелем окна распахнуты, музыка в залу влетает...
 Слышится голос Лунина: «Ваше высочество, я готов!»

Над Вислой сады белеют... Окончилось бездорожье,
 Можно в неделю домчаться до берегов Невы.
 Лунин шутит с фельдъегерем, солнце чувствует кожей,
 Ловит в лугах под Вильно светлую зелень травы.

¹ Завтра встретимся, Лунин? (*польск.*)

² Кто об этом знает, пани... Кто знает? (*польск.*)

1812 ГОД

Когда в России пробуждалась вера,
 Кренился Кремль, и ветер гнал молву,
 Большая рать в исходе вандемьера
 Оставила умершую Москву.

Но приближался праздник вознесенья
 Для тех, кто пал, кто стал землёй полей,
 Для тех, кто жив, кто ожидал спасенья
 В толпе отважных жалких королей.

Уже тревога наполняла взоры,
 И медленно сводили их с ума
 Холодные, враждебные просторы,
 Где в каждом доме голод и чума.

И им казались детскою игрою
 Огни сражений, скрежет гильотин...
 Все понимали – трусы и герои –
 В снегах не уцелеет ни один.

Пока Россия множилась полками,
 Кряхтя, плевали в руки мужички,
 И бежали голодными волками
 В густых бровях разбойничьи зрачки.



Не дай нам, Бог, дожить до тьмы бездонной,
Когда тираны прекращают спор,
Когда, крестясь пред чёрною иконой,
Смиранный раб берётся за топор.

Снова к теплу повернуло –
Быстро спускается мгла.
Птица зарю отряхнула
Медленным взмахом крыла.

Там, за прудом, погляди-ка,
Совы на лов подались,
В полночь знакомо и дико
В роще стволы поднялись.

Судьбы сплетая с травой,
Словно на пламя летят,
Ходят по берегу двое,
Ходят и в небо глядят.

ТРЕДИАКОВСКИЙ ЕДЕТ В ПАРИЖ

Михаилу Кукулевичу

Брёл поэт по арденнским увалам,
Проходил по фламандским лутам,
По валлонским болотам шагал он,
В пикардийских полях пробегал.

Птичий гомон то громкий, то слабый,
Шум деревьев, живая трава
Превращались в шальные слога
И легко составлялись в слова.

И достав грифель из котомки,
Он писал торопливой рукой...
Вечерело. Сгущались потёмки.
По лесам разливался покой.

Над закатной полоскою узкой
Первых звёзд разожглись угольки. –
Он жалел, что в словесности русской
Не сыскать ни единой строки.

Но какие-то тонкие нити
Протянулись к нему в тишине –
Рифма дрогнула: «жити» – «тужити» –
И поэт улыбнулся во сне.

Он дремал на цветочной опушке,
Свято веря в прекрасный обман.
Рядом спал неродившийся Пушкин.
Путь кремнистый блестел сквозь туман.

Всю пустую дорогу забрызгала липкая кровь,
Горький дым в опустелых полях застывает. И снова
Я расспрашивать стану
про судьбу, про любовь, про любовь
То звезду, то ромашку, то чуткого зверя лесного.

Не печальтесь, родные, конечно и это пройдёт:
Изумрудной травой закроет, затянет воронки.
Скоро вешние аисты пустятся в перелёт,
Выпускная из клювов
отрывистые похоронки.

Над недвижным Донцом в декабре розовеют снега...
Мы по здешним дубравам
с тобою бродили когда-то...
Дождь осколки бросает,
свинец рассыпает пурга,
На крестах деревянных
уже проявляются даты.

Воскресный день. Мне делать нечего.
Гляжу сквозь тёмные очки –
В траве бесчинствуют кузнечики,
Гремят сверчки.

Сюда не долетают грохоты
Атак, снарядов, поездов,
И даже шмель в заботе крохотной
К внезапной смерти не готов.

И вся природа-бесприданница,
Простор цветочный тебе,
К тебе одной листвою тянется,
Но не касается тебя.

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции: В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей» посвящается Велимиру Хлебникову, 130-летию со дня рождения которого отмечалось в 2015 году.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ХЛЕБНИКОВ И ОДЕССА

«Председатель земного шара» Велимир Хлебников обладал необычайной тягой к путешествиям.

«Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять», – писал Владимир Маяковский в 1922 году в своей статье на смерть поэта. «Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей (Хлебниковым была передана мне небольшая папка путанейших рукописей, взятых Якобсоном в Прагу, написавшим единственную прекраснейшую брошюру о Хлебникове). Накануне сообщенного ему дня получения разрешения и денег я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком.

«Куда вы?» – «На юг, весна!» – и уехал».

На юг – это не только в Персию. На юг – это и Баку, где он работал поэтом и художником в бакинском отделении РосТА, это и Железноводск, где он заканчивал свои знаменитые «Доски судьбы», трактат о «законах времени». Это и Судак, где семья Хлебниковых неоднократно отдыхала, а Велимир переплыл однажды залив; это и Чернянка Херсонской губернии, имение графа Мордвинова, управляющим которого более семи лет был Давид Фёдорович Бурлюк, отец Давида Давидовича Бурлюка. Юг – это и Одесса, в которой Хлебников побывал дважды.

Визиты будетлянина в Одессу были вызваны в первую очередь семейными обстоятельствами. В нашем городе некоторое время жили родственники Хлебникова – тут учился его брат Александр и жили двоюродные брат и сестра Коля и Маруся Рябчевские – вместе с матерью, Варварой Николаевной Рябчевской, урождённой Вербицкой – тёткой, родной сестрой матери Велимира Хлебникова. Более того, вся семья Хлебниковых чуть было не переехала жить в Одессу.

Весной 1908 года жившая в Казани семья Хлебниковых принимает решение покинуть город – из писем главы семейства Владимира Алексеевича видно, что летом 1908-го он начинает хлопотать об отставке, с тем чтобы всей семьёй переселиться или в Майкоп, или в Туапсе, или в Одессу – всё равно куда. Сам Велимир весной 1908 года подаёт прошение о переводе его на пятый семестр естественного отделения Санкт-Петербургского университета – к тому времени в Казани он имел четыре зачтённых семестра. Брат Александр подаёт прошение о переходе в Одесский университет. На лето Екатерина Николаевна с Виктором, Верой и Александром уезжают в Судак. В сентябре 1908 года, когда дачный сезон заканчивается, Хлебников уезжает в Петербург. Одновременно с этим Александр переезжает в Одессу, туда же на короткое время приезжают родители.

Вот что писал Хлебников отцу, Владимиру Алексеевичу, 25 ноября 1908 года, из Петербурга в Одессу:

«Я временно живу у кого? У Гр. Судейкина! Они поселились в Лесном, и я, изгнанный 21-го со своей квартиры, по-

селится к вам в Одессу, закончив свои литературные дела.

Дело дяди Саши, получившего отставку без пенсии, будет разбираться в <Государственной> Думе. Снова видел дядю Петю и тетю Машу.

Адреса у меня нет сейчас, так как скоро я переезжаю, не знаю куда. Адрес Г.С. Судейкина: Лесной, Институтский переулок, д. № 4, кв. 2. Они кланяются.

Я чувствую, что есть что-то, о чём надо написать, но не могу вспомнить.

Как здоровье Кати? И где её адрес? Целую. Рад бы увидеться где-нибудь на юге.

Спусти три дня он отправляет в Одессу ещё одно письмо – на этот раз матери, Екатерине Николаевне:

«Я давно не получаю писем ни от вас, ни из Харькова. «Дани» старшего поколения младшему тоже не получал по сегодня. Посему я прожил около недели у Гр. С. Судейкина. Они живут: Лесной, Институтский пер., д. № 4, кв. 2. Они шлют сердечный привет. Завтра я переезжаю <в> свою комнату: Петербургская сторона, Гулярная ул., д. № 2, кв. 2. На днях опять будут хлопоты по литературным делам. Веду жизнь «богема». Петербург действует, как добрый сквозняк и всё выстуживает. Заморожены и мои славянские чувства.

Покончив со своими делами, я не прочь увидеться с вами. Гр. Сем. побуждает меня окончить мои записки о Павдинском крае. У меня на душе ещё несколько дел и, кончив с ними, я готов бежать от города на дно моря.

В хоре кузнециков моя нота звучит отдельно, но недостаточно сильно и, кажется, не будет дотянута до конца. Целую вас и привет Рябчевским; тётке Варе, Коле, Марусе. Как поправилась и здоровье Кати? Варе буду писать о выставке. Ждите новых оттисков. Шура продолжает ли занятия естествоведением?».

Семья ждёт Виктора в Одессе, но он так и не приезжает. Вот его письмо матери от 28 декабря 1908 года – из Москвы в Одессу:

«Соединённой волей злого рока, меня и др., я не поехал в Одессу. Так как побывать у вас было внутренне необходимо, то, не скрою, я попал в какой-то тупик, из которого не мог найти выход. Я попал на вокзал в каком-то опьянении, чувствуя себя на пути в Одессу. Мне не пришло в голову поторопить извозчика. Извозчик подъехал к подъезду ровно в тот момент, когда пробило три часа. Я подбежал к перрону ровно в тот миг, когда щёлкнул ключ сторожа. Так я испытал на себе власть возмездия, какую-то насмешку, но за что – не знаю. Теперь я в Москве. Сегодня осматривал Кремль. Завтра Третьяковская галерея и мн. др. Нам дали бесплатный кров, постель (в 3 студенческом общежитии) и вообще встречают с обычным московским радушием. Я удивился, найдя в общем московском облике какое-то благородство и достоинство. Москва – первый город, который победил и завоевал меня. Она изменилась к лучшему с тех пор, когда я был в ней.

С Новым годом!»

Итак, «воссоединения церквей» не случилось. Из Москвы в первых числах января 1909 года Хлебников переезжает в Святошино под Киевом, куда часто приезжала семья Хлебниковых. В Киеве в художественном училище занималась Вера Хлебникова, кроме того, в Святошино в это время приехала семья Варвары Николаевны Рябчевской. С её детьми – Марусей и Колей, – у Хлебникова сложились очень близкие, дружеские отношения, совсем не такие, как с питерскими родственниками – сестрой и братьями матери Софией Николаевной, Петром и Александром Николаевичем Вербницкими.

В Святошине Хлебников остаётся надолго – съездив в мае 1909 года ненадолго в Петербург, в июне он вновь возвращается, чтобы провести там летние каникулы. Жили Хлебниковы у двоюродной сестры матери, Дидевич. Мария Николаевна, Маруся Рябчевская (в замужестве Качинская), полвека спустя вспоминала:

«Вся семья Хлебниковых, кроме Кати, жила в Святошине на даче у Дидевич, на 5-й просеке. Дом стоял среди пустой усадьбы, кругом только много сосен. Папа, Коля и я жили в это время у дяди Владимира Юрьевича по Северной улице, № 2, и ежедневно ходили на 5-ю просеку, где все вместе проводили целые дни и обедали. <...> К праздникам Витя всегда писал нам на открытках с изображением лотоса. Много писем пропало, а главное, тетрадка, в которой некоторые стихи были посвящены мне, с обращением «О, Мария...»»

Хлебников был влюблён в Марию – своей обычной, трогательной и платонической влюблённостью. Догадывалась ли об этом Мария? Кто знает... В 1915 году, когда она выходила замуж, Хлебников написал ей поэтическое послание «Армянское Я», или «Армянское послание Марии Рябчевской». В нём – признание в любви:

В льну белом вы,
 Пидуски слёз воздушная божница,
 «И голос – горлинок хрипница,
 Уст пращура военного зарница,



И сноп тугой косы – пшеница,
Венком из киевской травы.
Го асп стоял вдали, слагал любви несмелые напевы...

Ваш стан высок, изящен, гибок,
Там радуга сменяющихся «застенчивых» улыбок!
Снопов пшеницы струя ржаная
И этот взор – луч неба у Дуная.
И вы воскликнули: окружена «жена» я.
И вам привет слагают ивы,
И вам завидуют вишни,
В семье цветов и вы не лишни!
Так вы воздушны и красивы...

«Го асп» – так Хлебников именовал самого себя. Послание двоюродной сестре он написал от имени своего армянского «Я» – в нём действительно была частица армянской крови.

Все молодые люди был по-своему одарены – Вера Хлебникова рисовала, а Коля Рябчевский проявлял незаурядные музыкальные способности и учился в Киеве у композитора Р.М. Глиэра. Мария Николаевна Рябчевская вспоминала, что в один из последующих приездов семьи Рябчевских из Одессы в Святошино Коля поступил там в 5 класс 1-й гимназии, а «уроки по теории и композиции музыки брал в Киеве. Были напечатаны только две Колины вещи – марш «Вступление во Львов» и вальс «Lige» с рисунками на обложке Лидии Юрьевны Рябчевской. Хорошо окончив гимназию, он поступил в университет на юридический факультет, так как отец считал, что без общего высшего образования музыкант быть не может, а юридический меньше времени будет занимать. (...) Витя Хлебников очень любил Колю, они были в переписке, хотя Коля намного был моложе Вити, который звал его Колюшка-Рябушка, был с ним нежен».

Николаю Рябчевскому, талантливому скрипачу и композитору, посвящено эссе 1912–1913 годов «Коля был красивый мальчик...». В этом эссе есть замечательные строки об Одессе:

«В Одессе, а это было в Одессе, многие переселялись на берег моря в легкомысленных клетушках, воздвигая их вдоль тропинок, угощая в праздник <и> т<олпу> дорогим чаем и дешёвыми песенками. В этой полурывацкой жизни находили прелесть. Дети неловкой пухлой рукой подымают запутавшуюся в водорослях удочку. Другие, устав от уроков, видят ось жизни в ловле мелких рачков, толпами скользящих в воде. Волны – чувственный р<ой> от купа<ыщиков>, в зелёном саду бродят еврейки и бросают жгучие и томные взгляды своего племени. Чёрные зрачки и белые белки их глаз удивительны, и они справедливо гордятся ими».

Написано эссе было уже после второго – и последнего, – приезда Велимира Хлебникова в Одессу. Семья Хлебниковых – за исключением брата Александра, – в наш город так и не переехала. После недолгого пребывания в нашем городе Хлебниковы переезжают в Харьков, а затем в Лубны Полтавской губернии. Вот что писал Велимир Хлебников матери, Екатерине Николаевне, 16 октября 1909 года – из Петербурга в Лубны:

«Пишу Вам уже второй раз: книга не оставалась дома, и это ошибка библиотекаря.

Я познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга – Гумилёв, Ауслендер, Кузмин, Гофман, фр. Толстой и др., Гюнтер.

Моё стихотворение, вероятно, будет помещено в “Аполлоне”, новом петербургском журнале, выходящем в Питере.

Дела с Университетом меня сильно утомляют и [беспокоят], отнимают много времени. Я подмастерье, и мой учитель – Кузмин (автор “Александра Македонского” и др.). Гумилёв собирается ехать в Африку. Гюнтер собирается женить Кузмина на своей кузине. Гр. Толстой собирается написать <нрзб> и освободиться от чужих влияний. У Гумилёва странные голубые глаза с чёрными зрачками. У Толстого вода современника Пушкина.

Некоторые пророчат мне большой успех. Но я сильно устал и постарел. (Гюнтер – надежда немецкой литературы.) Целую и обнимаю всех лубнистов и одесситов».

Под одесситами имелись в виду младший брат Александр и семья Рябчевских. Буквально через неделю, 23 октября, Велимир Хлебников отправляет младшему брату Александру в Одессу письмо очень похожего содержания:

«Дорогой Шура! Как дела в Одессе? Я пишу наскоро письмо. Я буду участвовать в «Академии» поэтов. Вяч. Иванов, М. Кузмин, Брюсов, Маковский – её руководители. Я познакомился с Гюнтером, которого я полюбил, Гумилёвым,

Толстым. Я поправился. И хорошо смотрю. Гумилёв написал “Данте”, которое тебе, я помню, понравилось. Напиши мне, что ты думаешь о поэзии. Я очень ценю за глубину, искренность и своеобразие, чего у меня бедно. Моё стихотворение в прозе будет печататься в “Аполлоне”. И я делаю вид, что очень рад, хотя равнодушен. Я пришло тебе отписк.

Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой *magister*. Он написал “Подвиги Александра Македонского”. Я пишу дневник моих встреч с поэтами. Кланяйся Г. В. и всем».

16 января 1910 года Хлебников пишет из Петербурга брату в Одессу:

«С Новым годом! Дорогой Шура, извиняюсь на всех живых и мёртвых наречиях, что до сих пор не выслал птиц. Оправдаться могу только тем, что и мои вещи пролежали на вокзале около месяца. Мы собираемся, откладывая, и, как песчинка не делает разницы между горой и горстью, так и мы опаздываем из высокомерия к отдельному дню. Вот поучение. Желая, чтобы <ты> что-нибудь сделал из птиц. Я на них махнул рукой. Может быть, можно к твоему докладу добавить хвостик, чтобы высказаться мне о происхождении видов? Мне казалось, что в этом вопросе я был глубок и нов.

Передай новогодние пожелания Марии Николаевне, тётке Варе, Коле старшему и младшему, если они не слишком имеют вид величеств. Твой брат до конца земных ошибок, близок он или далёк.

Velimir [Виктор]».

В феврале 1910 года в жизни Велимира Хлебникова произошли важные изменения – в доме Михаила Матюшина он познакомился с братьями Бурлюками. Это знакомство, переросшее в дружбу, даст свои огромные плоды. Вот что писал Хлебников о своих друзьях-футуристах за два года до смерти, в 1920 году:

«Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк, может быть, не были друзьями в нежном смысле, но судьба сплела из этих имён один веник.

И что же? Маяковский родился через 365х11 после Бурлюка, считая високосные дни, между мной и Бурлюком 1206 дней, между мной и Каменским 571 день. $284 \times 2 = 568$.

Между Бурлюком и Каменским 638 дней.

Между мной и Маяковским 2809 дней...»

Через несколько дней после знакомства Бурлюк перевёз Хлебникова к себе, в Петербургскую квартиру, а весной они поехали в Чернянку, имение графа Мордвинова, которым управлял отец большого семейства Бурлюков Давид Фёдорович. Чернянка становится своеобразной штаб-квартирой русского футуризма. Древнее название этой местности, которое встречается у Геродота, – Гилея – становится ещё одним названием группы. Многие сборники футуристов, и в том числе Хлебникова, вышли в издательстве «Гилея». Для друзей-футуристов – или будетлян, как любил говорить Хлебников, это было местом, где всё ещё ощущалась связь с античной культурой.

Эти же летом 1910-го в Чернянке жил и работал Михаил Ларионов. Оттуда Хлебников уехал в гости к Рябчевским, в Одессу. Вот что писал Давид Бурлюк в июле 1910 года в письме к М.В. Матюшину: «Работаем мы это лето и много, и мало. Всё лето почти у нас писал М.Ф. Ларионов. Был Хлебников, сейчас он уехал – Одесса-Люстдорф, дача Вудст’а». По воспоминаниям Марии Николаевны Рябчевской (см. статью Александра Парниса «В Одессе, а это было в Одессе...» в 1-м номере альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»), в этом году они жили в доме № 13 по улице Белинского и на даче Вирта в Люстдорфе.

В сентябре того же 1910 года брат Александр перевёлся на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета и из Одессы уехал. Связывали Хлебникова с Одессой теперь только Рябчевские – и Бурлюк, который вместе с братом Владимиром поступил в Одесское художественное училище.

В своём письме от 14 августа 1964 года к известному одесскому краеведу Александру Розенбойму Давид Бурлюк пишет: «Одесса мне была близка с 1900 года, когда я учился в худ. училище Преображенская 25 и жил в доме № 9. Снова зиму 1910-11 провёл там и в одну зиму получил диплом худ. училища – чтобы осенью поступить по конкурсу в Моск. Акад. и встретить там Вл.Вл. Маяковского».

В начале лета 1912 года Хлебников приезжает в Одессу во второй – и последний, раз. Он недолго гостит у Рябчевских на Базарной, 10, проведя перед этим несколько месяцев в Чернянке и куда вновь из Одессы возвращается.

Пятого июня он пишет из Одессы родителям в Казань:

«Я был сердечно рад получить ваше письмо (обращаюсь пока к Кате и Шуру). Оно меня порадовало неподдельно льбящей искренностью. Но в ответ на него я тоже отвечаю всей полнотой откровенности: оно пропитано трюсостью, желанием прибегать к уловкам – вещи, которых я избегаю. Уверяю вас, что там решительно нет ничего такого, чтобы позволяло трепетать, подобно зайцам, за честь семьи и имени. Наоборот, я уверен, будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной. Но всё же хорошо, что середина и конец понравились».



У Ивана Степ. Рождественского!! не брал. Я рад, что радую.

Я здесь читаю Шиллера, “Декамерон”, Байрона, Мятлева. Но вопреки желаниям сам ничего не делаю. Каждый день купаюсь в море и делаюсь земноводным, потому что в воде совершаю столь же длинные путешествия, как и на суше. Я тронут, что Вера не присоединилась к семейной фрозе за потрясение основ и благодарю за письмо, похороненное рукой зайца. Я хочу думать, что все вы здоровы. Маруся уехала в Святошино. Коля кончает испытания, похудел и вытянулся. Я пришлю ещё “Разговор”».

«Разговор» – это самая первая книга Хлебникова «Учитель и ученик». Она вышла в Херсоне в издательстве О.В. Ходушиной, была иллюстрирована рисунками Владимира Бурлюка, а деньги на неё дал Давид Бурлюк – взяв, правда, у Хлебникова в залог золотые часы, которые ему подарил живший в Астрахани двоюродный брат, Борис Лаврентьевич. Интересно, что Борис Лаврентьевич попросил часы не закладывать их и не продавать – они достались ему в наследство от деда. Но – публикация первой книги была важнее. Хлебников заложил семейную реликвию, а потом предложил двоюродному брату выкупить их у Бурлюка (письмо от декабря 1912 года):

«Сообщаю некоторые частности, милый Борис Лаврентьевич, относительно вещей, кои могут показаться достойными внимания.

Адрес часов: Таврическая губ., село (и почт. отд.) Малая Маячка, деревня Чернянка, Давиду Федоровичу Бурлюку для Давида Давидовича Бурлюка. Долг 20 руб., ещё два рубля на расходы. 100 страниц, написанные для изумления мира, принадлежат мне. Книжка моя уже в печати, и скоро я кое-что пришлю. Она зовётся “Пощёчина общественному мнению”».

«Пощёчина общественному мнению» – именно так хотел назвать свою вторую книгу Хлебников. Но для этого нужно было иметь, как минимум, деньги, а вдобавок – организовать процесс. Всё это было для «Председателя земного шара» чрезвычайно сложным. Вот что писал Владимир Маяковский в статье на смерть поэта:

«Практически Хлебников – неорганизованнейший человек. Сам за всю свою жизнь он не напечатал ни строчки. Посмертное восхваление Хлебникова Городецким приписало поэту чуть не организаторский талант: создание футуризма, печатание “Пощёчины общественному вкусу” и т.д. Это совершенно неверно. И “Садок судей” (1908 г.) с первыми стихами Хлебникова, и “Пощёчина” организованы Давидом Бурлюком. Да и во всё дальнейшее приходилось чуть не силком вовлекать Хлебникова».

В итоге в декабре 1912 года вышел первого сборника группы «Гилея», в котором были опубликованы произведения Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Давида и Николая Бурлюков, Алексея Кручёных, Василия Каменского, Василия Кандинского и Бенедикта Лившица.

Это была первая публикация Хлебникова за два года. После публикаций в 1910 году в сборниках «Студия импрессионистов» и «Садок судей», в которые произведения Хлебникова попали благодаря Давиду Бурлюку, будущего «Председателя земного шара» нигде не печатали, считая его творчество «бредом сумасшедшего». Об этом пишет Бенедикт Лившиц:

«Однако при всех оговорках, относившихся главным образом к манифесту (*речь идёт о знаменитом манифесте «Пощёчина общественному вкусу, подписанном Бурлюком, Маяковским, Хлебниковым и Кручёных, где они призывали “бросить Пушкина, Толстого и Достоевского с парохода современности” – прим. автора*), самый сборник следовало признать боевым хотя бы по одному тому, что ровно половина места в нём была отведена Хлебникову. И какому Хлебникову! После двух с половиной лет вынужденного молчания (ведь ни один журнал не соглашался печатать этот «бред сумасшедшего») Хлебников выступил с такими вещами, как «Конь Пржевальского», «Девий бог», «Памятник», с повестью каменного века «И и Э», с классическими по внутренней завершенности и безупречности формы «Бобэоби», «Крылышка золотописьмом», а в плане теоретическом – с «Образчиком словоновшеств в языке» и загадочным лаконическим «Взором на 1917 год», в котором на основании изучения «законов времени» предрекал в семнадцатом году наступление мирового события».

И вот, спустя два года, после «Пощёчины» и второго «Садка судей», выпущенного в феврале 1913-го, имя Велимира Хлебникова зазвучало в полный голос. Его гений уже невозможно было не заметить.

Влияние Хлебникова на литературу «Юго-Запада», на литераторов «одесской школы» – безусловно. Одесский культуролог и литературовед Евгений Михайлович Голубовский встречался с писателем Сергеем Бондаринным, одним из одесской плеяды, другом Эдуарда Багрицкого и Семёна Гехта – и Бондарин рассказывал ему, что они осознали Хлебникова именно через Багрицкого, который читал на память множество его текстов. Сам Бондарин с подачи «птицелова» увлёкся Хлебниковым и собрал с десяток его книг. Но настоящим «рыцарем» Хлебникова стал Юрий Олеша. Он вошёл в созданную Алексеем Кручёных «группу друзей Хлебникова», переписывавших его тексты на литографскую машину и издавших трид-

цать книг «Неизданного Хлебникова». Две из них и по сей день есть в коллекции Евгения Голубовского.

Московский журналист Исаак Владимирович Глан, приятель Юрия Олеши, писал о том, что Олеша считал Хлебникова гением:

«Конечно, гений. Он сказал об олене: испуг, цветущий широким камнем. Его поэмы не всегда понятны. Он складывал свои рукописи в мешок, а потом их не могли собрать. Его издадут? Странно».

Высоко ценил Хлебникова и Валентин Катаев, который описал в повести «Алмазный мой венец» свои встречи с ним. В квартире Ольги Николаевны Фоминой в Мыльниковом переулке, где одно время жили Катаев и Олеша, несколько дней ночевал и Хлебников. И даже спустя пятьдесят лет Катаев цитировал по памяти в своей повести строки Хлебникова, называя их гениальными.

Прошло сто тридцать лет со дня рождения Велимира Хлебникова. Отрадно заметить, что интерес к его творчеству не только не ослабевает, но, наоборот, усиливается. А значит, его творчество неизбежно будет вдохновлять литераторов новой одесской плеяды.

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

БЕСЕДУЯ С НЕБОМ НА ТЫ

очерк

Велимиру Хлебникову

*О ты, танцующий в изломе
Бунтующих утёсов-слов!..
Твой первобытный, буреломный
Колдующий фантом из снов...
Он сам себя перерастает,
Он сам себя горотворит;
И камень философский станет –
Мерцать, когда пишет творит...
Ст. Айдинян*

Он был такой один, подобных ему не было. Нигде в мире не было поэта, который писал бы стихи, подобные стихам Хлебникова. Не было никого, кто хотя бы отдалённо напоминал Виктора Владимировича складом ума, формами мышления, образностью речи, конструкцией языка и практически инстинктивным отвращением к проживанию на одном месте. Это был гость из далёкого будущего, с трудом находивший общий язык с окружающими его людьми; казалось, что он подвержен антропофобии, так часто он покидал людей, начинавших принимать участие в его неустроенной жизни. Но он, словно действительно, происходил из будущего – порою делал такие предсказания, от которых у окружающих волосы шевелились на голове.

Почему он кидался из одной крайности в другую? Ведь даже представить себе трудно, что, окончив гимназию в Казани, он в 1903 году поступил в Казанский университет на математическое отделение физ-мат факультета, отсидел месяц в тюрьме за участие в студенческой демонстрации, в 1904 – сначала уволился из университета, а потом восстановился на физ-мат факультет, но уже на естественное отделение. И до 1907 года занимался орнитологией, принимал участие в экспедициях на Урал и в Дагестан, опубликовал статьи по интересовавшей его биологической дисциплине, открыл новый вид кукушки, самостоятельно изучал японский язык и... начал писать пьесы, стихи, увлекшись творчеством символиста Фёдора Сологуба.

В 1908 году Хлебников вновь резко изменил свою жизнедеятельность: приехав в Санкт-Петербург, он приступил к занятиям в столичном университете всё на том же естественном отделении физ-мат факультета. Для чего надо было один университет менять на другой? Только для того, чтобы быть ближе к столичной писательской богеме, так как в шкале пристрастий и увлечений Хлебникова сочинительство



стало превалировать над орнитологией. Последнюю вскоре он совсем забросил. Молодой человек двадцати трёх лет, казалось, нашёл себя, сблизившись с символистами, став частым посетителем «Академии стиха», располагавшейся в квартире Вячеслава Иванова на Таврической улице. Здесь, под крышей последнего этажа, в так называемой «башне», собирался цвет тогдашнего столичного символизма: Алексей Ремизов и Сергей Городецкий, Александр Блок и Василий Каменский, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов и Константин Бальмонт и, конечно, сам хозяин, Вячеслав Иванович Иванов, поэт, переводчик, философ, драматург, литературный критик, руководивший издательством «Орь», член Петербургского религиозно-философского общества, преподаватель древнегреческой литературы на Высших женских курсах, сотрудник журналов и альманахов «Весь», «Золотое руно», «Труды и дни», «Аполлон», «Новый путь», «Северные цветы».

Человек такого масштабного интеллекта не мог не очаровать молодого начинающего литератора, каковым являлся на ту пору Хлебников. И он его очаровал. Однако не до такой степени, чтобы Хлебников превратился в его ученика. Нет. Создаётся впечатление, будто Вячеслав Иванов и его компания нужны были Хлебникову лишь как своеобразный коридор (сейчас сказали бы «портал») для проникновения в помещение, адекватное его состоянию души, построению мыслей, отвечающему его инстинктивным потребностям, мировоззрению и жизнедеятельности. Он, забывший и, естественно, заблудившийся, лихорадочно искал мир, из которого он вышел, который его создал, плоть от плоти которого Хлебников являлся. Это не был мир Земли или Солнечной системы – это был мир иных пространственно-временных категорий, другого образа мышления, языка, выражавшего это мышление, других видов существования. Под впечатлением древнеславянской мифологии Хлебников создаёт пьесу «Снежимочка» с такими персонажами как *снезини*, *смежини*, *Берёзомиф*, *Древолод*. Он пытается моделировать тот мир, из которого, как ему представлялось, он вышел, где осталась та почва, на которой произрастали его корни. Уже в «Снежимочке» Хлебников начинает создавать язык, приводивший в оторопь читателей своей непроницаемостью и абсолютным непониманием его нужности.

Лес зимой – серебряной парчой одетый.

Снезини: А мы любоча хороним... хороним... А мы беличи-незабудчичи роняем... роняем...

Смежини: А мы, твои посестры, тебе на помощь... на помощь... Из подолов незенных смехом уста насытем серебром сытучим...

Немини: А мы тебе повязку снимем... немину...

Слепини: А мы тебе личину снимем... слепину... А мы, твои посестры, тебе на помощь... на помощь...

Снезини: Глянь-ка... глянь-ка: приотвез уста... призмемля – приоткрыл глаза – прилукавился. Ой, девоньки, жаруй! (С смехом разбегаются. Их преледует Снегич-Маревич, продолжая игру и оставляя неподвижными тех, кого коснулся).

Берёзомиф: Сколько игр видел!. Сколько игр... (покидает в сон) сколько игр...

Сказчик-Морочич (поёт, пользуясь как струнами ветвями берёзы):

Дрожит струной

Влажное чёрное руно,

И мучоба

Входит в звучобу,

Как (смеясь окружающим) – я не знаю.

Я тыян собой...

Пьеса «Снежимочка» стала Рождесловом нового языка. Ремизов был в восторге: ведь молодой поэт творчески обогатил то, что он так откровенно разрабатывал в своих книгах «Лимонарь» и «Посолонь». И, конечно, невозможно было не заметить, что «Снежимочка» недвусмысленно переключается с творчеством Сергея Городецкого, представленного им в сборниках стихов «Перун» и «Ярь». Оба признанных символиста были в восторге: у них нашёлся адепт, продолживший начатое ими дело по воссозданию славянской языческой мифологии. Только ни тот, ни другой не заметили и, несомненно, не поняли, что Хлебников никого из них не продолжает. Он сам по себе живёт и страдает в поисках коридора...

Но, как ни странно, «Снежимочка» – это не гимн возвратившемуся и доминирующему язычеству, фрагментально и неосознанно присутствовавшего в каждом вздохе, в каждой фразе русского человека. Хлебников пребывал в поисках всё того же коридора, пройдя по которому можно было оказаться в... будущем. И поиски этого будущего начались для Хлебникова в 1905 году, году поражения в войне с Японией и Первой русской революции. Он так и сказал: «*Мы бросились в будущее с 1905 года*». Как когда-то

декабрист Матвей Муравьёв-Апостол сказал о движении декабристов: «*Мы были дети 1812 года*». И тоже бросились на поиски будущего 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Чем этот поиск для них закончился, знают все – гибелью. Хлебников, ощущавший себя в жизни гостем, странником и искателем, пытавшийся вырваться в мир других ощущений, ценностей и этики, в конце концов обрёл то же, что и декабристы – гибель. Гость, среди чужих ему пространств, странник, заблудившийся во времени, искатель выхода из западни, в которую попал не намеренно, а по факту рождения не там и не сейчас.

Стихи, стихи, стихи... Их было очень много. А в печать они не попадали. Символисты не торопились представить публике нового поэта: то ли ревновали, то ли боялись его будущей славы? В 1909 году Хлебников отправляется на поиски нового коридора, резко меняя направление движения. Прощаясь с символизмом, Хлебников создаёт произведение «Зверинец» и посвящает его Вячеславу Иванову. Никогда больше он не напишет ничего подобного, никогда в изданиях символистов не будут напечатаны его произведения.

О, Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающего братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят, подобны вечности, означенной сегодняшним, ещё лишённым вечера, днём.

Где верблюд, чей высокий горб лишён всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Хлебникову двадцать четыре года. Он снова в поиске. Подает вновь прошение в ректорат университета о переводе его на факультет... восточных языков по разряду санскритской словесности, но, немного поразмыслив, указывает другой факультет: историко-филологический, славяно-русское отделение. Какие ветры играли его воображением? Что, прислушиваясь к их порывам, он слышал, неведомое другим? На что именно отзывался созвучием его внутренний камертон? Загадка, которую не суждено разгадать никому. Сам Хлебников никаких подсказок не оставил, будучи совершенно индифферентным к посмертной известности. Что уж говорить о прижизненной славе... В том же 1909 году он знакомится с Николаем Гумилёвым, Алексеем Толстым и Михаилом Кузминным...

Но вскоре, в этот же 1909 год, Хлебников серьёзно увлётся теорией чисел, старательно вычисляя будущее. Что это было? Веяние времени, когда эзотерикой увлекались представители российской интеллигенции, ощущавшие канун каких-то перемен, но предполагавшие их через некое неординарное видение мира? Как старший Леонид и младший Даниил Андреевы, чувственно воспринявшие, а потом уже нарисовавшие картину иных миров и иного бытия? Как Рерих, Гурджиев, Барченко? Нет, Хлебников напоминал больше Николая Фёдорова, «московского Сократа», «румянцевского отшельника», одного из основоположников русского космизма, автора «Философии общего дела». Их обоих объединял наивный материализм, через который, как через своеобразный прибор, они смотрели на мир, исследовали его, предлагали своеобразные процессы изменения мира. Фёдоров, православный христианин, однако, отвергал возможность индивидуального спасения и воскрешения, предлагая альтернативу: коллективное спасение и воскрешение всего человечества. При этом, как человек верующий, он видел воскрешение предыдущих поколений отцов при помощи новейших достижений науки, которая, как он был убеждён, является даром Божиим.

Для многих оставался открытым вопрос: куда девать миллиарды воскрешённых предков? Фёдоров отвечал и на это – расселять их по необъятным просторам Космоса на пригодных для проживания планетах. Практической стороной этой проблемы занялся фёдоровский стипендиат, более известный как «учитель из Калуги», Константин Эдуардович Циолковский. Именно для расселения воскрешённых предков он всерьёз занялся вопросами теоретической космонавтики и перемещением летательных аппаратов в межпланетном пространстве, став в последствие «отцом отечественной космонавтики». Кроме Циолковского последователями идей Фёдорова в той или иной степени стали Владимир Иванович Вернадский, создатель науки биогеохимии и понятия ноосфера; Александр Леонидович Чижевский, поэт, основатель космического естествознания, основоположник космической биологии, геллобиологии,



аэроионизации, электрогеодинамики, первым начавший изучать влияние космических физических факторов на процессы в живой природе, влияние циклов активности Солнца на явления в биосфере, в том числе, на социально-исторические процессы. Он первым сформулировал зависимость между циклами солнечной активности и различными явлениями природы, выделил взаимосвязи живого организма с окружающей его внешней средой обитания; Павел Флоренский, священник, учёный, философ, богослов, поэт-символист, находившийся одновременно под огромным влиянием романтического трагизма католической западной культуры и отечественного русского космизма, предлагавший на соискание степени магистра богословия представить перевод Ямвлиха с примечаниями – того самого Ямвлиха, философа неоплатоника, жившего в III – IV веках, провозгласившего догмат «всеобщего согласия тайновидящих всех времён и народов». Ямвлих считал, что все восточные и греческие мудрецы, маги и прорицатели, поэты (в греческом понимании природы и предназначения поэтов) и философы во все времена возвещали одну и ту же неизменную и непогрешимую доктрину, которую жизненно необходимо понять и верно истолковать, чтобы убедиться в её единстве. По существу, вслед за Ямвлихом, и, неосознанно, за Фёдоровым, Павел Флоренский был приверженцем монизма, хотя и являлся (в большей степени формально) клириком Русской Православной Церкви.

Тем не менее, слова, обращённые Хлебниковым к брату Александру: «Я усердно занимаюсь числами и нашёл много закономерностей», стали выражением серьёзного увлечения математикой, нумерологией и, само собою, каббалистикой. Человек самых разнообразных знаний и, главное, их систематизации во время учёбы на различных факультетах университета, Хлебников обладал острейшим чувством действительности, более острым, чем его современники. Таким, каким мог обладать только гость из другого времени, в полной мере постигший пропасть между временами. Как не посмотри на его жизнь и творчество – ни с чем не сравнимые, ни на что не похожие – а после недолгих раздумий придёшь к выводу: Хлебников – это человек *позавчера* и *вчера*, как точно заметила одна исследовательница его творчества и судьбы. Да, не без оснований можно говорить о нём, что это погружённый в себя интроверт, эзотерик, мистик, приверженец спонтанной медитации. И всё это будет правдой, всё это будет о нём. Но главное – он человек буквально иного времени.

Осенью 1911 года Хлебников подал министру Нарышкину письмо, в заглавии которого было написано: «Очерк значения чисел и о способах предвидения будущего». Неизвестна реакция на это письмо министра. Известно, что никаких последствий для дальнейших занятий Хлебниковым по прогнозированию будущего, не произошло. А ведь он мало ошибался в своих предсказаниях. Вот, хотя бы о годе 1917-м! В мае 1912 года он на свои средства издал в Херсоне брошюру «Учитель и ученик», в которой попытался рассказать о найденных им законах времени. В этой брошюре, изданной малым тиражом, он предсказал российский апокалипсис 1917 года, начиная от отречения Николая II, Февральской буржуазной революции и кончая приходом к власти большевиков. К сожалению, голос Хлебникова, которому тогда исполнилось 27 лет, никто не услышал. «Кеплер писал, что он слушает музыку небесных сфер. Я тоже слушаю музыку, и это началось ещё в 1905 году. Я ощущаю пенье вселенной не только ушами, но и глазами, разумом и всем телом». Он же сказал: «Мы бросились в будущее с 1905 года»...

О будущем. В феврале 1910 года Василий Каменский познакомил Хлебникова с художником Миханлом Матошиным и братьями Бурлюками: Николаем, Владимиром и Давидом. Началась новая веха в творчестве Хлебникова – он стал сотрудничать с футуристами, почувствовав родственность душ, ищущих новые формы слов, возводящих будущее в культ, в ущерб прошлому и настоящему. Они назвались *будетлянами*, что явилось переводом с латинизированной формы – *футуристы*. А Хлебников теперь уже навсегда стал зваться Велимир – повелитель мира. И вот они, результаты поиска новых слов:

*Гул галгота. Это рокота раскат.
Гугота. Гаг. Гагри.
Вука взво. Кфуги колеу.
Цирцици!*

Судя по всему, Велимиру не важно было, поймут читатели смысл написанного или нет – главное, что он отобразил мир, увиденный им в самом себе. Мир, который он искал, и в котором вот-вот должны были оказаться его современники. Время было определено и назначено. И оно приближалось...

А 18 декабря 1912 года будетляне-футуристы выпустили свой первый поэтический сборник, снабжённый манифестом. Сборник представлял собою квинтэссенцию футуристической идеологии, отрицавшей

все прежние эстетические ценности, и в эпатажной форме заявлял о появлении нового литературно-художественного течения, полностью порывающего с существующей литературной традицией. Сборник назывался «Пощёчина общественному вкусу». В него были помещены стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Алексея Кручёных, Василия Каменского и Бенедикта Лифшица. Никто из авторов этого сборника не имел популярности Бальмонта или Горького, никого не только литературная богема, но и читающая российская публика не могла отнести к разряду своих кумиров. Но Манифест, прилагавшийся к сборнику, был намного эпатажнее содержания «Пощёчины», что не могло не навеять подозрение в банальной ревности, коей были обуреваемы футуристы. Вот тезисное изложение основных позиций этого «Манифеста», в один день сочинённого совместными усилиями Бурлюка, Кручёных, Маяковского и Хлебникова.

МАНИФЕСТ

Читающим наше Новое Первое Неожиданное.

Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода Современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блюду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Чёрным, Кузминым, Бунинным и проч. – лишь дача на реке. Таку. Награду даёт судьба портным.

С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!

Мы призываем чтить права поэтов:

- 1. На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество).*
- 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.*
- 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.*
- 4. Стоять на глыбе слова «Мы» среди моря свиста и негодования. И если пока ещё в наших строках остались грязные клейма ваших «здорового смысла» и «хорошего вкуса», то всё же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.*

Слово... Вот то, на что было нацелена деятельность бюджетлян-футуристов. Переделать Слово, возможно, заменить его другим. И эта деятельность была деструктивной, поскольку Слово являлось основой бытия, поскольку каждому известно, что «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И так как группа «людей будущего» (бюджетлян) заявляла о несомненной аннексии Божественной прерогативы на Слово, легко было предвидеть, что и как они собираются создать или построить, не обладая при этом Божественной природой. Нет сомнения, что поступали «люди будущего» так вполне сознательно, не на волне эпатажа, а тонким чутьём творцов художественного пространства, почувствовав приближение глобальных, необратимых перемен. И до появления вечного антагониста Бога, до начала конца, они стремились создать и высказать своё Слово!

Вот, например, концовка произведения Велимира Хлебникова, озаглавленного им как «И и Э (повесть каменного века)»:

*Осуждённых тела выкупая,
Мы пришли сюда вместе с дарами.
Но тревога, на мудрость скупая,
Узнаёт вас живыми во храме.
Мы славим тех,
Кто был покорен крику клятвы,
Кого боялся зоркий грех,
Сбирая дань обильной жатвы,
Из битвы пламаний лучистой*



*Кто вышел невредим,
Кто поборол душою чистой
Огонь и дым.
Лишь только солнце ляжет,
В закате догорая,
Идите нами княжить,
Страной родного края.*

А ещё Хлебников представил в том же сборнике своё стихотворение, наиболее интригующее воображение читателей.

БОБЭОБИ ПЕЛІСЬ ГУБЫ...

Ор. № 13.

*Бобэоби пелись губы,
Вэоми пелись взоры,
Пизэо пелись брови,
Лизэй – пеля облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.*

А это Алексей Кручёных, поэтическая заумь которого внешне была так схожа с самоценным словарём Хлебникова:

СТАРЫЕ ЩІПЦЫ ЗАКАТА

*старые щипцы заката
заплаты
смотрят
смотрят
на восток
нож хвастлив
взоры кинул
и на стол
как на пол
офицера опрокинул
умер он
№ восемь удивлённый
камень сонный
начал глазами вертеть
и размахивать руками
и как плеть
извилась перед нами
салфетка
синяя конфетка
напудренная кокетка
на стол упала метко
задравши ногу
покраснела немного
вот представление
дайте дорогу...*

А у Давида Бурлюка уже какие-то предчувствия надвигающейся деформации бытия вдруг складываются в определённые образы, которые ни с чем иным не перепутаешь.

УБИЙСТВО КРАСНОЕ...

Убийство красное
 Приблизило кинжал,
 О время гласное
 Носитель узких жал
 Не белой радости
 Дрожит точась рубин
 Убийца младости
 Ведун ночных глубин
 Там у источника
 Вскричал куящий шаг,
 Лик полуночника
 Несущий красный флаг.

Ну, и, наконец, Владимир Маяковский, который тогда ещё не был Владимировичем, тоже внёс свою посильную лепту в ниспровержение традиционного стихосложения, претендуя, как и его приятели, на революционное словотворчество.

УТРО

Урюмый дождь скосил глаза
 А за
 Решёткой
 Чёткой
 Железной мысли проводов
 Перина
 И на
 Неё, легко встающих звёзд опёрлись
 Ноги
 Но ги –
 бель фонарей
 Царей
 В короне газа,
 Для глаза
 Сделала больней враждующий
 букет бульварных проституток.
 И жуток
 Шуток
 Ключущий смех из жёлтых
 Ядовитых роз
 Возрос
 Зигзагом
 За гам
 И жуть
 Взглянуть
 Отрадно глазу:
 Раба
 Крестов
 Страдающе-спокойно-безразличных,
 Гроба
 Домов
 Публичных,
 Восток бросал в одну пылающую вазу.

Ко всему помещённому в сборнике Хлебников присовокупил два своих эссе, не вызывающие сомнений в том, кто в представленной «Пошечине» является мозговым центром, а кто – ремесленником цеха будущего.

ОБРАЗЧИК СЛОВОНОВИШЕСТВ В ЯЗЫКЕ (фрагмент)

«Летатель» удобно для общего обозначения, но для суждения о данном полёте лучше брать «полётчик» (переплётчик), а также другие имеющие свой каждое отдельный оттенок, напр., «неудачный летун» (бегун), знаменитый летатай (ходатай, оратай), и лёгчий (кравчий, гончий). Наконец, ещё возможно «лтец», «лтица», по образу: чтец (читатель).

«Лётское дело» – воздухоплавание.

В смысле удобного для полёта прибора можно пользоваться «лёткий» (моткий), напр., «знаменитая по своей лёгкости снасть Блерио».

Для женщин удобно сказать «летавица» (красавица, плясавица).

От «лёткий» (сравнительная степень): «летчайший в мире неболёт». Первак воздухоления (чтецы) – летчайшина или летивейший из русских, летивейшина г. Петербурга. Читать – чтоние, летать – лтение.

Сидящие в воздухолёте люди (пассажиры) заслуживают имени «летоки»: «Летоков было 7» (ходоки, изроки). Полётная снасть, взлётная снасть – совокупность нужных вещей при взлёте или полёте.

Самые игры летания следует обозначить «лета» (бега).

И в завершении Хлебников представил на ознакомление читающей публики свои взгляды на судьбу России. Конечно, прогнозом это назвать было нельзя, так как никаких разъяснений, комментариев или расчётов, сопроводивших указанную им роковую для России дату, он не удопустил поместить в текст. Но с дистанции времени, когда нам хорошо знакома судьба нашей родины, должно рассматривать представление Хлебникова, как вполне осмысленную, продуманную и просчитанную автором данность. Кто, скажите на милость, в 1912 году мог предположить, что для тогдашней России, Российской империи, Российской цивилизации и культуры 1917 год станет последним? А ведь Хлебников выстроил определённый ряд последовательных крушений цивилизаций, происшедших в истории человечества, знакомых многим с детства, но вот Россия...

Здесь помещён не весь ряд, а только фрагменты его.

ВЗОР НА 1917 ГОД

Испания 711 год – завоевание Пиренейского полуострова арабами, гибель вестготского королевства.

Россия 1237 год – начало монголо-татарского нашествия, конец древнерусской конфедерации княжеств, гибель Киевской Руси.

Иерусалим 70 год – захват города римскими войсками Тита, разрушение Храма.

Рим 476 год – захват и разрушение Рима варварами Одоакра. Конец Западной Римской империи.

Вандалы 534 год – уничтожение североафриканского королевства вандалов войсками византийского полководца Велизария.

Авары 796 год – завоевание и уничтожение Аварского каганата войсками франкского короля Карла Великого.

Византия 1453 год – захват Константинополя турками-османами, гибель Византийской империи.

Сербия 1389 год – поражение сербских войск от армии турок-османов на Косовом поле, завоевание Сербского королевства турками-османами.

Англия 1066 год – завоевание саксонской Англии нормандскими рыцарями с севера Франции. Завершение саксонской эпохи на британских островах.

Некто 1917 год – (прочерк).

Что можно сказать? Хлебников кокетничал, в издании и без того эпатажном, не желая пугать читателей скорым пришествием Конца Света? Да нет, ничего он не боялся. Кроме одного – не успеть найти то единственно правильное направление, по которому он войдёт в мир, созвучный его видению. И это не оговорка – Хлебников видел ритмами, мелодиями, симфониями... Наверное (можно спорить, можно не спорить), не без влияния Велимира, не без его восприятия и его оценочной базы, по которым он исследовал и определял Мир, написал в 1913 году Маяковский свои неожиданные стихи: «На чешуе жестяной рыбы прочёл я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Маяковский – громада, талантище, трибун, горлан, главарь, «лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи» – стал бы

он тем, кем стал, если бы не общение с Хлебниковым? Постоянная подпитка идеями, выношенными и отправленными Велимиром на испытание в мастерскую Маяковского, напоминала вторичность мыслителя Циолковского по отношению к философу Фёдорову, «московскому Сократу». Маяковский, этот «огромный человечине», напоминавший «циркового борца-крючника», с какой-то, можно сказать, сыновней заботой относился к Хлебникову, заботился о его литературных произведениях, наследии, принимал самое деятельное участие в издании его персональных сборников. Чтобы потомкам осталось то (книги, с напечатанными в них стихами Хлебникова), чем можно поражаться и через сто лет. Ведь сам Хлебников относился к продукту своего творчества крайне небрежно, если не сказать индифферентно...

Вот свидетельство поэта Николая Асеева, творческий путь которого начался после знакомства с Хлебниковым и Маяковским. *«Все окружающие относились к нему (Хлебникову) нежно и несколько недоумённо. Действительно, нельзя было представить себе другого человека, который так мало заботился бы о себе. Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, галош, устройства своего быта, заработка и удовольствий. И это не потому, что он лишён был какой бы то ни было практической сметливости или человеческих желаний. Нет, просто ему было некогда об этом заботиться. Всё время своё он заполнял обдумыванием, планами, изобретениями...»*

Хлебников был одержим стихией языка, идеями синтеза математики и искусства, его влек к себе и очаровывал процесс словотворчества. Скитаясь по земле подобно нищему пророку, он никогда не имел своей крыши над головой, своей семьи, устроенного, постоянного быта, к которому можно было бы возвращаться, как возвращаются на аэродром самолёты для дозаправки перед очередным полётом. Везде и всюду в своих перемещениях по земле он таскал за собою наволочку, набитую черновиками стихов; на вынужденных ночёвках она заменяла ему подушку. Его поиски, его открытия и откровения подготовили почву для творчества Маяковского и, в какой-то степени, для Бориса Пастернака. Хлебников был гением, и современники, из тех, кто был к нему наиболее близок, уверены были в этом вне всяких сомнений.

Спасибо тем, кто был в этом уверен. Не будь их – сам Хлебников не издал бы ни одной своей строки. Его набитые обрывками бумаги наволочки, его ценнейшее достояние, неоднократно терялись, уничтожались пожарами. Но, как ни странно, не повергали его в скорбь и уныние. Он искал и по возможности строил новый мир. И для этого использовал Слово. Кручёных говорил: «Слово “лилия” захватано, я говорю: “Еуы”, белоснежность лилии восстановлена». Но изобретению Кручёных не соответствует никакое новое явление и никакой его новый оттенок. Суть осталась прежней – только поменяла обозначавшее его слово. Хлебников жил и действовал как открыватель в ином измерении. Вместе с новыми словами он давал новые реальности. И это отличало его и от Кручёных, и от Маяковского, и от Лифшица, и от Бурлюков.

В одном из своих писем Хлебников высказался так: *«...у меня есть уравнения звёзд, уравнения мысли, уравнения рождения и смерти»*. Неудовлетворённый поиском только в области лингвистики и филологии, он стремился через синтез различных форм поиска создать проекцию будущего мира. Именно для этого он изучал историю и математику. Именно для этого он пытался привлечь и живопись. Так дорога поиска привела его к дружбе с Павлом Филоновым. Филонов свои многочисленные работы на бумаге и картоне называл «формулами». Так появлялись формулы цветка, формула городского, формула пролетариата. Встреча двух неординарных до нереальности людей не была случайной: обоих гениев разных выразительных средств непринуждённо тянуло друг к другу. К тому же их внутреннее родство не могло не бросаться в глаза не только сторонним наблюдателям, но и им самим. Хлебникова, автора теории самовитого слова, безостановочно тянуло к синтезу Слова с математикой, историей, орнитологией и живописью; Филонова, художника-авангардиста, анализирующего элементы формы в их непрерывном развитии, – к поэтическому Слову: в 1915 году он опубликовал свою поэму «Проповень о проросли мировой».

Нетрудно заметить, что «заумь», как литературный приём, заключающийся в полном или частичном отказе от всех или некоторых элементов естественного языка, как один из инструментов, при помощи которого создаётся самовитое Слово, была близка Филонову, теоретику искусства живописи, автору теоретической работы 1912 года «Канон и закон». Кстати, прочитав первый литературный опус Филонова (изданный во время Первой Мировой войны), Хлебников очень высоко оценил дебют художника на литературной ниве. Хлебников писал, что *«...от Филонова как писателя я жду хороших вещей; и в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне»*. К слову сказать, встреча Филонова с Хлебниковым описана самим Хлебников в рассказе «Ка», написанное в феврале – марте 1915 года. «Я встретил одного художника и спросил, пойдёт ли он на войну? Он ответил: “Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжёл, что и у войска за пространство”. Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишнёвые глаза и бледные скулы. Ка шёл рядом. Лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мест».

Время... У Поэта и Художника отношение к нему было одинаковое. Им его не хватало – они его изменяли. Подстраивали под себя. Словно сами они были из другого Времени, и оно, то Время, служило эталоном при перестройке этого Времени. Они нашли друг друга, были удовлетворены найденным, но общались редко, словно опасались пресыщения, даже некоторой зависимости от частых контактов. Их встречи напоминали мировой форум по обмену опытом выращивания идей, на первый посторонний взгляд, не имевших к действительности никакого утилитарного значения; идей, вырванных из контекста чужой летописи и по недоразумению насильственно втиснутых в российский культурогенез. Но и они – Хлебников и Филонов – два безусловных гения, даже внешне отличались от среднестатистических российских обывателей. Филонов писал не только автопортреты, но и портреты Хлебникова, а это – лучшее подтверждение сказанного. Что уж говорить об их интеллектуальном потенциале и духовном мире...

В 1913 году выходят две книжки произведений Хлебникова: поэма «Война – смерть» и сборник стихов «Ряв!». Обе они отображают отношение автора в том числе и к войне. И отношение это мало чем отличается от отношения Филонова. Война – конец всему, в том числе и Времени, поисками которого были напряжённо заняты оба. К 1914 году популярность и известность Хлебникова достигли апогея. Он стал идеологом отечественного футуризма, отставив его приоритет перед итальянским футуризмом, что особенно ярко выразилось во время приезда в Санкт-Петербург в начале 1914 года родоначальника итальянского футуризма Филиппо Маринетти. Хлебников не только демонстративно игнорировал все выступления итальянского поэта (в будущем – один из основоположников фашизма в Италии, участник Сталинградской битвы в составе 6-ой армии Паулюса), но и выпустил совместно с Бенедиктом Лифшицем листовку, содержание и дух которой были абсолютно сообразны его отношению к Маринетти. *«Сегодня иные туземцы и итальянский посёлок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благодородную выю Азии под ярмо Европы...»*.

Подобный демарш явился причиной охлаждения отношений между Хлебниковым и Давидом Бурлюком; а через короткое время Хлебников стал отходить и от футуристов. Хлебников серьёзно занялся законами времени, разрабатывая формулы и последовательности алгоритмов развития, по которым можно было абсолютно точно определить, что ждёт человечество или каждого отдельного человека в будущем. Так им было вычислено число 317 – оно, как показывали вычисления Хлебникова, – равнялось количеству дней, разделявших в жизни Пушкина самые важные для него события. Позднее он применял это число и к другим событиям общен исторического значения, будучи абсолютно уверенным в его прогностической или футурологической универсальности.

В конце 1915 года Велимир Хлебников основал утопическое «Общество Председателей земного шара», состоявшее из 317 человек, произвольно внесённых им самим в список; это «Общество» являлось по его задумке правительством «Государства Времени». Помимо самого Хлебникова в число Председателей вошли Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк, Сергей Маковский, Василий Каменский, Николай Асеев, Рюрик Ивнев, Дмитрий Петровский, Михаил Кузмин, Рабиндранат Тагор, Сергей Прокофьев, Александр Керенский, Герберт Уэллс и художница М. М. Сняжкова-Уречина. В этом списке можно было найти поэта Владимира Маяковского, художника Казимира Малевича, литературоведа и критика Осипа Брика, поэта Бориса Пастернака, лётчика Кузьмина. Посмертно в этот список был внесён двадцатилетний поэт Богдан Петрович Гордеев (псевдоним – Божидар), покончивший жизнь самоубийством в знак протеста против начавшейся Первой Мировой войны, самый талантливый и последовательный ученик Хлебникова.

В своём антивоенном манифесте «Труба Марсиан» (под марсианами понимались футуристы), появившемся летом 1916 года, Хлебников сформировал намерения правительства «Государства Времени». «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей... Пусть возрасты разделятся и живут отдельно... Право мировых союзов по возрасту. Развод возрастов, право отдельного бытия и делания... Мы зовём в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветёт как черёмуха и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника шилит времена на доски и как токарь обращается с своим завтра. Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени (лишённое пространства) и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очути(т)ся в зверинце, изобретатели или приобретатели, и кто будет грызть кочергу зубами».

«Труба марсиан» была напечатана в Харькове на деньги автора, в связи с чем Хлебникову пришлось съездить в этот город. Вообще-то, исследуя биографию Велимира Хлебникова, создаётся впечатление, будто передвижение в пространстве ему было намного комфортнее существования в каком-то одном,

определённом месте. Трудно подсчитать, сколько десятков тысяч километров наездил этот тихий с виду, молодой человек за свою недолгую жизнь! Так как его родители жили в Астрахани, он туда к ним периодически приезжал. Но даже в Астрахани, у родителей он никогда не жил постоянно, всё время куда то ездил, совершая вояжи далеко от города в дельте Волги. А уж когда началась Первая Мировая война, и он, её принципиальный противник, лишённый чувства державного патриотизма и любви к современной ему России, принялся, как сейчас говорят, «уклоняться от службы в армии», его перемещения приняли калейдоскопический характер.

Война застала Виктора Владимировича Хлебникова двадцати восьми полных лет (призывной возраст) в Астрахани. Поскольку детей у него не было (как и семьи), тяжкими болезнями и недугами он не страдал, никаких отсрочек от службы он не имел, то была ему прямая дорога – в солдаты, на германский фронт! И Хлебников тут же переместился в Москву, оттуда – в Петроград, где, недолго прожив, отъехал в Шува-лово, потом снова – в Астрахань. Из Астрахани Хлебников через Царицын едет в Москву, немного погодя заторопился в Петроград, а оттуда – в Куоккала, где в то время обитали футуристы, часто встречаясь у Чуковского или Репина. О своём пребывании в Куоккала Велимир в письме сообщал следующее: *«Печатаю свои зимние работы. Имею множество неглубоких поверхностных знакомств, наметил дороги к дальнейшим задачам из области опытного (через опыт, а не умозрение) изучения времени. Таким я иду в века – открывшим законы времени».*

Шёл ему тридцатый год, и отношение к старшему поколению, неспособному адаптироваться к быстро меняющемуся времени, он уже неоднократно определил не только для себя, но и для окружающих через содержание своих манифестов и деклараций. Именно подобная позиция, позиция неприятия участия старого поколения в построении новой России, привела однажды к ссоре Велимира с Ильёй Репиным. Вероятнее всего, причиной ссоры изначально был принципиальный пацифизм Хлебникова, расцененный Репиным, как неуклюжее оправдание трусости и боязнь пролить свою кровь за Русь-матушку. Когда в разговоре речь зашла о мобилизации и постоянного её избегания Хлебниковым, то поневоле вспомнился генерал-лейтенант Александр Лукомский, отвечавший за мобилизацию в русской армии и много сделавший в борьбе с дезертирством. Дальше не трудно догадаться, чем всё закончилось. Хлебников об этом оставил запись: «Ссора с Репиным из-за Лукомского. “Я не могу больше оставаться в обществе людей прошлого и должен уйти”. Репин: “Пожалуйста, мы за вами не пойдём”».

Поэты России очень высоко ценили свой талант, своё поэтическое предназначение, чтобы безрассудно подвергать на войне этот дар случайным опасностям. Из огромной плеяды российских поэтов лишь двое ушли на Мировую войну добровольцами, воевали храбро, честно, имели ранения, как, впрочем, и награды: Николай Гумилёв и Бенедикт Лифшиц. Другие поэты призывного возраста в лучшем случае служили в санитарных командах и то только потому, что не смогли подчистую освободиться от какой-либо воинской принадлежности во время войны. Лишь Александр Блок служил во время войны в инженерных частях, да и то, как признавался он сам матери, его интересы того времени были «кушательные и лошадиные». Сергей Есенин не без хлопот со стороны почитателей, пользовавшихся влиянием в правящих кругах, служил санитаром в Царскосельском военно-санитарном поезде № 143 Её Императорского Величества Государыни императрицы Александры Фёдоровны. Часто выступал перед императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерьми. Николай Клюев, вообще, присягу не принимал. Алексей Толстой был военным корреспондентом, в годы войны побывал во Франции и Англии, где с думской делегацией в ту пору находился и Корней Чуковский.

Война... На Первой Мировой войне погибло около 1,5 млн. россиян. Никто из поэтов на войне не погиб. Вот запись, сделанная тогдашним писателем, в последствие белоэмигрантом Борисом Лезеревским, несколько проливающая свет на отношение к поэтическому цеху, чьё мироощущение было пронизано пацифизмом. 25 августа 1915 года Лазаревский не без издевательства, но откровенно пишет: *«Хлебников, конечно, дегенерат, но симпатичнее Маяковского. Ах, как было бы полезно для обоих футуристов опуститься в ряды войск!».* Представляется, что подобным образом своё отношение к пацифистам выражали многие... Разругавшись с Репиным, Хлебников опять уехал в Астрахань, где и был призван в армию 8 апреля 1916 года. Для поэта служба в армии, пусть не действующей, пусть в резервном полку, была настоящей катастрофой, медленной казнью, избежать которую не представлялось никакой возможности. Хлебников, находясь в Царицыне в 93-м запасном пехотном полку, медленно деградировал, опускаясь до животного уровня. Вымирал...

Даже не во фронтовых условиях, даже в казарме, в глубоком тылу, недалеко от родителей, как мог не потерять человеческий облик человек, само отношение к жизни которого было совершенно не материальным, и уж тем более не прагматичным? Об образе жизни Хлебникова накануне его призыва на службу



в армию Лиля Брик оставила позднее ряд воспоминаний. «У Хлебникова никогда не было ни копейки, одна смена белья, брюки рваные, вместо подушки наволочка, набитая рукописями. Где он жил – не знаю... Писал Хлебников постоянно и написанное записывал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой город... – наволочку оставлял где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, но большинство рукописей всё-таки пропало. Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки – обязательно всё перепишет наново, и так без конца. Читать свои вещи вслух он совсем не мог, ему делалось нестерпимо скучно, он начинал и в середине стихотворения способен был сказать *и так далее*... Я никогда не слыхала от него ни одного пустого слова, он никогда не врал и совсем не кривлялся, и я была совершенно убеждена, да и сейчас убеждена в его гениальности».

Тихий, неслышный, скромный, застенчивый и молчаливый Хлебников, тем не менее, прекрасно осознавал свой поэтический уровень и меру своего таланта. Он осознавал свою исключительность и не мог понять, почему многие, окружающие его, с этим не считают, не выделяют его, не создают ему комфортных условий существования. Особенно подобная самооценка выявилась в начале военной службы. Армейский казарменный быт ещё больше спровоцировал в Хлебникове представление о своей исключительности. Вот, что писал он родным через месяц после призыва на военную службу: *«Я в мягком плену у дикарей прошлых столетий. Писем давно не получаю. 1 посылку получил и 20 рублей. Больше ничего. 15 мая была комиссия, и меня по милости капитана Супротивного назначили в Казанский военный госпиталь. Но до сих пор я не отправлен. Я много раз задаю вопрос: произойдёт или не произойдёт убийство поэта, больше – короля поэтов, Аракчеевщиной? Очень скучно и глупо».*

Уже в июне 1916 года, находясь в резервном полку в Царицыне, Хлебников пишет своему знакомому Кульбину, приват-доценту Военно-медицинской академии, письмо, представляющее собой истошный крик о помощи: «Я пишу вам из лазарета “чесоточной команды” (отделения кожных заболеваний). Здесь я временно освобождён от в той мере несвойственных мне занятий строем, что они кажутся казнью и утончённой пыткой, но положение моё остаётся тяжёлым и неопределённым. Я не говорю о том, что находясь среди 100 человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем, до проказы включительно. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание... где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я другой – не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я ещё жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло – оправдание другого зла и их цепи? Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства, то есть земледельцев. Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе».

Д. Петровский, приехавший в Царицын навестить Хлебникова, сообщает о нём следующее: «Виктор Владимирович шёл ко мне через двор, запиная что-то в рот и закрывая рот и ложку левой рукой. Обрадовался и так, не спросив ни у кого из начальства, пошёл со мной. Я тоже обо всём этом позабыл, так я был потрясён его видом: оборванный, грязный, в каких-то ботфортах Петра Великого, с жалким выражением недавно прекрасного лица, обросшего и запущенного. Мне вспомнилось: Король в темнице... Я привёз много новых книг с его стихами, в том числе “Московские мастера”, “Четыре птицы” и пр. Он жадно на них набросился, лицо его преобразилось, это был опять прежний мастер Хлебников. Он решил, что теперь, когда я уеду, он время от времени будет снимать номер в гостинице, сидеть и читать, воображая, что он приехал как путешественник и на день остановился в этой гостинице, вполне беззаботный... Ещё раз в эту неделю видел я Хлебникова блестящим всем остроумием и весёлостью, когда им сочинялась эта лекция, и я с его слов набрасывал её конспект. Сколько раз мы съезжали в сторону от темы, и было необычайно интересно следить за ним и толкать его дальше и глубже». Тогдашний приезд Петровского в Царицын ознаменовался тем, что он с Татлиным устроил совместное выступление, на котором был прочитан антивоенный доклад «Чугунные крылья», написанный Хлебниковым.

Кульбин, к помощи которого Хлебников обращался, прислал в ответ письмо, в котором он засвидетельствовал *«чрезвычайную неустойчивость нервной системы»* и *«состояние психики, которое никоим образом не признаётся врачами нормальной»*. На основании этого диагноза, царицынское начальство отправляет Хлебникова на обследование в астраханскую больницу. Там он смог во время обследования жить дома у родителей. Пока ожидалось решение комиссии, он ещё мог бороться с депрессией, пребывая большую

часть времени в окружении матери и отца. В конце сентября 1916 года он написал Матюшину: *«Я ещё на свободе пока. Дальше не знаю».*

А ведь всего-то за два года до описанных событий, когда солдатская лямка не довела над психикой, и можно было безнаказанно эпатировать публику любыми декларациями, противными «общественному вкусу», Хлебников писал Василию Каменскому, смело и задиристо, словно его пытался убедить, будто написанное – истина! *«А вообще – мы ребята добродушные: вероисповеданье для нас не больше, чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые, косые). Или с рогами или без рог родился зверёныш: с рогами козлёнок, без рог телёнок, а всё годится – пуцай себе живёт (не замай). Слововия мы признаём только два – слововие “мы” и наши проклятые враги... Мы – новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы».* В форме солдата резервного полка, ни разу не услышав выстрелов полевых орудий, Хлебников провёл на берегах Нижней Волги меньше года. С крушением самодержавия в феврале 1917 года служба его закончилась.

А кто же тогда, извините за вопрос, должен был, по мнению Хлебникова, воевать? Кто предназначен был стать пушечным мясом, кормом для окопных вшей, отдавать свои жизни за родину, оставлять семьи без кормильца, мучится в концлагерях неприятеля, стать обузой для близких, вернувшись домой инвалидом; кто обезопасить должен был самобытную культуру России, с винтовкой в руках идя в атаку на неприятеля? Хлебников считал, что это удел тех, кто не относится к сословию «Мы», то есть, все не футуристы-будетляне. Кто держится за старое. А кто консервативнее всех в России? Конечно, крестьяне. Хлебников в своём письме без обиняков называет земледельцев своими врагами, толпой, большинством, предназначенным для всего того, что могло убить в Хлебникове поэта, «короля поэтов». Их удел воевать и погибать, а Хлебникова – писать антивоенные доклады.

«Российский Диоген», каковым, по сути, являлся Хлебников, был вне социума, на инстинктивном уровне дистанцируясь от общественных обязанностей, живя, словно не замечая, вообще, какого-либо быта, денег, собственности, производственно-экономических отношений, семейных структур. Создается впечатление, что ему совершенно неизвестны были слово и понятие «Надо». Гипертрофированный интроверт, убеждённый в том, что он «король поэтов» и «Председатель земного шара», не подвергавший сомнению своё право поэта на «личный язык» – заумь, лишь от того, что творец индивидуален! Хлебников – Диоген начала XX века! Тот тоже, когда Афины готовились к отражению македонских войск, не приложил никаких усилий для защиты своего отечества, потому что полагал, будто для «гражданина мира» не годится заниматься муравьиной вознёй.

От службы в армии Хлебникова освободила Февральская революция 1917 года. Покинув свою часть, Велимир отправился в Петроград, туда, где градус социального кипения готов был взорвать котёл старой жизни. На трупах ретроградов и руинах консерватизма следовало возвести прекрасный дворец новой жизни, и Хлебников, как представитель заказчика, торопился принять участие в наблюдении за строительством. Однако в Твери он был задержан и чуть было не отдан под трибунал, как дезертир, в военное время самовольно оставивший военную часть. После недолгих проволочек ему удалось на законных основаниях оставить родину Афанасия Никитина и продолжить передвижение к столице. Отношение его к революции было до смешного наивным: духовный максимализм в его взглядах неестественно сочетался с политическим инфантилизмом, а субъективная революционность – с иллюзорным представлением о характере и задачах революции. Встретившая его в Петрограде Нина Коган, чуть позже – постановщик в Витебске «Супрематического балета», так описывала Хлебникова в дни лета 1917 года: *«...был сравнительно в спокойном состоянии, освобождён от отбывания воинской повинности, хотя одет был в серой шинели и солдатском обмундировке. Ноги обуты в лапти. Весь костюм запылен, измят, особенно фуражка. На ней он писал карандашом за отсутствием записной книжки. Остался в памяти ответ на мой вопрос: “Каждый ли поэт может написать по-настоящему хорошие стихи?” – “Стихи, – сказал он задумчиво, – это всё равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор ещё никто не был”».*

Время вокруг Хлебникова взрывалось убийственными фугасами, имевшими, к сожалению, внешней привлекательности фейерверков. Время-волк, пожиравшее не только людей, но и тысячелетнюю культуру, многовековую российскую цивилизацию, было обряжено в овечью шкуру, что дезориентировало очень многих проникательных и прагматичных людей – что уж говорить о Хлебникове, человеке живущим идеями и химерами, ничего не имевшим с материальной стороной бытия. В один огромный праздник перехода к новой жизни превратился для Хлебникова период его пребывания в Петрограде в 1917 году. Он весь светился от переполнявших его эмоций: вот, вот оно, предсказанное им пять лет назад; он дождался торжества своего пророчества, он примет участие в строительстве новой жизни, отвечающей требованиям нового времени. И необходимо подключить к этому великому деланию других, находившихся на

тот момент неподалёку, председателей земного шара, пусть продуктом совместного труда гениев станет Мир, какого ещё не знало человечество.

Одна голова хорошо, а две лучше. Лишняя пара рук не помешает. Совместными усилиями легче будет сбросить с гондолы поднимающегося к небесам аэростата балласт старой жизни. Кто из председателей, занесённых им самим в список из 317 человек, был в те дни в Петрограде? Не так уж и много... Среди них и Керенский. Очарованный предреволюционной либеральной деятельностью известного адвоката, Хлебников ничтоже сумняшеся занёс Александра Фёдоровича в свой список председателей. Но уже через два месяца, в апреле 1917 года, как и другой архитектор будущего, он разразился то ли декларацией, то ли манифестом (чуть не вырвалось – «Апрельскими тезисами»), то ли воззванием председателей земного шара: *«Мы говорим, что не признаём господ, именующих себя государствами, правительствами, отечествами и прочими торговыми домами, книгоиздательствами, пристроившими торговские мельницы своего благополучия к трёхлетнему водопаду потоков вашего пива – и нашей крови выделки 1917 с кроваво-красной волной. Дырявой рогожей слов о смертной казни вы завесили глаза Войны, с родиной на устах и уставом военно-полевых судов».*

От либерализма до диктатуры, как известно, один шаг. Ещё меньшее расстояние порой приходится преодолевать либералу, чтобы стать диктатором. Керенский уже находился на этом пути. И не просто Керенский, а один из председателей земного шара! Это было расценено, как пощёчина тем, кто сам привык отшвыривать пощёчины... общественному вкусу. Хлебников и другие председатели решили в накладе не оставаться. Они встречались, обсуждали ситуацию, решили... Вот что написал об этом сам Хлебников: *«В Петрограде мы вместе встречались. Я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Пивнев и другие председатели. В эти дни странной гордостью звучало слово “большевичка”, и скоро стало ясно, что сумерки “сегодня” будут прорезаны выстрелами. Дмитрий Петровский, в чёрной громадной папаше, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно: “Чувешь?– Шо воно диється. Ни як в толк не возьму!” – говорил он и загадочно набивал трубку с таким видом, который ясно говорил, что дальше не то ещё будет. Он был настроен зловеще. Кто-то из трёх должен был пойти в Зимний дворец и дать пощёчину Керенскому».*

Автор «Апрельских тезисов» не скатывался до уровня подобных мелкобуржуазных разбирательств и выяснений отношений, он, наверное, вообще, не видел смысла в мордобое, особенно в таком картинном и театральном, какой намеревался поставить Хлебников с трупной председателей земного шара на подмостках Зимнего. И поскольку мы давно уже знаем, кто победил в соревновании мироустроителей, поражение Велимира и победа Ленина объясняются полным пренебрежением первого к политическому прагматизму, социологии, социопсихологии и политэкономии. И возведением целесообразности в догму, доведение культа прагматизма до уровня цинизма – второго. Некоторые возразят: Хлебников, дескать, был поэтом и личной власти не добивался, она ему, вообще, была непонятна, противопоказана, чужда. Да, так и есть, Хлебников и власть – понятия равнозначные по определению противоположностей, как, например дьявол и ладан. Но и Хлебников не устояв, подвергся искушению, попытавшись (и довольно сознательно, напористо) вмешаться в ход событий, накатывавших на Россию в 1917 году, как приливная волна. Вот, что излагал он в обращении к рабочим:

«Мы – особый вид оружия. Товарищи рабочие, не сетуйте, что мы идём особой дорогой к общей цели. У каждого рода оружия свой строй и свои законы... Мы рабочие-зодчие (социал-зодчие)».

Из этого текста совершенно ясно, что в 1917 году Хлебников стал заложником собственных иллюзий и химер, поражённый к тому же, как определили бы в конце XX века, стокгольмским синдромом. Человек, не имевший о реальной жизни ни малейшего представления (потому, что не замечал её, как не замечает отношений в семье летающая по комнате пчела), тем не менее искренно полагал, что только такие как он, представители творческой богемы, могут быть застрельщиками революции, итогом которой станет создание государства времени. А рабочие... – пусть извинят его и ему подобных за то, что лишили их возможности рулить в нужном направлении.

И ещё... Самое удивительное из биографии Хлебникова того времени. От имени председателей земного шара Хлебников направляет письмо в Мариинский дворец. Письмо датировано 23 октября (5 ноября по григорианскому стилю – за двое суток до знаковых событий) 1917 года. Человек, никоим образом не связанный с партией большевиков, не имевший ни малейшего представления об их планах по захвату власти, пишет Временному правительству: *«Правительство Земного шара постановило: считать Временное правительство временно не существующим».* А через двое суток произошёл исторический залп Авроры... Однако почему Хлебников полагал Временное правительство временно не существующим? У него были основания полагать, что его время ещё вернётся? А если были, то когда это время должно было прийти? Ответить на эти вопросы теперь невозможно...

Хотя... Пришедшее после 1991 года к власти в России либеральное правительство Ельцина немногим отличалось от правительства Временного. Вот только не расчистило дорогу политической диктатуре монопартийного тоталитаризма. А так – абсолютная адекватность признаков...

Приход большевиков к власти Хлебников встретил в Москве, разгуливая с Дмитрием Петровским по районам, подверженным артиллерийскому обстрелу. Абсолютная неадекватность происходящему, какой-то потусторонний интерес к жертвам боёв (о чём Петровский оставил свидетельства), наглядно подтверждают практически физическую отстранённость Хлебникова от реалий социального процесса, неспособность его заглянуть чуть глубже собственных фантазий и заданных самому себе представлений о том, как и когда должно в жизни России произойти то или иное... В принципе, он был не уникальным «чудаком», представлявшим, что окружающий мир должен соответствовать его соображениям, мечтам, грёзам и галлюцинациям. История земной цивилизации знает много подобных теоретиков, не любивших людей, но радевших о человечестве, и сильнее всего обожавших собственную неординарную персону, до поры не сомневаясь, что только от неё зависит будущее. Но когда штурвал происходящего оказывался в руках политических прагматиков, теоретики и фантазёры отшвыривались за борт, как случайный мусор на палубе во время аврала. И тогда с последним возгласом: «Каргул, нас не поняли!!!», в последние десятки доли секунды к жертвам собственных умопостроений приходило горькое понимание того, что не от них зависит будущее...

А сколько прожжённых политиканов, прагматичного жулья и аферистов международного класса, съевших собаку на всевозможных подлогах, интригах и закулисных играх, роковым образом ошиблись в природе большевистской власти... Одни думали, что новая власть дольше двух месяцев не продержится, другие полагали большевиков за стажёров от политики, которым понадобятся наставники (они имели ввиду самих себя в этой роли), а третьи не сомневались, что при любом политическом режиме они будут востребованы, а, значит, и процветать. Роковым образом обманулись все! Что уж говорить о таких, как Хлебников. Ведь кто в реальности делал революцию? Те, для которых она была средством достижения цели – власти! Для кого не существовало моральных, нравственных и этических барьеров, сдерживавших стремление уничтожить не два, так пять-десять миллионов человеческих жизней, вставших на пути к всё той же вождельной власти. Их ближайшее окружение и соратники, не сомневавшиеся, что и им перепадут крохи властных полномочий с господского стола. Огромные массы обманутых и соблазнённых лукавыми призывами к социальному равенству и имущественной справедливости. И, конечно, те, кто инвестировал средства в эту самую революцию, оставаясь всё время в тени и вдали от схватки, ничуть не сомневаясь в получении процентов от вложенного капитала. *Хлебниковых* в их среде не было! Они были лишними! Правда, понимание этого пришло не сразу ни к *Хлебниковым*, ни к тем, кто делал революцию.

Разумеется, перед Хлебниковым, как и перед многими другими поэтами-бунтарями, поэтами-реформаторами от футуризма, не стоял вопрос о принятии или непринятии революции. Почему? Потому что это был их шанс стать официальными рупорами революции, то есть быстрого перехода от старого мира к новому, которого они, как им представлялось, были провозвестниками. История ничему их не учила, было такое ощущение, что печальные судьбы совестливых идеалистов, пошедших вслед за предыдущими революциями, их минует. Наверное, они всё-таки знали историю. Но уверены также были, что история, это багаж прошлого, а с ним следует раз и навсегда расстаться, иначе нового мира не построить. *«Кто не помнит своего прошлого, обречён повторять его вновь»* – афоризм Сантаяны, кстати, убеждённого противника демократии, напрямую относился к судьбам таких провозвестников как Хлебников, Маяковский и многих, многих других, долго ли, коротко ли прошагавших под знамёнами революции. *«Так как они сели ветер, то и пожнут бурю...»* (Осия 8:7) – бурю, жертвами которой стали и они сами.

Как выяснилось позже, в Москву в конце 1917 года Хлебников приехал вместе с Каменским и Давидом Бурлюком по приглашению известного булочника Филиппова, собиравшегося привлечь друзей-футуристов для редактирования художественного журнала. Дмитрий Петровский вспоминал об этом в том плане, что Хлебников как раз в означенное время говорил ему, что будто Филиппов заказал ему к написанию какой-то роман. Какой роман мог предложить к написанию Дмитрий Дмитриевич Филиппов, когда его предприятия были национализированы сразу после событий октября 1917 года, остаётся до сих пор невыясненным. Сдаётся, что Хлебников сказал об этом товарищу только лишь за тем, чтобы тот не докучал ему укорами о неустроенной жизни. А укорять то было за что. Вот, например, воспоминания сестры поэта Веры Владимировны, которую никак не заподозришь в очернении образа своего брата. *«Меня в Москве пригласили быть редактором одного журнала. Я согласился, получил аванс на расходы: кошелек, туго набитый деньгами; вышел с ним на улицу, прошёл немного и раздумал... вернулся обратно и отдал кошелек, отказавшись от должности*



редактора...». «Это слишком меня связывало» – добавил он задумчиво. Здесь Вера Владимировна цитирует рассказ своего брата о событиях в Москве, связанных с редактированием журнала, об отношении брата к обычной, ежедневной работе, приносящей заработок и возможность существовать, не зная нужды. Однако именно это интересовало брата меньше всего. Его пугало, что «за суматохой дел» он утратит возможность, а потом и способность творить. А творить он был готов в любых условиях, назвать которые человеческими не повернётся язык.

После октябрьских боёв в Москве Хлебников уезжает к родителям в Астрахань и живёт там несколько месяцев, а возвращается в Москву только весной 1918 года. Один московский врач предоставил ему возможность жить и столоваться в его доме, но постоянные попытки хозяйки направить жизнь поэта по обывательскому руслу, бросить постоянные разъезды и поступить на службу, вынудили Хлебникова вновь отправиться в странствия. На этот раз объектом объезда стало Поволжье. Убеждённости в том, что у него особый путь в жизни, не напоминающий жизнь устроенную, гарантирующую семью и достаток, сочеталась у Хлебникова с откровенной беспомощностью, враждебностью к обывательскому быту и наивным отношением к окружающей действительности. При этом он никогда не жаловался на житейские неудобства и голод, а, как это бывало не раз, бросал место жительства и перебирался в другие края. И, что хотелось бы отметить особо, не был при всём том пессимистом, никогда не придавался унынию. Не прекращающаяся работа мысли была для него лучшим жизненным стимулом, той отдушиной, через которую он дышал горным воздухом.

Но до Астрахани в тот раз Хлебникову добраться не удалось – всё-таки Гражданская война не способствовала движению транспорта по графику. И он вынужден был остановиться в Казани. Там он встречает Спасского, и вот как Спасский описал их случайную встречу. «Закурили и, сытые, гордо вышли на пристань. Город лежал в верстах в двух от реки... “Что, если пуститься пешком?” – “Конечно, – ответил Хлебников. – Только лапти нужны. Мы можем продавать папиросы. Я сегодня думал об этом. Будем читать на улицах стихи. За это нас будут кормить”, – заблуждаясь и представляя мир более добрым, строил предположения Хлебников». Из Казани Хлебников вернулся в Нижний Новгород, где опубликовал несколько стихотворений и принял участие в альманахе «Без муз». Из Нижнего Новгорода он перебрался в Харьков, где из-за нужды во всём и голода превратился в классического оборванца, каким он запомнился тем, с кем он общался в те годы.

Кроме неприятностей бытовых (которых, кстати, он словно бы и не замечал вовсе) последовали неприятности, не заметить которые было невозможно даже ему. В 1919 году белые, захватив Харьков, приняли странного вида поэта за шпиона, арестовали, а потом перевели в психиатрическую больницу, где он пребывал до тех пор, пока войска Красной Армии не изгнали деникинские войска из города. Советская власть обеспечила Хлебникова работой, а, значит, и куском хлеба. С голода поэт не умирал, но в бытовом отношении не изменилось ничего – он продолжал вести полурастительный образ жизни, ничуть при этом не ощущая какой-либо ущербности от этого. Вот воспоминания современника о пребывании Хлебникова в Харькове. «Жил (Хлебников) около Епархиальной улицы в одноэтажном флигеле во дворе. Окна... только на террасу. Всегда темно. Стол завален рукописями. Кровать без подушки, белья. Служил в Главполитпросвете, питался пайком. Часть пайка выменивал где-то на обеды. Караван хлеба стояли до следующего получения пайка (10-15 дней), черствели; пища кроме обедов – хлеб, сахар, чай. Одежды никакой – обношенная красноармейская; добавления пробовали мастерить из занавесок. Мало тяготился. Из пищи единственное желание – фрукты. Работа... мало клеилась. Хотел перевода в агитационный поезд. Потом всё упорнее стал говорить об Астрахани, Персии.

Продолжал исторические сочетания с числами. Метод – доставался энциклопедический словарь, даты великих людей, тут же всевозможные сочетания на обрывках. Но больше всего мечтал о формуле зависимости из области астрономии, формула эта должна была связать астрономические явления со словом, алфавитом, происхождением языков (позже один видал в Москве – говорил, что в Персии формула найдена). Думал о скрытом значении букв (звуков речи), имел тогда несколько стихов, которые были посвящены этому. Думал о создании международного языка именно на этих основах, мечтал о специальной лаборатории (кто-то обещал в Царском селе (?) для этой цели. Из стихов в то время писался «Ладомир»... Из рукописей того времени, кроме стихов о звуках речи, помню «Стенька Разин»... читается слева направо и наоборот (палиндром)... дорожил своими предсказаниями о 1917 годе. Очень высоко, на первое место, ставил Каменского. Высоко ставил Маяковского. Ценил Асеева, Есенина. Холодно говорил о Пастернаке... Восторженно отзывался о коммунизме. Придя с собрания, говорил, что оно напоминает ему храм, новую религию. Говорил о желании записаться в партию.

Был несколько мнителен. Говорил, что многие пользуются, берут рукописи, идеи. Говорил о печатании многого без согласия... Часто вспоминал хорошо о сумасшедшем доме. Перед отъездом хотел идти туда прощаться... Жил одиноко. Посещений не любил. Заходили – Петников, Перцев, Ермилов (художник, издававший «Ладомир»). Уехал, билет дали в Главполитпросвете до какой-то промежуточной станции на Юг. Мечтал о Юге, Персии. В Москву не хотел. Когда уезжал, не имел с собой ничего, остаток последней получки жалованья».

Во время пребывания поэта в Харькове, случилось событие, о котором упоминают все биографы Хлебникова. И не только его. Потому что речь идёт о том, как Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф организовали в Харькове избрание Хлебникова председателем земного шара. А у Есенина и Мариенгофа тоже есть свои биографы. Следует заметить, что к этому времени Хлебников уже отошёл от футуризма, самостоятельно определяя для себя новые поэтические методы и формы. Что уж говорить об его отдалённости от других направлений: акмеизма, имажинизма, постсимволизма и других более мелких школ и направлений. Правда, при всей этой отдалённости, Хлебников не утратил хорошего отношения к самим поэтам этих направлений. К Есенину, например. И, тем не менее, ситуацию с «избранием» никак иначе, как абсурдной, циничной и издевательской по отношению к Хлебникову не назовёшь. Велимир, жизненно наивный и незащищённый, тем не менее, абсолютно суверенный в выборе путей деятельности, её форм и пристрастий или симпатий, вынужден был из одного только уважения к организаторам лицедействовать на публике, чтобы таким образом соответствовать буржуазно-богемным представителям имажинизма (Есенина и Мариенгофа) об эпохальности и значимости организованного ими мероприятия.

«Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщовой рясе, босой и со скрещёнными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мною акафисты, посвящающие его в «председатели». После каждого четверостишия, как условлено, он произносит: “Верую”». Мариенгоф, описывая эту сцену, ничуть не смущается тем, что для читателей его мемуара, всё выглядит, как откровенное издевательство над странным, но незащищённым Хлебниковым: Хлебников для Мариенгофа – шут гороховый. И понятно, почему для Велимира, например, ближе и понятнее были Асеев и Маяковский – они, как и он, тяготясь канонами футуризма, искали каждый свою колею, даже на фоне экстремистов из Пролеткульта выглядели чуть ли не классиками академизма. У них было общим чувство независимости в творчестве, неуспокоенности, и они никогда не опускались до унижительных насмешек над своими конкурентами по поэтическому цеху, не говоря уже о друзьях. Мариенгоф – другое. Потомок остзейских дворян, воинственный безбожник, он всегда стремился быть в авангарде перемен, не гнушаясь при этом своего рода интеллектуальной фрондой, издавая за рубежом враждебные пролетарской идеологии произведения, романы «Циники» и «Бритый человек». Чуть позже, заметив, что подобные шалости могут реально отразиться на его материальном положении и социальном статусе в худшую сторону, Мариенгоф истово каялся в содеянном.

Маяковский и Асеев принимали Хлебникова таким, каким он был, не ёрничая над ним, не упрекая в социальной и бытовой беспомощности, а делая единственное, что могло ему помочь – занимались изданием его произведений. Что ещё можно было сделать для человека, всерьёз собравшегося в Персию, и чуть было не вступившего в РКП(б)? Путешествие в Закавказье и Персию спасли Хлебникова от нападков со стороны Пролеткульта. Но не только это. Как раз тогда, когда в Харькове происходило описанное выше «избрание» поэта председателем земного шара, в этом городе внезапно от сыпного тифа в возрасте 33 лет скончался один из самых радикальных идеологов пролетарской культуры Павел Карлович Бессалько. Эта фамилия, так же, как и её носитель, теперь благополучно забыты, поэтому о Бессалько несколько характеризующих его фраз.

«Если кто обеспокоен тем, что пролетарские творцы не стараются заполнить пустоту, которая отделяет творчество новое от старого, мы скажем – тем лучше, не нужно преемственной связи». «Вы разве не чувствуете, что классическая школа доживает свои последние дни? Прощайте, Горации. Рабочие поэты, писатели образуют свои общества... не нужно преемственной связи». А вот ещё: «С той поры, как красноармеец вернётся с войны, с той поры, как рабочий и крестьянин победят голод, начнётся расцвет нашей культуры, нашего искусства. В нашу жизнь и в вашу смерть мы верим непоколебимо». Вторая цитата приведена из обращения Бессалько к апологетам буржуазной культуры. Так кто он такой, радикальный уничтожитель всего ранее созданного россиянами в области культуры, какими знаниями и каким опытом обладал он, чтобы делать подобные заявления?

Родился Павел Карлович Бессалько в 1887 году в Екатеринославе (ныне – Днепрпетровск), в семье грузчика. С большим трудом ему удалось закончить два класса церковно-приходской школы, после чего он поступил учеником в слесарный цех железнодорожных мастерских. А было ему в ту пору 15 лет. Есте-

ственно, принял участие в революционном движении 1905 – 1907 годов, несколько раз арестовывался, эмигрировал. Во Франции работал слесарем, случайно, в одном русском собрании увидел Луначарского, что и решило выбор его последующей жизнедеятельности. Вернувшись в Россию после Февральской революции 1917 года, стал одним из самых активных проводников в жизнь идей и принципов пролетарской культуры. Отмечая произведения Бессалько, проникнутые враждой и презрением ко всему не-пролетарскому, Луначарский выделял в его творчестве господствующий и довлеющий над формой и содержанием императив: «...утоённая влюблённость в свой собственный класс». В своих произведениях Павел Карлович не дифференцировал крестьянство, изображая его сплошной реакционной массой. При этом он не устал декларировать, что пролетарским писателем может быть признан только тот, кто является рабочим по происхождению. Никто из современных ему литераторов, чьё творчество считается золотым фондом отечественной литературы, не соответствовали подобным строгим требованиям. И уж, конечно, Хлебников.

Конечно, не страх перед бессальковскими перунами гнал Хлебникова на юг: в поисках универсальной формулы, связывающей астрономические явления с генезисом языка, он давно уже собирался в Азербайджан (пер. с персидского – «собирающий огонь») и Персию, родину зороастризма, в котором маги (жрецы-священнослужители) и неугасимые огни являлись главными носителями забытых знаний и главными сакральными атрибутами. Дорога туда была долгой, трудно и опасной – Гражданская война ещё продолжалась, а Закавказье находилось в руках суверенных буржуазных правительств трёх государств. Но неприхотливого Хлебникова, совершенно не отвечавшего представлениям об образе диверсанта или иностранного провокатора, остановить подобные «мелочи» не могли. С упорством Колумба и убеждённости Галилея он изыскивал верные возможности пробраться в южные страны.

Пока же Хлебников продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет статью «О современной поэзии». Статья эта отображает взгляды автора на современную отечественную поэзию и, собственно, на самих поэтов. Велимир положительно отзывался о творчестве Асеева и Петникова, но особенно выделяет творчество Алексея Капитоновича Гастева (1882-1939 гг.), «космизм» которого признан абстрактным пафосом коллективизма, стихи построены по подобию монументальности верлибров Уолта Уитмена, что дало основание Хлебникову назвать Гастева «Соборный художник труда». Один из идеологов Пролеткульта, Гастев не без помощи этой организации опубликовал в 1918 году сборник стихов «Поэзия рабочего удара», выдержавший за восемь последующих лет шесть переизданий. Вот отрывок из рецензии Хлебникова на этот сборник. *«Этот обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности, это не ты и не он, а твёрдое “я” пожара рабочей свободы, это заводской гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина – чулунные листья, расплавленные в огненной руке»*. К слову сказать, это были последние стихи Гастева. Позже он писал только прозу, всевозможные начальствующие циркуляры (будучи председателем Всесоюзного комитета по стандартизации и руководителем Центрального института труда), а в 1939 году – расстрелян как враг народа.

«Рабочий пожар», «рука из пламени», «расплавленные в огненной руке» – даже рецензия на творчество Гастева пронизана теми же сакральными атрибутами зороастризма, среди которых одним из главных являлся культ поклонения огню. И как было не поддаться искушению при сопоставлении двух огненных стихий: культовой и социальной, если существовала возможность через прикосновение к астрологическому опыту жрецов огня, найти ту самую заветную формулу, что раскрывает законы времени, а, значит, раскрывает и будущее! Что творилось в душе и голове Хлебникова накануне поездки в Закавказье, трудно представить, но можно предположить, что он считал не только дни, но и часы до отъезда. 22 августа 1920 года он получает удостоверение на поездку в Баку, в начале сентября покидает Харьков и в конце того же месяца принимает участие в Первой кавказско-донецкой конференции Пролеткульта в Армавире. В это же время в Ростове-на-Дону была осуществлена постановка пьесы Хлебникова «Ошибка смерти». 28 апреля 1920 года части 11-ой армии РККА вошли в Баку. Путь в столицу Азербайджана для Хлебникова был открыт, и в ноябре того же года он прибыл в Баку. Татьяна Вечорка (настоящее имя Татьяна Толстая, урождённая Ефимова 1892-1965 гг.), русская поэтесса, активный сотрудник Кавроста, сопредседатель местного «Цеха поэтов», автор сборника стихов «Беспомощная нежность», так впоследствии описала Хлебникова в своих воспоминаниях:

«Вскоре пожаловал Хлебников, с толстой бухгалтерской книгой подмышкой и недооденным ламтём чёрного хлеба в другой руке. Видом он был нелеп, но скульптурен. Высокий, с громадной головой в рыжеватых, заношенных волосах; с плеч – протёганный ватник хаки, с тейпками вместо пуговиц; на длинных ногах – разматывающиеся обмотки. Оборванный, недоодетый, он казался дезертиром... Помню только: “От утра и до ночи Врангель вяжет онучи” (Един-

ственное, что вспомнила Вечорка о созданных Хлебниковым подписях к рисункам в Кавроста). ... отдав все подписи, раскфыл свой зросбух, исписанный почти наполовину, и стал его продолжать, – не то стихи, не то выкладки чисел и комментарии к ним». А вот ещё одно воспоминание о том времени, когда Хлебников находился в Баку. «Одеяла у него не было, и не было подушки... Впрочем, у него вообще ничего не было. Были только рукописи. С мужской половиной своих сотоварищей по службе он не сходиллся. К женщинам относился доверчивее. Те с ним тоже были проще и теплее. Охотно разговаривал, улыбался и даже среди работы цапал экстролты...».

Весной 1921 года Хлебников отправился в Иран, будучи зачислен лектором в Иранскую революционную армию. Прибыл в Иран 14 апреля 1921 года и находился там всё лето. К этому времени, как вспоминает ещё один очевидец тех событий: «...Хлебников успел “загнать” на базаре свой сюртук, в котором он приехал из Баку. Поэтому, оставшись без сюртука, без шапки, в мешковой рубахе и таких же штанах на голое тело, без сапог, он имел вид оборванца-бедняка. Однако длинные волосы, одухотворённость лица и вообще весь облик человека “не от мира сего” привели к тому, что иранцы дали ему кличку “дервиша”».

Следует, видимо, приоткрыть завесу умолчания причин пребывания частей Красной Армии в Иране, повешенную перед читателями во времена советской власти. Захват 11-ой армией Азербайджана вынудил белогвардейцев отвести свой Каспийский флот в иранский порт Энзели под прикрытием флота и сухопутных частей Великобритании. В мае 1920 года сухопутные части РККА и Каспийская флотилия выдвинулись к Энзели. После непродолжительной бомбардировки и блокирования города с суши, частям РККА удалось добиться капитуляции британских войск. Белогвардейцы вырвались из окружения, отплыв из порта через Энзелинский залив. «Приз», доставшийся победителям, был более чем весомым: около 30 боевых кораблей, 50 пушек, 100 000 снарядов при том, что за всю операцию погиб один красноармеец и десять были ранены. Спланировали и осуществили эту блестящую операцию Киров, Орджоникидзе и Раскольников. Всё бывшее имущество русских торговых предприятий в Энзели Советская Россия безвозмездно передала правительству Ирана.

Сразу же, как только бывшая белогвардейская эскадра была переправлена в Баку, в Гиляне, провинции Ирана, находящейся в непосредственной близости к Энзели, «по странному стечению обстоятельств» вспыхнуло восстание, в результате которого к власти в провинции пришли националисты социалистического направления. Была провозглашена советская республика, дважды вооружённые силы которой безуспешно пытались захватить Тегеран. Правительство Советской России официально обязалось не вмешиваться во внутренние дела Гилянской советской республики, чуть позже названной социалистической. Но это не значило, что соединения РККА не будут вести военных действий против армии Ирана. И они такие действия вели рука об руку с войсками братской Красной Армией Гиляна. Вот почему гилянские сепаратисты дважды замахивались на столицу Ирана. Именно поэтому в руководстве Компартии Гиляна, в её ЦК находился известный авантюрист, левый эсер, позже – большевик Яков Блюмкин. Благодаря закулисной деятельности Блюмкина из руководства республики и компартии были удалены умеренные социалисты, к власти в партии и государстве пришли радикальные коммунисты.

Вот в такой непростой политической и военной обстановке находился «ограниченный контингент советских войск» в Гиляне, и в него, на должность лектора отдела Культпросвета был назначен Хлебников. Обязанностей у него не было практически никаких, и он предавался возможным и доступным в той обстановке удовольствиям: часами купался в море и вместе с художником Доброковским лакомился ухой из сомов. Но Гилянская Красная Армия совместно с братской РККА вновь затеяла поход на Тегеран, колонна красноармейцев выдвинулась к столице и начался второй безрезультатный поход. Замена одних командующих другими, измена третьих – результат интриг Блюмкина – Красным Армиям пришлось отступить от Тегерана и началось возвращение в Баку вдоль береговой линии юго-западного побережья Каспийского моря. Таким образом пребывание Хлебникова в Иране не было продолжительным, но для него самого полным впечатлений, вдохновения и творческой деятельности. Потому что он всё время думал, сочинял и записывал на клочках бумаги результаты своей мыслительной деятельности.

Иран Хлебников представлял себе «колыбелью древней арийской культуры»; влюблённый в неё, Велимир противопоставлял эту материнскую культуру современной ему культуре буржуазной Западной Европы. И это противопоставление было выражено ещё в первом периоде его творчества. И вот он попадает на место! Туда, где когда-то только начинали вызревать зёрна, позже давшие начало цветению великой индо-европейской общности. Здесь он прикоснулся к истокам того паводка, что когда-то затопил Европу несколькими миграционными волнами. И он принялся жадно впитывать то, что арийцы со временем растеряли, тысячелетиями передвигаясь по просторам Евразии, то, что оказалось «затёртым» инкорпорированным этнокультурным субстратом, то, что по его представлениям способствовало бы



созданию некоей формулы, отображающей прямую взаимную зависимость времени и языка, что в конце концов позволило бы предсказывать, вычислять, планировать будущее.

В Иране Хлебников чувствовал себя естественнее, чем в любом другом месте, чем в какой-либо иной обстановке. И хотя существование его комфортным назвать не повернулся бы язык, а переносимые вместе с красноармейцами все тяготы похода сломали бы и более физически сильного человека, Хлебников ни на что не жаловался, потому что внешние атрибуты бытия угнетали его лишь в тех случаях, когда он был лишён возможности заниматься тем, чем хотелось. Как, например, это происходило с ним во время службы в Царицыне в резервном полку, где он буквально умирал, оторванный от мира, в котором ему думалось и работалось. И вот, именно в Иране Хлебников на практике осуществил свободный от условностей цивилизации образ жизни, образ жизни, к которому он всегда стремился. Он стал вести образ жизни странствующего дервиша, каковым изобразил себя в автобиографической поэме «Труба Гуль-муллы», имеющей и другое название «Тиран без Тэ».

Многие исследователи творчества Хлебникова сходятся на том, что «Тэ» в его «звёздном языке» означает остановку движения и уничтожение луча жизни. С этой точки зрения «Тиран без Тэ» не просто Иран, а Иран, обретающий движение и отодвигающий всё, что мешает ему, что уничтожает луч жизни. Или иначе: преодоление неподвижности – вот условная символика заголовка «Тиран без Тэ», восходящая к суждению Хлебникова из заметки 1916 года «Перечень. Азбука ума». Пять лет Хлебников ждал этого, и вот оно свершилось в 1921 году: Иран пришёл в движение! И движение это было вызвано центральной фигурой поэмы – пророком Хлебниковым, спустившимся с гор к народу Ирана, чтобы принести ему весть о новой вере. Образ пророческой трубы, возвещающей о приходе «мессии», и образ Гуль-муллы (как именовали поэта в Иране), заключающие в себе немисливо высокую символику Неба, сошедшего на Землю, чтобы прийти к людям в облике носителя веры – муллы, связанного с Природой (Гуль-мулла – священник цветов), – уже в самом заголовке эти образы несут огромную информацию – в духе Хлебникова.

*Божественно-тёмное дикое око –
Веселья темница.
Волосы падали чёрной рекой на плечо.
Конский хвост не стыдился бы этих верёвок,
Чёрное сено ночных вдохновений,
Стога полночь звёздных,
Чёрной пшеницы стога,
Птичьих полётов пути с холодных и горных снегов
Пали на голые плечи,
На тёмные руки пророка.*

Красная Армия отступает к Баку... Шаги по песку, шаги в темноте, шаги в тишине... Шаги, паги, паги... А рядом с колонной вооружённых людей бредёт, словно сам по себе, словно не замечая всего происходящего вокруг него, высокий, нелепо одетый человек с кожаным футляром от пишущей машинки на голове, чтобы предохраниться от солнечного удара. Это пророк Хлебников, погружённый в раздумье... В руках у него посох, который он периодически забрасывает на плечо, на конце посоха болтаются связки бумажек – «Доски судьбы». Его не беспокоят предупреждения, что отстающих порубят шахские казаки, он уверен, что дервиш – личность неприкосновенная. Он всё время что-то пишет, пишет...

*Длинная игла дикобраза блестит в лучах Ая.
Ниткой перо примотано и стану писать новые песни...*

Хлебников едва успел на погрузку отряда в плоскодонные лодки-киржимы для отплытия в Энзели, но успел. В Энзели во время купания у него украли на берегу всю одежду. И он отправился в чём мать родила к старшему портовому офицеру за помощью. Его одели, и он отправился дальше, в Баку. Из Баку Хлебников отправился в Железноводск, где в августе 1921 года поселился на даче у сестёр Самородовых. Ольга Самородова вспоминала потом о полуторамесячном совместном проживании с поэтом следующее:

«...отношения между нами вначале были очень сдержанные. Он много работал, а когда заходил в нашу комнату, то скорее ронял фразы, чем разговаривал... Помню, как подробно объяснял он мне свой, как он называл, главный труд... Я ничего не поняла в этом “альбоме”... с цифровыми и алгебраическими

выкладками... Читал он часто и свои стихи... Мне запомнились “Саян”, “Ты чей разум”... Хлебников, как я говорила, не проявлял смущение от того, что он попугай, что его костюм состоит из самых фантастических элементов... Он не смущался, когда дачники приносили ему горячую лепёшку или бобовую похлёбку. Брал эти “подаяния” спокойно, непринуждённо и равнодушно. Также принимал вообще все заботы о разных насущных мелочах... Он никогда ни на что не жаловался, не ворчал на тяжёлые условия жизни, не высказывал желание поменять их, словно не замечал их. Его подчинение тяготам жизни было лишено какого бы то ни было смирения или бравирования – он был просто к ним равнодушен. Он любил природу, лес, животных, любил говорить о них. Целыми часами он, несмотря на свою слабость, бродил по Железной горе... Работал он в Железноводске чрезвычайно много. Пересматривал какие-то старые записи, что-то рвал, что-то вписывал в большую книгу, похожую по формату и виду на конторскую. Лес вокруг нашей дачи был усеян листочками его черновиков. Он разбрасывал их без сожаления. Они белели всюду в кустах, в траве, под деревьями».

По косвенным приметам, по тому, как отдавался Хлебников работе в этом уединённом, природном мирке, создаётся впечатление, что он завершил свой «главный труд», ради которого предпринял путешествие в страну «собирающую огонь» – Азербайджан и Иран – родину арийского праязыка и зороастризма. Формула, годами им вычисляемая и искомая, судя по всему, была им найдена и доведена до совершенства именно в Железноводске. И тут же, словно в наказание за то, что покусился на что-то недозволенное, на не причитающееся его человеческому рангу – Хлебников заболел. В конце сентября он отбыл для лечения в Пятигорск, где устроился ночным сторожем в Терросту. Своё пребывание в Пятигорске Хлебников описал в письме к отцу.

«...я был полумёртвым целый месяц... Теперь мои дела изменились; я приехал совершенно босой, купил доски, они, конечно, восстали, и вот я ходил как острожник, гремя и стуча, останавливаясь на улицах, чтобы переобуться... Сегодня Терроста... выдала мне превосходные американские ботинки, чёрные, прочные. Теперь я сижу и люблюсь ими. Заведующий Ростой Дм. Серг. Козлов – американец по нескольким годам, проведённым в Америке, и прекрасно относится ко мне. Я с ним сильно подружился и просто полюбил его. Я скоро ненадолго поеду, может быть, в Москву, а потом обратно в Пятигорск, в Росту. Будущим летом я, вероятно, опять поеду в Персию, и если Вера хочет, может присоединиться. Время испытаний для меня кончилось: одно время я ослаб до того, что едва мог перейти улицу, и ходил шатаясь, бледный как мертвец. Теперь я окреп, скоро стану силен, могуч и буду потрясать вселенную».

Сам Дмитрий Сергеевич Козлов менее мажорно описывает состояние Хлебникова в тот период: «Учреждение снабдило его постелью, выдало ему английские ботинки, брюки с гимнастёркой и шапку. Так как у него сильно опухли ноги от ревматизма, то его сейчас же удалось устроить на амбулаторное лечение в Кавминвод, а через полтора месяца поместить в одну из лечебниц Пятигорска. Хуже обстояло с пищей... Двухнедельного жалования хватало не более чем на 2-3 обеда. Таким образом, Хлебникову приходилось питаться больше чаем и хлебом... На улицах уже стали подбирать умерших от голода, сначала беспризорных детей, а потом и взрослых. Хлебников понимал ответственность момента и пытался уверить, что всем доволен. Днём Хлебников отдыхал или бродил по городу и окрестностям. Ночью – «сторожил» свои большие думы, создавал редкие по красоте и силе образы, расстановивал по местам свои равные рифмы, всё писал, писал... Писал он неустанно, но печатал очень неохотно, всё отговариваясь: «Ещё не готово... Надо переработать».

В стране начала претворяться в жизнь новая экономическая политика НЭП. Но рецидивы военного коммунизма, продразвёрстки вынуждали граждан туже затягивать пояса. Если этот процесс продолжался – человек умирал голодной смертью. Голодало Поволжье, и этот голод унёс по самым скромным подсчётам около пяти миллионов человеческих жизней. В Пятигорске среди местных организаций была проведена неделя помощи голодающим Поволжья. 16 октября 1921 года вышла художественно-литературная и политическая газета «Терек – Поволжью». За одну ночь Хлебников написал для этой газеты стихотворение, в котором были призывные, кричащие строки, полные сарказма и гнева к «сытым»:

*Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай,
Вышедшие, шатаясь из столовой советской,
Знаете ли, что целый великий край,
Может быть, станет мертвецкой?
Вы думаете, что голод – докучливая муха,
И её можно легко отогнать,*



*Но знайте – на Волге засуха:
Единственный повод, чтобы не взять, а – дать!
Волга всегда была нашей кормилицей,
Теперь она в полузробу.
Что бедствие грозно и может усилиться, –
Кричите, кричите, к устам взяв трубу!*

Странное стихотворение... Похожее, как брат-близнец, на другое, написанное Маяковским шестью годами раньше. «Вам!» – помните? А помогло ли оно уменьшить число умерших от голода? Ответить на это невозможно... Но в это же время Велимир создал три больших поэмы «Ночь перед Советами», «Ночной обыск» и «Настоящее». И для их издания заторопился в Москву. Прервав курс лечения, он отправился в столицу. Ехал он в санитарном поезде целый месяц и прибыл совершенно больным в первопрестольную 25 декабря 1921 года. Его сразу с поезда поместили в больницу, по выходе из которой он написал родным в Астрахань:

«Пока я одет и сыт. Ехал в Москву в одной рубашке: юг меня раздел до последней нитки, а москвичи одели в шубу и серую пару. Хожу с Арбата на Мясницкую, как журавель. Ехал в тёплом больничном поезде целый месяц».

В начале 1922 года Хлебников трудится над подготовкой к изданию поэмы «Зангези», совместно с художником Петром Митуричем готовит к изданию «Доски судьбы». В это время Хлебников произносит две фразы, произведшие эффект на слушателей такой же, как пророчества Пифии в Дельфийском оракуле. Во-первых, Хлебников дал понять окружающим, что искомая им заветная формула найдена и найдена в Персии, то есть Иране, откуда он вернулся сильно больным, и никак не может выздороветь. А время всё ускоряет свой бег... Холодом веет в затылок... Но никто кроме Хлебникова этого не замечает, не обращает внимание на психическое состояние поэта, понять которое никогда никому не удавалось... И тогда Хлебников произносит вторую фразу, видимо, желая объясниться без экивоков: «Я скоро умру», что вызывает у окружающих его реакцию, похожую на ту, что характерна для желания перевести всё сказанное в шутку. Но Велимир наставляет: «Люди моей задачи часто умирают в 37 лет».

Теперь, зная последовательность дальнейших событий, обстоятельства, при которых они произошли, можно объяснить это следующим образом. Фундаментальной задачей, стоявшей перед Хлебниковым, был поиск той самой формулы... Это был труд всей его жизни. Главный труд, который он не афишировал. Труд он завершил, с задачей справился, формулу нашёл. А найдя её, впал в искушение и попробовал применить к самому себе. В результате – категоричная фраза: «Люди моей задачи часто умирают в 37 лет». Причём, как представляется, задача состояла в нахождении формулы, а не в её опубликовании. Чувствуете природу разницы? Ему нельзя было её раскрывать. Только за одно то, что он покусился на прерогативы высших сил, только за то, что осмелился стать таким же, как они, силы продемонстрировали своё могущество, завершив брэнное существование Виктора Владимировича Хлебникова именно так, как оно было завершено. И никак иначе.

В конце апреля, начале мая 1922 года Хлебников испытывал катастрофическую нужду. Всё сильнее сказывались последствия недолеченного заболевания. Некоторые врачи диагностировали последствия перенесённой малярии. Теперь это трудно, если невозможно проверить. Матери он писал:

«Я по-прежнему в Москве, готовлю книгу, не знаю, выйдет ли она в свет; как только будет напечатана, я поеду через Астрахань на Каспий; может быть, всё будет иначе, но так мечтается. Мне живётся так себе, но в общем я сыт – обут, хотя, нигде не служу. Моя книга – моё главное дело, но она застряла на первом листе и дальше не двигается».

Митурич позже вспоминал:

«Велимир хочет уехать в Астрахань. Денег нет нисколько и добыть их не представляется возможным. Тут я получаю отпуск... я мог уехать из Москвы к жене, которая жила самостоятельно учительницей при своём огороде и с коровой. Но как оставить Велимира полудорожного, когда круг возможностей приюта и питания сужается с каждым днём. А потом – где и как я найду его и чем пробьюсь сама? И я предложил ему ехать со мной на две недели в деревню Новгородской губернии, а потом ехать с ним в Астрахань, или ему одному, как придётся».

Хлебников приготовил с собой в дорогу мешок рукописей, не желая оставлять их в Москве, и никакие уговоры на него не действовали. С большими ногами, страдающий последствиями малярии, Хлебников тем не менее не мог расстаться с трудом, который он протащил через половину Ирана, Закавказье и в больничном вагоне привёз в Москву. А ещё один мешок он набил личными вещами, удвоив вес носимого

скарба. Митурич был в ужасе: «...нужно брать как можно меньше вещей, так как от станции Боровенка до села Санталово 40 вёрст, которые нам нужно пройти не торопясь». Каким-то чудом друзья добрались всё-таки до Санталово. И уже на месте, достигнув цели своей поездки и путешествия, Хлебников почувствовал себя совсем плохо. У него отказали ноги. В письме к врачу А.П. Давыдову он писал: «Я попал на дачу в Новгородскую губернию, ст. Боровенка, село Санталово (40 вёрст от него), здесь я шёл пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят... Меня поместили в коростецкую «больницу» Новгор. Губ. Гор. Коростец, 40 вёрст от железной дороги. Хочу поправиться, вернуть дар походки и ехать в Москву и на родину. Как это сделать?».

Сделать что-либо в тех условиях было невозможно. Началась гангрена, и Хлебникова выписали из больницы уже как безнадежно больного. Митурич перевёз почти полностью парализованного поэта в Санталово. 28 июня 1922 года в 9 часов утра Хлебников скончался. Похоронен он был на погосте деревни Ручьи. В 1960 году останки поэта были перезахоронены в Москве на Новодевичьем кладбище.

Вот, казалось, и всё...

Но что-то в этой смерти, в поэте, в его творчестве, никогда и никому до конца не понятых, заставляет вернуться и ещё раз прикоснуться рукой, глазами, слухом, сердцем к этой удивительной и уникальной личности, аналогов которой в российской истории найти невозможно. Он не дожил до 37 лет четырёх месяцев, а о нём и его творчестве не утихают споры по сей день. Умирал он долго и мучительно, но по свойству своему ни на что не жаловался, не кричал и не просил помощи. Тихо стоял... Кажется, что заранее зная свой конец, он зорко следил за тем, чтобы не выйти за рамки предреши́нного... В последнем своём 1922 году, вооружённый к тому времени «законами времени», он написал о будущих своих предсмертных и посмертных ощущениях: *«Я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак “да” заменился на знак “нет”. Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал вселенную внутри моего кровавого шарика. Я узнавал главное ядро своей мысли как величественное небо, в котором я нахожусь... И я понял, что всё остальное по-старому, но только я смотрю на мир против течения».*

*Люди изумлённо изменили лица,
когда я падал у зари
одни просили удалиться,
а те молили озари!*

Каждый человек в своей жизни должен найти своё созвучие себя, и всего (целого). Всю жизнь ходил он по параллельным дорогам, ни разу не пересекаясь. И вот его не стало. В том месте, где Велимир Хлебников умер, созданная Господом природа, до сих пор мало пострадала от преобразующей деятельности человека. Видимо, Хлебников заранее знал, где умирать... В «Досках судьбы» он записал: *«Чистые законы времени мною найдены 20-го года, когда я жил в Баку, в стране огня... а именно 17.XI. Я хотел найти ключ к часам человечества, быть его часовщиком, и наметить основы предвидения будущего. Это было на родине первого знакомства людей с огнём и приручения его в домашнее животное...».* У него не было жён, не было потомства, но у него были дети – его мысли и рукописи. Он взял их с собою в последний земной путь...

Когда Хлебникова не стало, Маяковский написал следующий некролог: *«Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом чёрным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Булыко, Кручёных, Каменского и Пастернака, что считали и считаем его одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».* Трудно представить, чтобы кто-то в нашей стране взял на себя смелость громко и прилюдно процитировать эти слова Маяковского, в те времена, когда Владимир Владимирович был назначен сверху «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Осип Мандельштам, настолько хорошо знавший Хлебникова, а особенно его творчество, что между ними однажды чуть было не произошла дуэль, писал: *«Хлебников возится со словами, как кот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие...».* Юрий Тынянов, ставший классиком литературоведения в неполных тридцать лет, человек, не склонный к гимнописанию и раздариванию эпитетов великим, про Хлебникова сказал: *«Лобачевский слова».*

Самодостаточность Хлебникова, отгороженность от внешнего мира, замкнутость, философский склад ума и сосредоточенность на решении интеллектуальных задач, возникавших на стыке естественных и гуманитарных наук, многим были непонятны, а некоторых пугали настолько, что не в силах анализировать его творчество, они принимались браниться в адрес самого поэта. Не случайно сын Корнея Ивановича, Николай Корнеевич Чуковский в раздражении, или от беспомощности, писал: *«Я утверждаю, что Хлебников – унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зелёная скука, претенциозный гений без гениальности,*



усллада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продраться и т.д.». Такое ощущение, что Николай Корнеевич всю жизнь прожил в окружении людей, достойных подобной аттестации, и они его в конце концов вывели из себя и из рамок элементарного приличия.

Да, борьба Велимира Хлебникова со словом, в конце концов, закончилась, разумеется, победой слова – практически ни один из его неологизмов не прижился, но то, что к нему пришло воздаяние за его чуть ли не маниакальную дерзость в поисках пресловутой формулы – не вызывает никаких сомнений. Вот всего два подтверждения того, что поэт Хлебников «не по чину занёсся», даже не равняя себя с высшими силами, а ставя себя выше их.

*Двинемся, дружные, к песням!
Все за свободой – вперёд!
Станем землёю – воскреснем,
Каждый потом оживёт!*

*Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам!*

А вот фрагмент из чуть ли не самого последнего, предсмертного стихотворения, очень пронзительного и очень откровенного.

*Мой белый божественный мозг
Я отдал, Россия, тебе...*

PS. Поиски Хлебникова по настойчивости и целеустремлённости сродни были поискам Колумба. К сожалению, Хлебников, видимо, как и Колумб, нашёл не то, что искал. Но и убеждённости его в правоте и правильности своих умозаключений, также сродни подобным качествам Галилея. Оба не изменили своим убеждениям.

АЛЕКСАНДР БУБНОВ

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ В «ИСПОЛНЕНИИ» ПЕТРА МИТУРИЧА О палиндромической поэме «Разин»

Палиндромы, палиндромия – даже чисто текстовая – всё-таки больше, чем литература. И не только, и не столько потому, что имеет в разных областях (музыка, медицина, генетика) аналогичные структуры и даже терминологию. Но потому, что в палиндромии психофизиологическое и философическое («палиндромическое») воздействие текста «как такового» сопоставимо с внетекстовым (или метатекстовым) воздействием абстрактной формы, её эстетики, и это сближает палиндромию с изобразительным искусством, а в синтезе с чистой визуальностью образует визуальную поэзию.

Уникально в этом отношении сотрудничество-соавторство Велимира Хлебникова и его друга художника Петра Митурича, записавшего в начале 1920-х гг. палиндромическую поэму Велимира Хлебникова «Разин» и подготовившего рукописную книгу на 15 листах (или страницах). Девять листов пронумерованы Митуричем, видимо, для проекта «самиздатовской» книжки. Два пронумерованных листа (исключая варианты «вводных» листов) легко «находят» свои номера по контексту поэмы: страница 6 (с началом главы 3-й) и страница 9 – начало главы 5-й.

Митурич именно соавтор, поскольку около половины объёма текста Хлебникова заменено им на абстрактную графику. Причём заменено практически без ущерба для изложения текста поэмы. Такое

соформальное соавторство, такое соединение форм было бы невозможно вне палиндрома.

Митурич записывает поэму, можно сказать, по принципу «Хлебникову – хлебниково, Митуричу – митуричево», но делает это чрезвычайно органично. Левую часть от *палиндромической оси* Митурич отдаёт собственно тексту, *полупалиндромам*, записанным им, Митуричем, в его авторской графической аранжировке. Правая – «зазеркальная!» – часть представляет собой собственно графику Митурича, которая «прикрывает» половину текста, заводит за «ширму» абстракции.

В связи с визуально-поэтическим синтезом в исполнении Петра Митурича текст поэмы Велимира Хлебникова философски развивает идеи Льюиса Кэрролла – неожиданно, «наоборот», зеркально, «палиндромически»... Знак препинания слева ПЕРЕД стихом означает знак препинания справа ПОСЛЕ стиха. Таким образом, знак этот «проявлен» как бы из зазеркалья. Особенно мощно выглядят восклицательные знаки, настраивающие на соответствующие эмоции уже в начале стиха (вспоминаются, например, пунктуационные нормы испанского языка): «!Ог-о// !ьШар//» (с.3), то есть «!Ого-го! // Шарашь!». Недаром Митурич букву «Ш» ставит «выше» мягкого знака как букву прописную, с которой и «призывает» читать эту полустроку – ведь мягкий знак, помимо того, что он сам по себе не читается, ещё и «выбивается» из симметрии палиндрома, в слове «шарашь» палиндромия «пренебрегает» мягким знаком – свидетельство палиндромического *вольного стиля*. Однако, если принять во внимание тип циклического палиндрома «су2» (табл.1) и «замкнуть» слово в некий «круг», то мягкий знак будет выглядеть как осевая буква... Вот такую интересную «пищцу» для теоретиков даёт поэма Хлебникова и её интерпретация Митуричем.

Вообще, со знаками препинания, с их «пониманием» дело обстоит довольно сложно. Здесь надо иметь в виду и последующие чисто текстовые редакции «Разина». К тому же, следует учитывать ещё некоторые факторы: отсутствие чёткой графики в рукописях самого Хлебникова, общую незавершённость и (поэтому) некоторую семантическую «невывищенность» поэмы «Разин» (ср. со *строгим стилем* первого палиндромического сочинения – «Перевертня» Хлебникова в сборнике «Садок судей II», 1913 г.), и даже некоторую небрежность Петра Митурича, который, впрочем, мог следовать именно «букве» Велимира: сравним, например, две полустроки из 1-й главы: «Раб, неж, //» (с.3) и «!Раб нежь //» (с.4).

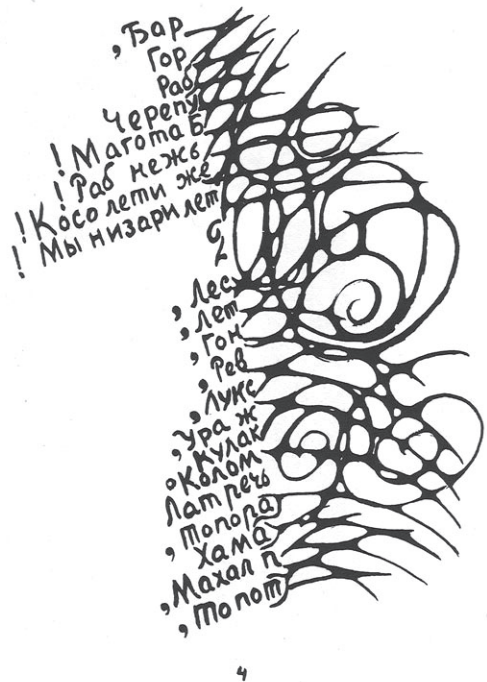


Рис. 1. В. Хлебников – П. Митурич. «Разин». С.3-4.

«Палиндромософия» проявляется самым неожиданным образом благодаря графическим принципам П. Митурича. «Мы низари лет...» – так заканчивается 1-я глава на листах Митурича – метафора поэта в соавторстве с художником, метафора, проникающая в глубины поэтической философии Велимира, во многом отождествляющего линии Времени и Палиндрома.

Кто Разин для Хлебникова? (Точнее, образ Разина). Об этом много говорилось... Приведём всего лишь одну цитату из одной малоизвестной публикации: «Ключевым произведением, отразившим мистически ритуальную концепцию единого хлебниковского пространства-времени, его гипотезы о цикличности

реального исторического времени, является поэма «Разин» (...). Поэма (...) является не только тризной по некой мифологической сверхличности, символизированной в фигуре Разина. Это погребальный плач, реквием, посвящённый трагической судьбе поэта» [Гончаренко, 1992: 378, 385].

Поэма Велимира Хлебникова – это не буквальный рассказ о Разине (Время Пространства), это состояние Поэта (Пространство Времени) в противопоставлении-единстве «Я – Разин и заря», заря, которая может быть как утренней, так и вечерней, «сполохом», завершающим земное существование, зарей бытия Иного...



Рис. 2. В. Хлебников – П. Митурич. РАЗИН / НИЗАРЬ.

Обратите внимание на маленький мягкий знак «ь», который, как ноту в зеркале, поставил Пётр Митурич перед названием поэмы «Разин», которое само прорисовано по меньшей мере не единожды. Ведь название, как и каждое хлебниковское полустипише у Митурича, тоже читается назад(!): НИЗАРЬ. Это и есть, видимо, скрытое название – то, что «предлагает» Пространство-Время (*«палиндрософическая ось»*) в своём отражении. Полное название поэмы – «Разин-низарь» или «Разин – низарь», возможно, «Разин (низарь)». Дефис, тире, запятая или скобки уже не имеют принципиального значения. Но поскольку изменение названия поэмы Хлебникова – слишком «революционная» текстовая редакция, требующая обсуждения, остановимся пока на традиционном «Разин».

Левую часть страницы Митурич посвящает тексту, а именно – первым половинкам строк Хлебникова, *палупалиндрмам*, которые представлены Митуричем в его собственной «аранжировке». Правые части строк представляют собой абстрактную графику Митурича.

Метатекстовая и «палиндрософическая» связь обеих «график» «Разина» заключается, как нам кажется, в эстетике комбинаторики – общей эстетике палиндромно-циклических и абстрактно-изобразительных форм. К примеру, композиция 6-го листа с сегментообразной осью напоминает «лучизм» фигуративной поэзии (присмотритесь, например, к «Вееру» Сергея Третьякова, стихотворению 1913 года). И следом на 7-м листе «Разина» – симметрично-компенсирующий, обратный изгиб оси, как бы преломлённой в зеркале.

В целом, «поведение» «палиндрософической» оси от листа к листу вполне сюжетно: на первых двух листах ось вертикальная и прямая (согласно другим текстовым редакциям, 1-я глава поэмы «Разин» носит название «Путь»), 3-й лист (или страница) – наклон оси вправо, 4-й лист – влево (вспоминается строка И. Бродского – «качнётся вправо, качнувшись влево»)... На 5-м листе – некоторая «нестройность» и небольшой общий угол наклона. Важно, что параллельно в левой части текст драматизируется (2-я глава поэмы – «Бой»).

6 и 7-й листы в плане «оси» описаны выше.

8-й лист подобен первым двум, однако здесь Митурич переходит, абстрактно говоря, от *«палиндрософии»* к *литерософии*: отказывается от абстрактной графики в пользу «буквоптрихов», имитации букв, таким образом, чтобы издали текст казался полным. Ещё один «шаг» – и текст в правой части «проявляется» (9-й лист, с волнообразной «осью»!)

Мелкие штрихи («дождь»?) 9-го листа переходят в вихри 10-го листа и логично в 11-м превращаются в черноту, из которой в 12-м, заключительном, листе поэмы (последняя глава поэмы – «Пытка») литеры как бы «выходят» из черноты, «поднимаются» над ней, неся в жирношрифтовом, абстрактно-буквенном облики часть этой черноты, пройдя таким образом через некий «чёрный квадрат» (Малевича?).

При расположении 12 листов текста поэмы, содержащих нетекстовую графику, в виде прямоугольника («3x4 листа»), замечаем, что скруглённые линии «кустремляются» к левому верхнему углу, то есть к началу.

Первая же строка 1-й главы поэмы «Разин» в исполнении Петра Митурича вызывает некоторую сложность при чтении-«расшифровке». Можно было бы вспомнить чисто текстовые редакции поэмы (строка «утро чорту») и этим вполне удовлетвориться, тем более что в процитированной строке палиндром точный (в *строгом* или *абсолютном* стиле, в отличие от *стиля вольного*). Но Митурич изобретает что-то наподобие АВТОРСКОГО «ДИГРАФА» о/е, предваряя зазеркальное чтение «...черту [чёрту]». В графическом смысле буква «Ё» во всей поэме не присутствует ни разу – признак *строгого* палиндрома (обусловленный, конечно, повсеместным не-использованием буквы «ё» в 1920-х гг., да и позже). Поэтому первую строку можно понять и омонимически как «утро черту (подвело? подводит? черту ночи?»).

Аналогичное место на той же 2-й странице с тем же «диграфом» о/е – «ж(е/о)нам//». Эта строка найдена в других редакциях в полном виде как «женам ман нож» (тип «ра2», табл. 1), то есть с двойным чтением буквы «Н». Такие случаи объясняются палиндромическим *вольным* стилем, который представлен в поэме «Разин» во всём своём многообразии. Вывод напрашивается неожиданный: в палиндром Митурич-график вносит преднамеренную «сложность» чтения, что конгениально соотносится со сложностью самой авторской композиции палиндрама. То есть читатель-зритель митуричевской графики вновь и вновь возвращается к самому процессу создания палиндромов Хлебниковым. «Палиндрософия» графики здесь состоит в её уникальной способности моделирования и почти буквального повторения творческого акта палиндромии, его Высокой Трудности.

В графических находках Митурича есть и такая – БУКВОТОЧКА «о» в начале 2-й главы (с.4). Перед художником стояла задача – дать понять, что читать очередную строку следует с большой буквы «К» (каждый стих-палиндром у Хлебникова и Митурича открывается прописной буквой). Но заканчивается строка Хлебникова на строчной «о»: «Колом молоко» (циклический палиндром, циклодром, тип «су2», табл.1). Поэтому «предначальное» маленькое «полое» «о» по размерам уравнивается с укрупнённой точкой (укрупнённой запятой), каких в тексте Хлебникова-Митурича находим множество...

Если выявляется новая, нигде ранее не обнаруженная строка поэта уровня Велимира Хлебникова, то неужели это не ценно, в любом случае?! Пётр Митурич нам прорисовывает половинки по меньшей мере 22-х строк, которые полностью здесь представлены впервые как «обычный» авторский (со-авторский?) текст: «Ман, раб, бар нам!», «А зов у воза:» (обе строки из 1-й гл., с.3), «Дай ад!» (2-я гл., с.5) и другие. Всё это очень ценно, поскольку, например, выясняется, что для разинцев есть не только 'зов гор(ний?)', но и 'зов воза (зов дольний?)'.

В чём ещё текстологическая ценность так называемых листов, а по сути – книги Петра Митурича?



Во-первых, при такой *поззографике* объективно, благодаря изобразительной форме, возрастает пиетет художника и перед «Словом как таковым», и перед «Буквой как таковой» (говоря языком футуризма).

Во-вторых, художественная графика Петра Митурича – не только иллюстрации к поэме, но и текстовая, композиционная доработка незавершённого крупного хлебниковского сочинения, с «мечом» (‘злом’), который «умирает» в финале (с.12), в «д...» (смерть! обрыв! уход в зазеркалье!), то есть в «дремучем лесу», в неизвестности после смерти. Это «палиндрософическое» возвращение в последнюю строку хлебниковского «Перевертня» (1913): «и к вам и трем с смерти мавки», смерти злого духа. В итоге графика Митурича удваивает, умножает метафоры, возводит их в некую степень, в «квадрат» (Малевича?).

Наконец, очень вероятно, что эти листы видел сам Велимир, причём и в процессе создания. По крайней мере, все другие редакции «Разина», опубликованные позже, при всём уважении к ним и к авторам редакций, на наш взгляд, проигрывают митуричевской как по вышеизложенным, так и по некоторым другим позициям...

Очень ценно, что до нас дошли целых три изобразительных варианта *монопалиндрома* «Я Разин со знаменем...» из вступления к поэме. Здесь можно исследовать принципы текстового и графического варьирования в исполнении Петра Митурича, принципы, исповедуемые и Велимиром, но на уровне речевом, речепозитическом. Более того, все три варианта – это своего рода «раскадровка», эскизы в форме *динамической визуальной поэзии*.

		1	2	3	4	5	6	
	cat	CAT	TCA	ATC	CTA	ACT	TAC	«pa»-
1	CAT	ho1	cy2	cy2	re2	re2	pa2	-diag.
2	TCA	cy2	ho1	cy2	re2	pa2	re2	
3	ATC	cy2	cy2	ho1	pa2	re2	re2	
4	CTA	re2	re2	pa2	ho1	cy2	cy2	
5	ACT	re2	pa2	re2	cy2	ho1	cy2	
6	TAC	pa2	re2	re2	cy2	cy2	ho1	
								«ho»-

Табл. 1. А.В. Бубнов. Периодическая система палиндромических элементов (в их взаимодействии, для 3-буквенных элементов): ‘ho’ – омограмма, ‘pa’ – палиндром, ‘cy’ – циклический палиндром, ‘re’ – обратный циклический палиндром («REversus»), ‘1’ – однословные формы (или 2 и более омограмм), ‘2’ – 2-словные (и более) формы.

Таблица предназначена для исследования взаимодействия элементов палиндромии, в данном случае букв в 3-буквенном слове, для примера взято слово «саб», которое при перестановке букв (анаграмма) даёт слово «асб» и т.п. – все варианты представлены в таблице. Исследуются все варианты взаимодействия слов друг с другом. В итоге классификации взаимодействий (ячейки «внутри» таблицы) в таблице образуются диагонали и зоны определённой типологии:

- в «ho1» (homographical diagram) при взаимодействии графический облик слова не меняется (омографы) – cat/cat, act/act и т.п.;
- в «pa2» (palindromical diagram) взаимодействующие элементы (слова) палиндромически «отражаются» друг в друге – CAT/TAC;
- в «cy2» (cyclical palindromes) взаимодействующие элементы выстраиваются в итоге в круг (цикл) и читаются только в одну сторону; слово повторяется и в итоге образуется другое слово: CAT/ATC = C-AT-AT-C = CATCATCATCATCATC;
- в «re2» (reversal cyclical palindromes) взаимодействующие элементы при многократном повторении выстраиваются в итоге в круг (цикл) и читаются в обе стороны, с разным значением (разные слова): CAT/ACT = CATCATCATCATCATCA (последнее подчёркнутое слово читается в обратном направлении – ACT).

Палиндромы Хлебникова-Митурича возвращают нас к буквальному пониманию «бегущего назад» (*palindromo*, греч.) и вглубь и вишьрь *textus*-полотна. Происходит не только плетение слов-вес, «скрещивание», умножение слов – рождается единение графики изобразительной и языковой в единую Графику ПЁТРИМИРА, в «палиндрософию». И уже не ясно, которая из график «выглядывает», а которая её «микширует», да и не нужно это так уж определённо прояснять... Ибо далее – Искусство!..

Конечно, такое уникальное соавторство Велимира Хлебникова и Петра Митурича в области визуальной поэзии требует подробного изучения, и такие исследования продолжаются.

Благодарим Мая Петровича Митурича (ушедшего из жизни в 2008 году) и Веру Хлебникову-Митурич за предоставленную возможность исследования графики Петра Митурича и разрешения на публикацию.

Литература и источники:

- Бирюков С.** [рец.] Бубнов А.В. Типология палиндрома // Новое литературное обозрение. 1996. № 19. С. 394-396.
- Бубнов, А. В.** Лингвопоэтические и лексикографические аспекты палиндромии: Дис. ... доктора филологических наук. Орёл, 2002. 525 листов.
- Бубнов, А.** АВАНГАРД и ПАЛИНДРОМИЯ или ПАЛИНДРОМИЯ и АВАНГАРД // Russian Literature. Vol. LVII. [Amsterdam], 2005. No III / IV. Special Issue, Contemporary Russian Avant-Garde. P. 233-244.
- Гончаренко, С.** Ритуальная обратимость у Хлебникова. О семантике палиндрома в поэме «Разин» // Культура. Религия. Церковь: Всерос. науч. конф. Новосибирск, 1992. С. 378-386.
- Шубников А.В., Кошпик В.А.** Симметрия в науке и искусстве. М., 1972.
- Bergerson, H.W.** Palindromes and Anagrams. N.-Y.: Dover Publications, 1973. 130 p.
- Bubnov, A.V.** Super-Supre-Sonnet: Art-science videoproject // MADI art periodical. [Budapest], 2006. Number 8. P. 52-53.
- Bubnov, A.V.** The palindromic axis: Velimir Khlebnikov, Petr Miturich and others // Symmetry: Culture and Science. [Budapest], 2014. Volume 25. Number 4. P. 293-303.
- Greber, E.** Палиндромон – Revolutio // Russian Literature. Vol. XLIII. [Amsterdam], 1998. P. 159-203.
- Markov, V.** The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. Berkeley; Los Angeles, 1962. (Univ. of California Publications in Modern Philology, Vol.62). 273 p.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПАЛИНДРОМА (*составной термин мой. – А.Б.*) – палиндромы с большим или меньшим отклонением от строгого соответствия форме (от точной буквенной симметрии): в русском палиндроме могут как бы «не учитываться» в форме мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ), удвоения букв, приравниваются буквы И = Й и т.п. Палиндром В. Хлебникова «утро черту» соответствует вольному стилю (о = е). Границы и правила вольного стиля в палиндромии чётко не определены. Каждый автор устанавливает свои правила, которые обычно в той или иной мере совпадают с основными вышеперечисленными правилами «вольности».

МОНОПАЛИНДРОМ (*термин мой, – А.Б.*) – достаточно длинный единый палиндром, записанный в 2 и более стихотворных строки, либо состоящий более чем (условно) из 50 букв.

СТРОГИЙ СТИЛЬ ПАЛИНДРОМА (*составной термин мой. – А.Б.*) – техника палиндромической версификации; палиндром, композиция из палиндромов с точным (строгим) соответствием форме, то есть с точным обратным побуквенным чтением. При этом буква «ё» (как формальный элемент) может быть приравнена к «е», поскольку на письме точки в букве «ё» ставятся не всегда. Примеры палиндромов в строгом стиле из поэмы В. Хлебникова «Разин»: «Раб, нежь жен бар», «Сокол около кос».

ПАЛИНДРОМИЧЕСКАЯ ОСЬ (*термин мой. – А.Б.*) – условная воображаемая ось симметрии (либо плоскость симметрии), делящая палиндром на 2 части (2 отрезка), которые зеркально отображаются друг в друге по буквам, при этом симметрия межсловных пробелов может не соблюдаться. В итоге эти 2 части палиндрома равны по количеству букв, если палиндром написан в строгом стиле (см. Строгий стиль): «Раб, нежь жен бар» (палиндромическая ось проходит через букву «ь» – осевая буква), «Сокол около кос» (осевая буква – «о» в слове «около»). В каждом из этих 2-х примеров левая и правая части составляют по 6,5 букв, итого по 13 букв в каждом примере.



ПАЛИНДРОСОФИЯ (*термин мой*. – А.Б.) – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПАЛИНДРОМИИ. Поскольку «смысл эстетического воздействия симметрии (...) заключается в том психическом процессе, который связан с *открытием* её законов» (Шубников А.В., Кошчик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М., 1972. С.13), нахождение и исследование параметров и структур палиндромии позволяет подойти к комплексному, универсальному представлению типологии палиндромии в контексте её философского осмысления. *Палиндромия* в целом понимается нами как универсальная структура, основанная на эстетике симметрии, в основном, зеркальной. С лингвоструктурной точки зрения палиндромия есть текст, основанный на симметрии своих элементов. Метапоэтическая составляющая палиндромии – это некое «царство» палиндромов, «the world or realm or kingdom of palindromes» (M. Donner). Кроме того, палиндромия – термины медицины и биохимии. В теории музыки близкие понятия – ракоход, инверсия, инверсия ракохода – объединяются в классическую музыкальную палиндромию (условно говоря, от И.С. Баха до А. Берга). Специфические области представляют собой «изобразительная» палиндромия в живописи (М. Эшер, С. Дали и т.п. авторы), а также в искусстве кино и телевидения, в визуальной поэзии, в графическом дизайне, товарных знаках и т.п. С осмыслением философских аспектов палиндромии всё вышеозначенное в целом приобретает палиндрософический характер. Область философии, осмысливающую палиндромию в целом, предлагается назвать *палиндрософией*. Философские составляющие палиндромии отражены в широком исторически-концептуальном диапазоне: от принципов философии герметизма до Й.Хёйзинги (концепция «homo ludens»), от древнейших магических словесных формул («ablanatanalba», sator-квадрат) и символов («ороборо») до Рудольфа Штайнера и в некоторой мере созвучных ему лингвофилософских идей Велимира Хлебникова, который впервые систематически разработал палиндромию на русском языке в философском и филологическом аспектах.

НАДЕЖДА ПЕРЦОВА

О РУКОПИСИ ХЛЕБНИКОВА «СЛОВА РАЗГОВОРОВ»

Искусство – суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и труп привязывает к башне, где коронуны славы клюют когда-то живого человека.

В. Хлебников

Предмет настоящей статьи – заметка из архива Велимира Хлебникова в Российской национальной библиотеке [РО РНБ, ф. 1087, № 26, фр. 1: 1], озаглавленная «Слова разговоров». На первый взгляд может показаться, что Хлебников, подобно Алексею Кручёных и под влиянием последнего, записывал для Романа Jakobson образчики устной речи (чем уже тогда интересовались и лингвисты), однако более внимательное чтение неразборчиво набросанного текста настраивает на иное его толкование.

СЛОВА РАЗГОВОРОВ

вы изменились я думала вы друг<ой>

1) Я была бы безумной, если бы вышла за вас зам<уж>

Пишите если хотите.

Напишите как вы доехали.

глупый Пум<ик> глу-п-ный!

пришлите одного калмыка.

занятно.

Будьте счастливы.

Но теперь это не<возможно> а потом...

Я проводила бы вас но встречать приятнее чем прощаться.

(засмея<лась>)

тогда я выберу <Ни>ку прощайте Пумик

все мужчин<ы> отвратит<ельны>

я изыска<нна> я красив<а>

в вас сл<ишком> м<ного> мужчины Как<ие> со<впадения> Надя за Над<у>
а подробности.

вы еще

вас общи<пали> все<го> а вы ср<ам>итесь
почему вы ср<амитесь.
поступи<те> в Университет.
Конец

Этот текст, имеющий номер 1 (то есть предполагалась запись и других разговоров), представляется передачей речи некой женщины с авторскими ремарками: «засмеялась», «Конец». В тексте упомянуто её имя: Нада – это Надежда Васильевна Николаева, с которой Хлебникова связывали близкие отношения и которой он доверил значительную часть своего архива; так, практически весь фонд Хлебникова в РНБ – это дар Надежды Васильевны. Именно она придумала для него прозвище «Пума», прижившееся и среди друзей поэта. Некоторые из фраз, записанных в левом столбце рукописи, произнесены Николаевой в минуту гнева и оскорбительны не только сами по себе, но и в контексте сложных отношений поэта с семьей, побуждавшей его отказаться от богомного образа жизни и вернуться в университет, который он оставил в 1911 году. Легкомысленно-беспечные реплики из правого столбца (прежде всего, «я изысканна, я красива»), не вполне уместные рядом с колкостями и поучениями из левого, вероятно, передают словечки, характерные для обычной речи Надежды Васильевны. Их отзвуки слышатся в художественных текстах Хлебникова: эпизодическая Изанаги в «Ка» «называет себя обожаемой, очаровательной» [IV: 57]; Дочь Выдры в рукописном сценическом варианте «Детей Выдры» обращается после венчания к своему избраннику со словами «Прощайте, Выдрик» [ИМЛИ, ф. 139, оп.1, № 6: 4 об.].

Как представляется, перед нами важный автобиографический документ, задающий начало конца отношений двух искренне привязанных друг к другу людей. Когда же происходил этот разговор? Для ответа на этот вопрос обратимся к тому, что известно о Николаевой и её отношениях с Хлебниковым.

Надежда Васильевна Николаева (в замужестве Новицкая) родилась 13 октября ст. ст. 1894 г. в Иркутской губернии, умерла 30 декабря 1979 г. в Ленинграде. Она была из обеспеченной семьи. Отец – инженер, мать по одним данным происходила из рода поэта-партизана Дениса Давыдова, а по другим была в родстве с К.П. Победоносцевым. В 1903 г. семья переехала в Москву. Николаева окончила классическую гимназию, занималась балетом, археологией и искусствоведением (в частности, Италией и древним Китаем), снималась в кино. С 1914 по 1916 г. училась в Археологическом институте, не закончила его по болезни. Уже с 1913 г. юная Надежда Васильевна начала жить самостоятельно, общаясь с художниками и поэтами-авангардистами – Гончаровой и Ларионовым, Бурлюками, Ле Дантю, Зданевичем и др. Участвовала как балерина в выступлениях футуристов, организованных Давидом Бурлюком. В 1913-начале 1914 г. жила вместе с украинским художником Всеволодом Максимовичем (учеником Ивана Мясоедова), которого и похоронила в апреле 1914 г. после его самоубийства, имевшего большой общественный резонанс. Весной 1919 г. уехала с семьей в Вологду, где стал работать её отец. Там в 1923 г. она познакомилась с рабочим, впоследствии агрономом, Мечиславом Ивановичем Новицким, вышла за него замуж и прожила с ним до его смерти в 1954 г. Начиная с середины 1920-х семья обосновалась в Ленинграде и Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны Новицкая сначала была в осаждённом Ленинграде, а позже работала переводчицей с немецкого в Ярославской области, куда поехала вслед за призванным в армию мужем. Всю жизнь бережно хранила и бесплатно передавала музеям и архивам наследие трёх безвременно ушедших друзей её молодости, доверивших ей своё творчество: художника Максимовича, поэта Хлебникова и летчика и поэта Вячеслава Викторовича Михайлова, без вести пропавшего на фронте в конце Первой мировой войны.

В своих мемуарах современники редко упоминали об отношениях Николаевой и Хлебникова, причём, даже говоря о Надежде Васильевне, часто опускали её имя. Приведём выдержки из воспоминаний Д. Бурлюка и Д. Петровского:

С 1914 года живём в Михалева под Москвой.

Витя в 1914 году и 1915 жилал у меня в Михалева летами; там было очень обстановочно, но голодно.

Его в Москву увезла к себе в 1914 году так называемая «Китайская Богородица», происходившая из рода партизана Давыдова.

О ней хорошо знал художник Федоров из Ростова-на-Дону.

Мной она описана в романе моём «Лестница Пакова» (в рукописи) [Бурлюк 1994: 48].



Влюблялся Хлебников невероятное количество раз, но никогда не любил по-настоящему. Об одной очень интересной влюблённости Хлебникова пришлось бы говорить несколько больше – она отозвалась на его творчестве периода с 1914 по 1916 годы; следом этой влюблённости оставалось прозвище «Пума» [Петровский 1926: 29].

Он решил идти в гости к Н.В. Николаевой и оставил меня одного [там же: 43; речь идёт о ноябре-декабре 1917 г.].

Столь же глухи сведения о Николаевой в подготовленной Н.И. Харджиевым книге [НП], в значительной мере опирающейся на хлебниковские рукописи, которые были предоставлены составителю именно ею. Так, в комментариях к поэме «Обед детьми», в публикации, названной по первой строке «Как быстро носятся лета», сообщается, с одной стороны, что поэма, «по свидетельству Н.В. Новицкой, написана летом 1914 г.», с другой стороны, что строки «*Вот Нада. / Она себя звала «оно». / Не надо / Тревожить то, что умерло давно. / Стоит любя с “зубною свечкой”*» «обращены к Н.В. Николаевой» [НП: 390–391], однако никаких указаний на то, что Новицкая и Николаева – одно и то же лицо, нет.

Впервые серьёзный анализ отношений Николаевой и Хлебникова (по документам, хранящимся в РНБ) был дан в статье Н.А. Зубковой [Зубкова, 1996], в этой статье приводятся также ценные сведения о Надежде Васильевне и её семье. Однако ряд недоступных исследовательнице материалов, прежде всего документов из недавно открытого при Амстердамском Музее Стеделйк фонда «Н.И. Харджиев – Л.В. Чага» (далее – [Sted]), заставляет частично пересмотреть некоторые выводы этой статьи, особенно касающиеся датировки тех или иных событий.

В архиве Харджиева в [Sted] хранится достаточно представительный пласт документов, так или иначе связанных с Николаевой (приводимые ниже цитаты взяты из [Sted, box 17]). Их знакомство относится к 1935 г., о чём свидетельствует следующая его запись:

Май 1935. Знакомство и встреча с Н.В. Николаевой. У неё был роман с Хлебниковым, который даже помышлял о женитьбе.

Харджиев передаёт свои впечатления о ней; в его оценках сквозит недоброжелательность, однако он не может не отметить её красоту и ум (подробнее см. [Перцова, 2002]). Исследователь записывает воспоминания Надежды Васильевны о её жизни в 1913–1914 гг.: рассказы о приятелях (Гончаровой, Ларионове и др.) и о знакомстве с Хлебниковым и Маяковским, которое произошло в 1913 г. на вечере издателя В.В. Пошуканиса. Хлебников скучал в углу дивана; началу дружбы между молодыми людьми способствовала общность интересов: оба в то время интересовались древним востоком, Хлебников – Египтом, Николаева – Китаем. Летом 1914 г., после пережитой Надеждой Васильевной трагедии (как уже говорилось, в апреле погиб Максимович; по её рассказу, он «ложечкой съел морфия и уснул, через 2 дня умер в больнице»), она пригласила Хлебникова на подмосковную дачу, где жила вместе с семьёй (ср. выдержку из воспоминаний Бурлюка выше):

Он вместе со мной поехал на дачу, где жили мои родители, в Петровское-Разумовское.

Мы жили отдельно во втором этаже, под крышей. <...>

Здесь он узнал об объявлении войны Германии.

В воспоминаниях Николаевой об этом, быть может, самом счастливом в её жизни лете, много смешных и трогательных деталей: о том, почему она назвала его Пумой («*Волосы Хлебникова были похожи на пушистую шерсть беззривого льва – пумы. Отсюда прозвище*»), о его ревности к приезжающим к ней в гости поклонникам, о том как, зная о её любви к лягушкам, он ранним утром собирал их в лесу, чтобы порадовать подругу при её пробуждении и т.д. Интересен рассказ об отношении Хлебникова к матери Надежды Васильевны, особенно, если вспомнить, что уже в начале следующего года поэт обратится к теме двойников в повести «Ка»:

Её мать (она ещё жива, но впала в детство) была полубезумная. Писала стихи, верила в приметы, рассказывала свои сны, видела двойников. Гость ушёл, а она сидит с его двойником у чайного стола и беседует. Хлебников относился к ней с любопытством и любил слушать её рассказы.

Память об этом дачном лете часто присутствует в стихах Хлебникова, обращённых к Николаевой: в них повторяются такие детали, как белые летние одежды; выгоревшие на солнце или распустившиеся длинные косы; обнажившееся смуглое плечо; близость воды и купание; сорванный ею цветок, приколо-

тый к волосам или упавший на землю. Тогда же Хлебников нарисовал портрет Надежды Васильевны; передавая его фотокопию в РНБ, она написала на обороте следующие пояснения [Зубкова, 1996: 214]:

Рисунок В. Хлебникова, сделанный в 1914 г. в Петровско-Разумовском (под Москвой), где Хлебников гостил на даче у меня, в нашей семье. Рисунок сделан с меня, в синей школьной тетради, где была поэма «Обед детьми» (изданная впервые Н.П. Харджиевым в 1940 г. в «Неизданном Хлеб.» под заглавием «Как быстро носятся лета!»). В настоящее время ни тетрадь, ни оригинал портрета не существует, она погибла при обстоятельствах, о которых не нахожу интересным сообщать. Н. Новицкая. 21.VI.67.

Записанные Харджиевым воспоминания Николаевой, подробные, часто повторяющиеся с разными деталями одни и те же события, почему-то всегда останавливаются на времени начала войны, времени отъезда Хлебникова в Астрахань. О дальнейшем развитии событий можно судить на основании четырёх его писем к Надежде Васильевне, опубликованных в [НП], дневниковых записей, фрагментарно представленных в [СП], и писем жившего с 1910 по 1916 г. в Москве младшего брата Хлебникова Александра Владимировича к родным в Астрахань [Волга].

В конце августа 1914 г. Хлебников пишет Николаевой два письма, влюблённых и неуверенно-кокетливых; одно из них размером в спичечный коробок, второе также весьма причудливо, ср. следующее его описание в статье [Зубкова, 1996: 214]: «На оборотной стороне <открытки с котятками> им начертаны две нотные строки, геометрическая фигура, два ажурных рисунка, поставлены вопросительные и восклицательные знаки, точки, кавычки <...>». Затем случается весьма тяжёлое для Хлебникова событие: 31 августа или 7 сентября (дата не вполне ясна из-за небрежной публикации дневника поэта) в Астрахани происходит серьёзная ссора с родителями, в результате которой он оказывается изгнанным из отчего дома [V: 329] и отправляется в Петроград – естественно, через Москву. Обычно в Москве он останавливался у брата Александра, скорее всего, так было и на этот раз. Однако встреча братьев была нерадостной; в октябрьском письме к отцу Александр отзывается о брате с некоторым недовольством (см. [Волга: 155], пропущенный публикаторами фрагмент письма, возможно, содержит какие-то более определённые сведения о причинах этого недовольства):

... Я никем не был «огорчён», а меньше всего Витей. Я знаю, что всё это объясняется плохим самочувствием, как духовным, так и физическим. Он к жизни был привязан одной футуристической идеей. Теперь, когда она блекнет и рвётся, он должен себя чувствовать плохо.

Отдалившись от семьи, Хлебников одновременно духовно сближается с Николаевой, о чём свидетельствует изменение тона его писем. Приехав в Петроград, он шлёт ей 7-го и 11-го октября два письма, резко отличающихся от августовских: в них появляются нотки родственности и уверенности в том, что, чуждый всем, в ней он найдёт понимание. Вот выдержка из второго письма [НП: 371]:

Я устроился довольно скверно в Шувалове, около Петербурга. Там я имену удовольствием видеть каждый день Кручёных. Я доволен тишиной и озером около дачи; я дописываю статью и напечатана; теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня.

Исследуя в 1915 г. ритмы своих отношений с женщинами [V: 331], Хлебников записывает две даты, относящиеся к 1914 г. и, по всей видимости, связанные с Николаевой: 24 июня и 28 сентября. Если первая дата может означать время физической близости или время его приезда в Петровское-Разумовское, то вторая, не исключено, время сватовства. На то, что сентябрьские дни, несмотря на конфликт с семьёй, не были безрадостными, может указывать и такая дневниковая запись [V: 329]: «23 сентября чудный день, солнце, тепло...». В этот момент Надежда Васильевна – близкий для него человек. Поэтому, скорее всего, в этот приезд Хлебников и передал ей привезённые из дома рукописи, включая ранние, относящиеся к 1900-м гг., например, прозу «Еня Воейков» и лингвофилософский опыт создания «значкового языка» (обе рукописи были переданы ею в РНБ).

В конце 1914 г. Хлебников возвращается из Петрограда в Астрахань и в начале 1915 г. пишет повесть «Ка», где все основные героини в том или ином отношении напоминают Николаеву. Не случайно поэтому, что авторизованные гранки «Ка» со штампом типографии от 12 февраля 1916 г. оказались в архиве Николаевой (позже также были переданы ею в РНБ).



В начале лета 1915 г. он снова надолго приезжает в Москву. Он уже не живёт на даче Николаевых, не живёт он, вопреки мемуарам Д. Бурлюка, и на их даче в Михалево. 11 июня он посылает матери свой адрес – станция Пушкино, деревня Акулова гора [V: 303]; позднее Александр сообщает родителям о брате следующее [Волга: 156]:

29.VI.1915

Витя приезжал ко мне. Выглядит он по-старому. Он поселился в дачной местности, недалеко от Бурлюка. Я ездил к нему на одно воскресенье. Мы бродили по лесу и у реки. Витя занимался рубкой деревьев моей шашкой. Расстались мы дружески.

22 июля 1915

Витя уехал в Петербург и не зашёл ко мне на прощание. Если он дал вам свой адрес, напишите мне его. В знак своей фротости Витя передал мне несколько своих книг и книгу Игоря Северянина.

Никаких отчётливых сведений о том, встречался ли Хлебников в это лето с Николаевой, найти мне не удалось. Однако ещё в начале осени она сильно интересуется его: в коротком письме из Петрограда к В. Каменскому он дважды спрашивает о ней, прикрывая настойчивость вопросов шутливым наименованием «гейша» [НП: 380]. Он собирается вернуться в Москву, но 12 сентября знакомится в Куоккале с баронессой Верой Александровной Будберг – близкой ко двору красавицей, невестой другого, сестрой милосердия, абсолютно равнодушной к поэту – которая в его глазах затмевает всех остальных женщин.

В ноябре Хлебников всё же, по-видимому, ненадолго посещает Москву (см. декабрьское письмо из Петрограда к Н. Асееву, в котором упоминается его переезд с Курского на Николаевский вокзал [V: 305]), однако никаких сведений о встречах в это время с Николаевой не сохранилось. Определённо можно сказать, что они общались в следующий его приезд, когда он жил в Москве с января по конец марта 1916 г. Подтверждения можно найти в архиве Николаевой (как уже говорилось, именно ей он подарил гранки «Ка» с типографским штампом от 12 февраля) и в двух посвящённых ей стихотворениях Хлебникова, относящихся к этому времени: «Бегство от себя» (в самом названии приговор их отношениям: к ней – это значит «от себя») и «Из ревности, из удали». Последнее стихотворение было записано Д. Петровским, по его свидетельству оно завершало черновой вариант «Бегства от себя». Это было время, когда приближалась служба поэта в армии. По закону, как ратник ополчения II-го разряда (к этому разряду относились те, кто ранее не служил в армии), возраст которого на момент начала войны составлял 28 лет, он подлежал призыву 25 марта 1916 г. (см. [Мамаев, 1996: 40]). И действительно, уехав из Москвы в Астрахань, Хлебников уже в начале апреля был призван на военную службу.

В дальнейшем они встречались в Москве не раз. Стихи Хлебникова «Вчера я молвил» (апрель 1917 г. [НП: 275]) дают основание для предположения, что он навещал её весной 1917 г. Приведённые выше воспоминания Петровского указывают на то, что он посещал её в ноябре-декабре 1917 г. О последней встрече, состоявшейся весной 1919 г., Новицкая рассказала в 1967 г. сотрудникам РНБ при передаче архивов Хлебникова и Михайлова: уезжая в Вологду, она зовёт Хлебникова с собой, но «он выбирает другой путь» [Зубкова, 1996: 222].

Материалы Хлебникова, которые он передавал ей в 1914-16 гг., остались у неё. В дальнейшем они разделились на три части. Одну часть рукописей Хлебникова Новицкая предоставляла, начиная со второй половины 1930-х гг., для публикации Харджиеву с условием, что после окончания работы над ними он передаст их в государственный архив по своему выбору. Это условие выполнено не было: в 1979 г. рукописи всё ещё находились у Харджиева (подробнее см. [Перцова, 2002]), где они сейчас – можно только гадать. Вторая часть (228 листов) была в 1967 г. безвозмездно передана ею на вечное хранение в РНБ – [РО РНБ, ф. 1087]. Третью часть Новицкая до своей смерти хранила у себя. Дальнейшая судьба этих рукописей неизвестна, можно отметить только, что оригиналы некоторых её личных бумаг, с которыми она сама ни в коем случае не рассталась бы, а именно, письмо от директора РНБ с благодарностью за желание передать библиотеке рукописи Хлебникова и расписка заведующего отделом рукописей о принятии их на хранение в библиотеку, почему-то оказались в [Sted].

Вернёмся к вопросу, поставленному в начале статьи. Когда произошёл разговор, слова которого записал Хлебников? Он не мог состояться ранее начала романа с Николаевой или позднее призыва поэта в армию, то есть самый широкий интервал – это время с лета 1914 по весну 1916 г. Ещё одно био-

графическое указание задано фразами «Я проводила бы вас...» и «пришлите одного калмыка»: разговор происходит непосредственно перед отъездом поэта из Москвы, уезжает он в Астрахань. Документальное подтверждение находят два таких случая. Во-первых, после начала войны с Германией, в конце июля – первой половине августа 1914, поэт отправляется домой после пребывания в Петровском-Разумовском. Однако сразу после совместной жизни на даче и перед первой после начала романа разлукой фраза «Вы изменились...» не могла быть ею сказана, поэтому этот вариант надо отвергнуть. Во-вторых, после трёхмесячного пребывания в Москве с января по март 1916 поэт уезжает домой, поскольку подошло время его призыва на военную службу. В это время их отношения уже далеко не безоблачны. Совсем недавно, осенью 1915-го, Хлебников обдумывал возможность брака с Верой Будберг, и Николаева не могла не почувствовать его охлаждения. Действительно, в обращённых к ней стихах 1916 г. сохранились свидетельства её ревности: «Из ревности, из удалы, / Но режут сатры. / Оттуда ли, / Но золотой пожар ты!». В то же время фраза «Я была бы безумной, если бы вышла за вас замуж» предполагает полную уверенность говорящей в своей единственности. Непосредственно перед призывом в армию был бы абсурдным и совет поступить в университет. Кроме того, на этот раз Хлебников снова уезжает после долгого пребывания в Москве и поэтому при прощании с ним снова неуместна реплика «Вы изменились...». Итак, нам надо искать какую-то иную временную точку, которая отвечала бы следующим условиям: Хлебников и Николаева только что встретились после разлуки и расстаются вновь, так как он уезжает в Астрахань; он (ранее или только что) сделал ей предложение, и она совершенно уверена в его чувствах, то есть никаких соперниц пока нет; до его призыва в армию остаётся достаточно времени, чтобы успеть окончить университет. Это даёт более узкий интервал: после последнего (цитированного выше) письма Хлебникова к Николаевой из Петрограда 11 октября 1914 г. и до знакомства с Будберг 12 сентября 1915 г. Поскольку никаких сведений о его отъезде из Москвы в Астрахань в этот период не сохранилось, нам придётся пользоваться лишь косвенными данными.

В этот период Хлебников едет в Астрахань только однажды, возвращаясь из Петрограда в конце 1914 г.; путь его, естественно, лежит через Москву. Об этой поездке и первых неделях в Астрахани Хлебников сообщает в трёх письмах к М.В. Матюшину, выдержки из которых приводятся ниже [НП: 372–374].

Первое письмо

Вы помните, отчасти сожалея, отчасти довольный, в холодный мрачный день я оставил Невск, спасаясь от холода и стужи. Когда поезд тронулся, вы приветливо махали рукой. Я попал в мрачное общество; я выехал во вторник, приехал в субботу – этого 5 дней пути; один лишний день я сам себе навязал. После переправы через Волгу я обратился в кусок льда и стал смотреть на мир из царства теней. Таким я бродил по поезду, наводя ужас на живых; так моряки сворачивают паруса и спешат к берегу при виде обледеневшего Мёртвого галландца. Соседи шарахались в сторону, когда я приближался к ним; дети переставали плакать, кумушки шушукаться. Но вот снег исчез с полей, близка столица Го-Аспа.

Я занимаю у извозчика, даю носильщику и качу к себе; здесь царующий приём, несколько оводов сжигаются в честь меня, возносятся свечи богам, курятся благовонные угли. Рой теней милых и проклинающих, я стою, голова кружится; тускло; смотрю в зеркало: вместо прекрасных живых зрачков с вдохновенной мыслью – тусклые дыры мертвеца. В каком-то невежественном мире я почувствовал себя уже казнённым. <...>

Оказывается, если бы не холод, то я мог бы не уезжать: мне было уготовано кое-какое (40 руб.) жалование, именно с 28 числа.

Второе письмо

Спасибо за письмо и за книжки. Я так развинчен, что с трудом поймал себя на том редком времени, когда могу написать письмо. Эти дни для меня важные, т. к. 15 декабря и 20 декабря должны быть морские большие, первой величины, бои.

Третье письмо

Начинаю повесть о моей ошибке. Я считал, что 15 будет большая битва. Её не было.

Попытаемся определить время отъезда Хлебникова из Петрограда домой. Первое и второе письма условно датированы Харджиевым декабрём 1914 г., третье имеет точную дату – 17 декабря 1914. Второе письмо написано, судя по содержащемуся в нём предсказанию морского боя 15 декабря, до этой даты.



Первое, соответственно, несколько ранее. Из письма явствует, что основная причина, побудившая его покинуть Петроград – безденежье. В нём упоминается, что 28-го (судя по контексту, это 28 ноября) родители собирались выслать ему 40 руб. (своим «жалованием» Хлебников часто называл помощь из дома), и тогда он мог бы не уезжать. Приезд Хлебникова в Астрахань сделала высылку денег ненужной, то есть он должен был приехать домой незадолго до 28 ноября. Дорога, как он пишет, заняла 5 дней, со вторника по субботу. В 1914 г. ближайшие к этой дате субботы приходились на 15 и 22 ноября ст. ст. (*Расчёты произведены с помощью программы, разработанной А.П. Эрлихом, которому я глубоко признательна за эту справку.* – Н.П.); соответственно, из «Невска» Хлебников выехал 11 или 18 ноября.

Содержание двух первых писем достаточно мрачно, в них говорится о каком-то глубоком кризисе, тяжелейшем настроении, которое вряд ли можно объяснить холодом в поезде и которого не было в момент отъезда из Петрограда. Одновременно сообщается, что он сам навязал себе один лишний день. Вероятно, этот день он провёл в Москве, рядом с Надеждой Васильевной, и именно тогда она могла наговорить ему то, что записал он в «Словах разговоров». Что могло так раздражить её? Представим себе этот день. Без копейки денег (в Астрахани занял у извозчика, чтобы заплатить носильщику) двадцатидевятилетний известный поэт (в 1914 г. у него выходит книга за книгой) возвращается на хлеба к родителям, с которыми незадолго до этого произошёл серьёзный конфликт (*Как можно судить по письмам Александра Хлебникова в Астрахань [Волга], в конце октября родные пытались установить контакт с Велимиром. Видимо, их зов дошёл до него и мир был восстановлен* – Н.П.). В то же время менее одарённым общим знакомым удаётся кое-что зарабатывать на общем «бюджетянском» деле, важную лепту в которое вносит именно он. Вся жизнь Надежды Васильевны говорит о её полном бескорыстии и преданности в дружбе и любви, кроме того, в те годы она была женщиной весьма обеспеченной. Вероятно, в его неумении и нежелании спуститься с облака она усмотрела угрозу их отношениям, почувствовала, что его любовь к ней вряд ли заставит его отказаться от предначертанного ему пути «одинокое лицедея». В то же время, быть может, именно тяжёлый осадок от этого разговора стал помехой браку, который в какой-то момент был для Хлебникова делом решённым: в [НХ, вып. XI: 21] приводится выразительная дневниковая запись поэта: «!? Николаева-Хлебникова?! Да».

Отношения были надломлены, однако не прекратились и продолжались вплоть до 1919 г. В начале 1915 г. Хлебников пишет «Ка», где, как уже говорилось, чуть ли не в каждом женском образе сквозят черты Надежды Васильевны. Сама страничка со «Словами разговоров» перекочевала к Николаевой и была среди других рукописей передана ею в РНБ. То есть примирение, вероятно, произошло довольно скоро. Поскольку вплоть до лета 1915 г. видеться они не могли, она должна была написать ему письмо с извинениями. Николаева писала Хлебникову неоднократно, что подтверждает целый ряд его текстов: письмо к Каменскому от мая 1914 г. [НП: 369], цитата из её письма («Дорогой Витечка, пиши, не забывай меня») в дневниковой записи начала сентября 1914 г. с пометкой «Мы с Надочкой на ты» [V: 329], письма к Николаевой с сообщением, что он перечитывает её письма, с ответами на её вопросы и просьбы [НП: 370–371]. Последнее по времени упоминаемое им письмо относится как раз к ноябрю 1914 [V: 329]:

*Письма ко мне написаны 11 – II – 15 Беленсона,
29 – XII – 1914 Асеева
Кузьмина
1915 VIII – 21 Бурлюк
21 – XI – 1914 Николаева.*

Почему в этих дневниковых заметках, написанных не ранее конца августа 1915 г., отмечено именно письмо от 21 ноября 1914? Чем-то оно должно было выделяться среди других писем Николаевой. Вероятно, в нём содержались те извинения и сожаления, без которых продолжение отношений вряд ли было бы возможно.

Обратимся к той части рукописной страницы со «Словами разговоров», которая следует за словом «Конец». Несколько строчек по диагонали, скорее всего, приписанных позже, начинаются словами «по приезде» (по-видимому, в Астрахань). Две фразы из этой приписки (снова расположенные слева) могут быть продолжением воспоминаний о нравоучениях, которыми Надежда Васильевна осыпала его в Москве: «достаю<ь>те часы» и «<до>печатайте 1-ый том». «1-ый том» – это, несомненно, изданная Давидом Бурлюком в 1914 г. книга Хлебникова «Творения. Т. I. 1906–1908». Упоминание о часах вызывает в памяти историю фамильных золотых часов, подаренных ему в 1911 г. двоюродным братом Борисом Лаврентьевичем Хлебниковым. В 1912 г., выпуская брошюру «Учитель и ученик», Хлебников отдал часы в заклад

Бурлюкам за 20 руб., сообщив об этом дарителю. Последний выкупил часы, и они вернулись к поэту (см. [V: 295–296; Волга: 149–150]). Конец часов печален: как-то Хлебников на спор вынес их из дома и оставил без присмотра на улице, где они и исчезли. Возможно, слова о часах относятся именно к этим часам и указывают на какой-то промежуточный этап их злоключений. Заканчивается приписка фразой «Вот это приятно (<в>ы изви<ните>)». Слова «вы извините» скорее угадываются, чем читаются, но так или иначе Надежда Васильевна не могла не обратиться с ними к Хлебникову, а он не мог не найти это «приятным». Не исключена и цитатность записанных выше слов «Когда-нибудь в Астрахань»: если это выдержка из её письма, то, похоже, она размышляла о возможности самой навестить его в его городе.

Если наше предположение правильно и неосторожные слова были сказаны Николаевой в ноябре 1914 г., то это объясняет многое из того, что происходит в дальнейшем. Она не рассказывает Харджиеву об их отношениях после лета 1914 г. Хлебников, по всей видимости, после октября 1914 г. не пишет ей больше, хотя и справляется о ней у друзей. Его влюблённость в Веру Александровну Будберг во всём противоположна тому, что было раньше. Если сведения об отношениях с Николаевой приходится собирать буквально по крупицам, то о своих чувствах к Будберг он пишет прозу «Три Веры», рассказывает Н.Н. Евреинову. Николаева принадлежит к его кругу, Будберг с её прибалтийским замком и придворным отцом – к абсолютно иному. Николаева любит его и, как умеет, вникает в его дела, Будберг холодна, далека и безразлична. Иначе говоря, чисто умозрительная влюблённость в Веру Александровну, в перипетии которой оказалась посвящённым известнейшим театровед Евреинов, была, возможно, своего рода неосознанным театром чувств, относившим Хлебникова всё дальше от его Нады. Путь к ней становился «бегством от себя».

В заключение приведу одно из стихотворений Хлебникова, посвящённых Николаевой, в котором он – странствующий Одиссей, она – царевна Навзикая [Sted, box 71: 36–36 об.]:

НВН

*Где, камень обегая, влага струи разрывает,
Навзикая,
Сидя на корточках,
Моет чьи-то порты,
Присевшим муллой
[Скрюченным]
Виден памятник.
А на дороге цветок
Сорванный, вами ник.*

*Голубосерую клешней
Как древле схвачен,
Я оставил тебя, соноокий зверь.*

Литература

- Бурлюк, 1994 – Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения / Публ., предисл. и примеч. Н.А. Зубковой. СПб.: Пушкинский фонд, 1994.
- Волга – Хлебников А.В. Письма к родным / Предисл. М. Митурича-Хлебникова, публ. и коммент. И. Ермаковой, Р. Дуганова // Волга. 1987. № 9. С. 138–158.
- Зубкова, 1996 – Зубкова Н.А. Надежда Новицкая и Велимир Хлебников // Рукописные памятники. Вып. 1. Публикации и исследования. СПб.: Российская национальная библиотека, 1996. С. 213–224.
- Мамаев, 1996 – Мамаев А.А. Астрахань Велимира Хлебникова. Астрахань: Изд. «Хаджи-Тархан», 1996.
- НП – Хлебников В. Незданные произведения / Под ред. Н. Харджиева и Т. Грица. М.: Гос. изд. худож. лит., 1940.
- НХ – Незданный Хлебников. Вып. I–XXIV / Под ред. А. Крученых. М.: Группа друзей Хлебникова, 1928–1933.
- Перцова, 2002 – Перцова Н.Н. Об амстердамских архивных материалах, связанных с В. Хлебниковым // Известия АН. Серия литературы и языка. 2002. Том 61, № 6. С. 22–28.
- Петровский, 1926 – Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове. М.: Акц. Издат. О-во «Огонек», 1926.
- СП – Хлебников В. Собрание произведений / Под ред. Н. Степанова. Т. I–V. Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1928–1933. [При ссылках на это издание указывается только номер тома].

ХЕНРИК БАРАН**«СВЕРХПОВЕСТЬ» ХЛЕБНИКОВА «ДЕТИ ВЫДРЫ»
(Об одной архивной находке)¹**

Несмотря на значительные достижения последних десятилетий в издании и осмыслении наследия Велимира Хлебникова, «Дети Выдры», крупнейшее раннее произведение поэта, остаётся как бы на обочине: его упоминают обычно в связи с другими текстами, но непосредственно им почти никто не занимается. Однако это произведение – первый опыт Хлебникова в жанре «сверхповести»², жанре, к которому он вернулся и в поздний период.

Этим «белым вороном» (воспользуюсь образным языком самого Хлебникова) я занимался в начале своей исследовательской жизни. Потом надолго его оставил, отчасти потому, что не мог найти ключ, который позволил бы раскрыть замысел Хлебникова. Однако то ли от судьбы не уйдёшь, то ли на ловца и зверь бежит, но вдруг, после тридцатилетнего перерыва, удачная находка побудила – если не заставила – вернуться к прежней теме.

Предыстория этой находки – мои давние встречи и беседы с Николаем Ивановичем Харджиевым.

Харджиева я впервые встретил зимой 1972 года, когда, будучи участником советско-американского обмена преподавателями и аспирантами, приехал в Москву. Наша встреча состоялась благодаря Роману Осиповичу Якобсону и его жене Кристине Поморской, лекционные курсы которых я слушал в университете и в аспирантуре, и которые снабдили меня номерами телефонов своих московских друзей и коллег. Якобсон познакомился с Харджиевым во время своих первых, после эмиграции, поездок в СССР, начавшихся вскоре после XX съезда. Вполне естественно, что Якобсона – соратника Хлебникова и Кручёных, в молодости писавшего заумные стихи под псевдонимом Алягров, и Харджиева, чуть ли не единственного в те годы историка футуризма и авангарда, крупнейшего специалиста по творчеству Маяковского и Хлебникова, связывало многое. Неудивительно также, что Харджиев стал одним из нескольких советских учёных, принявших участие в громадном трёхтомном издании «For Roman Jakobson», выпущенном к семидесятилетию знаменитого лингвиста. Впрочем, в их высказываниях друг о друге возникали и критические ноты: Николай Иванович не стеснялся называть подход Якобсона к наследию футуристов гениально-легковесным, а Роман Осипович упрекал Харджиева за чрезмерную медлительность и нерешительность – качества, из-за которых, по мнению Якобсона, были упущены реальные шансы представить творчество Хлебникова новому поколению читателей. Якобсон, в частности, утверждал, что Харджиев не воспользовался возможностью выпустить двухтомник Хлебникова в Польше (там разрешалось печатать книги на русском языке), о чём Якобсон, имевший большой авторитет среди польских учёных, договорился с соответствующими инстанциями. Добавлю сразу, что упоминая об этой затее, Николай Иванович указывал на текстологические проблемы и сложности хлебниковского рукописного наследия и на невозможность осуществить такое издание в обозримые сроки. Скорее всего, он был прав.

Николай Иванович жил тогда на Кропоткинской улице, где я навещал его чуть ли не каждую неделю, а летом, незадолго до моего отъезда из Москвы, когда он готовил ряд больших работ для публикации на Западе³, я приходил к нему чаще. Естественно, что темы для наших разговоров в основном определял он. Поскольку я попал к Харджиеву в разгар его конфликта с Н.Я. Мандельштам, его высказывания – монологи – очень часто были посвящены автору «Второй книги» («мемуаристке», как он её называл). Тем не менее, иногда удавалось отвлечь Николая Ивановича от этого болезненного сюжета и переключить разговор на другое – подтолкнуть на воспоминания о Хармсе, Ахматовой, Матюшине, его соавторе В.В. Тренине, на обсуждение творчества поэтов и художников начала века.

Поскольку я приехал в Москву работать над диссертацией о Хлебникове, которым я стал заниматься за пару лет до того, понятно, что больше всего мне хотелось обсуждать именно эту тему. Николай Иванович, когда не был во власти собственных сильнейших эмоций, вполне готов был поговорить о Хлебникове и иногда даже предлагал задавать конкретные вопросы, что я охотно и делал. Однако через некоторое время я понял, что дискурс Николая Ивановича о Хлебникове отличался двумя постоянно присутствующими чертами. С одной стороны, что бы ни сказал его собеседник о поэте, Харджиев умел внушить, либо кос-

венно, либо прямым текстом, что в принципе ничего нового для себя он не услышал, что всё, связанное с Хлебниковым, он изучил и обдумал давно и что лишь условия страны, в которой ничего нельзя сделать и в которой, по его словам, отменена категория времени, не дают ему возможности обнародовать в печати все свои открытия. Особых иллюзий относительно своих собственных знаний я не питал, но в какой-то момент стал подозревать, что Николай Иванович гиперболизировал ситуацию. Впоследствии, работая с его фондом в архиве амстердамского Музея Стеделийк, я убедился, что был тогда отчасти прав, хотя одновременно понял, какую действительно колоссальную работу проделал учёный, занимаясь творчеством Хлебникова и русским литературным и художественным авангардом в целом. А с другой стороны – и это я сообразил далеко не сразу, – Николай Иванович строго дозировал выдаваемую во время наших бесед информацию о Хлебникове, умудряясь не сообщать почти ничего нового по сравнению с тем, что уже им было когда-то напечатано. Подобная тактика, естественно, не радовала; сейчас, на расстоянии более трёх десятилетий, я могу сочувствовать его настороженности по отношению к другим исследователям Хлебникова, хотя и продолжаю считать её ошибочной⁴.

В наших беседах время от времени мы касались крупнейшего произведения Хлебникова довоенного периода, так называемой сверхповести «Дети Выдры», опубликованной в начале 1914 г. в бюджетном альманахе «Рыкающий Парнас». Именно этот сложный, запутанный текст стал темой моей диссертации, и мне хотелось узнать о нём как можно больше. Задним числом должен признаться, что выбор сверхповести, о которой в это время почти ничего не было написано, в качестве темы диссертации был во многих отношениях неудачным. Вообще в это время, то есть, в начале 70-х годов, литература о Хлебникове была более чем скудной – не больше десятка работ представляли серьёзный интерес для исследователя, опереться было почти не на что. Однако сложность поставленной мной задачи я понял лишь после приезда в Москву, когда, начав заниматься в тогдашнем ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ), столкнулся с правилами, строжайшим образом ограничивающими возможности иностранных исследователей в советских архивах, а заодно осознал свою собственную неподготовленность для серьёзной текстологической работы. Поэтому я с особой радостью обнаружил в составе небольшого хлебниковского фонда, хранящегося в Отделе рукописей Института мировой литературы, где отношение к иностранцам было более доброжелательным, четыре черновых автографа к «Детям Выдры», упомянутых Харджиевым и Т.С. Грицем в их издании Хлебникова⁵. Надеюсь, что они смогут дать некий ключ к загадкам из «Рыкающего Парнаса», я начал ими заниматься. Очень помогла мне старший научный сотрудник Отдела рукописей Людмила Кирилловна Куванова (1909-1998) – специалист по литературе первой половины XX века, добрейшая женщина, которая стала моей наставницей в области текстологии и которую я вспоминаю с благодарностью. Однако мои ожидания оправдались далеко не полностью, поскольку, во-первых, материалы в ИМЛИ имели отношение лишь к двум частям «Детей Выдры» (первой и последней, шестой), и, во-вторых, они оказались весьма трудными для прочтения. Естественно, что я задавал Николаю Ивановичу вопросы относительно черновики, однако, насколько помнится, ничего существенного о них так и не узнал. В конечном итоге, через пару лет после отъезда из Москвы, я их транскрибировал, снабдил обширными комментариями и включил в диссертацию, однако в транскрипции осталось столько лагун и предположительных прочтений, что я не рискнул опубликовать её в целом и впоследствии время от времени приводил выдержки из неё в отдельных работах.

После первой публикации сверхповесть перепечатывалась трижды: в «Собрании произведений»⁶, в сборнике «Творения»⁷, и в недавно вышедшем 5-м томе «Собрания сочинений»⁸. Если в двух первых случаях сам характер издания не предполагал публикации черновики из ИМЛИ, то в последнем издании, где существует раздел «Другие редакции и варианты», их отсутствие, по-видимому, следует объяснять именно их сложностью. Цитаты из черновики приводятся в примечаниях к СС (Г.5), однако, к сожалению, потенциал этих материалов для раскрытия замысла «сверхповести» использован далеко не полностью; встречаются и ошибки⁹.

Прежде чем обратиться непосредственно к вопросу об истории текста «Детей Выдры», надо кратко охарактеризовать композицию и содержание сверхповести – нового жанра, созданного Хлебниковым. По более позднему определению, данному поэтом в «Зангези» (последнем его опыте в этом жанре), «сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом» (Творения, 473). «Дети Выдры» – монтаж из шести частей, «парусов» («архитектурный» термин, заимствованный Хлебниковым)¹⁰, автономность которых проявляется и в их жанровой принадлежности, и в их тематике. Р.О. Якобсон в своей знаменитой первой работе о Хлебни-



кове заметил: «Есть у Хлебникова произведения, написанные по методу свободного нанизывания разнообразных мотивов. Таков “Чёртик”, таковы, пожалуй, “Дети Выдры” (Свободно нанизываемые мотивы не вытекают один из другого с логической необходимостью, но сочетаются по принципу формального сходства или контраста...). Этот метод освящён многовековой давностью, но для Хлебникова характерна его обнаженность – отсутствие оправдательной проволочки»¹¹. Произведение начинается с двух написанных «ремарочным» стилем небольших прозаических текстов (1-й и 2-й парус), в которые вкраплены куски стихотворений. За ними следует эпическое повествование в стихах (3-й парус), рассказ «Смерть Паливоды» (4-й парус), драматическая поэма в трёх частях (5-й парус) и стихотворный «разговор мёртвых» (6-й парус). Сверхповесть наполнена персонажами из разных периодов истории человечества, однако её главные герои – мифологическая пара, Сын и Дочь Выдры. Они появляются на свет в первом парусе, где Сын Выдры в роли культурного героя способствует превращению изначального мирового «хаоса» в пригодный для жизни «космос» (здесь Хлебников использует сюжет из мифологии орочей, одного из народов Сибири). В следующих частях эти герои путешествуют во времени, то созерцая разные события, то участвуя в них под теми или другими личинами. В пятом парусе Хлебников излагает в стихотворной форме свою теорию о циклической природе времени и о детерминированности исторических событий. Действие 6-го, последнего паруса, озаглавленного «Душа Сына Выдры», буквально происходит в сознании героя, который открыто отождествляет себя с автором сверхповести: на сцене появляются карфагенский полководец Ганнибал и его римский соперник Сципион, а также «духи великие» из прошлого славянских народов, включённые в текст по разным причинам (Коперник, Ломоносов, Ян Гус, Святослав, Пугачёв, Разин, Артемий Волинский).

В чём заключается главная идея «Детей Выдры»? Чётко ответить на данный вопрос нелегко, так как сверхповесть является своего рода итогом целого периода творчества Хлебникова, и в тексте отсутствует эксплицитная мотивация сюжетного развития. Тем не менее, сходство структуры большинства эпизодов, из которых состоит сверхповесть, приводит к выводу, что в лице главного героя, Сына Выдры, вместе с его разными «локальными» двойниками, Хлебников прославляет героическое поведение и героическую борьбу, доведённую до конца – либо победного, либо гибельного. Центральные для авангарда мотивы бунтарства и борьбы были связаны для раннего Хлебникова с определёнными идеологическими и культурными установками, его увлечением славянофильскими идеями и отрицательным отношением к западным влияниям в русской культуре.

Сверхповесть «Дети Выдры» не входит в число лучших произведений Хлебникова. Несомненная смелость замысла вряд ли искупается трудностями, которые возникают при попытке реконструировать общую концепцию текста, а также относительной тривиальностью – да простят меня коллеги по цеху хлебниковедов! – высказанных в нём идей и топорностью целого ряда пассажей, особенно в 5-м и 6-м парусе. Кроме того, в тексте, напечатанном в «Рыкающем Парнасе», явно имеются некоторые логические противоречия: в 5-м парусе отдельные стихотворные куски перепутаны (это исправлено в «Творениях» и «Собрании сочинений»), а в 6-м парусе реплики некоторых персонажей обрываются и являются не очень вразумительными.

Здесь необходимо встать на защиту поэта, так как, по всей вероятности, дошедший до нас текст не совпадает с тем, который был им создан изначально. Дело в том, что обстоятельства публикации «Детей Выдры» выделяются даже на фоне обычной небрежной издательской практики группы «Гилея». По свидетельству А. Кручёных, «когда печатался сборник “Рыкающий Парнас”, то рукопись большой поэмы Хлебникова – два печатных листа – была утеряна в типографии, между тем у остальных авторов сборника не пропало ни строчки. Хлебников всё же не растерялся: он засел за работу и в одну ночь восстановил всю поэму по памяти»¹². Однако, согласно свидетельству М. Матюшина, тоже участвовавшего в этом сборнике, полностью восстановить утраченную рукопись Хлебникову не удалось: некоторые части произведения так и не вошли в печатный текст¹³, который вдобавок оказался искажённым в нескольких местах.

Эти сведения существенны для оценки «сверхповести». Редкий импровизаторский талант Хлебникова, его способность создавать длинные стихотворные тексты почти на ходу хорошо известны. Вместе с тем поэт славился и готовностью – опасной, с точки зрения любого издателя, – переделывать уже сданные в набор рукописи¹⁴. Однако потеря «сверхповести» в типографии, потребовавшая воссоздания большого, сложного произведения, поставила Хлебникова перед весьма трудной задачей, с которой он справился, судя по всему, лишь частично. В данном случае можно лишь условно говорить о «последней воле» автора. В результате мы имеем дело с текстом, который следует печатать с необходимыми оговорками и даже, может быть, помещать отдельно от основного корпуса произведений, текст которых считается выверенным.

Каково соотношение четырёх автографов, хранящихся в ИМЛИ, с опубликованным произведением? Два черновика – один стихотворный¹⁵, второй прозаический¹⁶ – представляют собой более ранние редакции 6-го паруса. Стихотворный текст полнее того «разговора мёртвых», который появился на страницах «Рыкающего Парнаса»: некоторые реплики участников «разговора» даны здесь в более развёрнутом виде. Кроме того, поэт сам определяет жанр своего произведения¹⁷. Прозаический черновик, скорее всего, возник раньше стихотворного и тоже кое-что дополняет и проясняет. Ещё один автограф состоит из нескольких стихотворных фрагментов, записанных рукой то Хлебникова, то Кручёных¹⁸: один из фрагментов встречается также в самом конце 1-го паруса. Последний, наиболее длинный черновой автограф записан на семи листах школьной тетради¹⁹. Этот текст, которому Н.И. Харджиев дал определение «план-конспект» (в некоторых новых работах он назван «сценарием» или «либретто»), – целиком прозаический. Он близок к парусам 1-2 как по ремарочному стилю, так и по обрывочному характеру повествования, и состоит из цепи разнообразных эпизодов, в которых участвуют Сын и Дочь Выдры (а в первом из них и Внук Выдры). На некоторых страницах текст перечёркнут, что свидетельствует о существовании более поздней редакции. Тетрадка сохранилась не полностью. Судя по тому, что нумерация, принадлежавшая, по-видимому, самому Хлебникову, начинается с девятой страницы, предыдущие листы отсутствуют.

Время работы над всем текстом, когда Хлебников компоновал его из уже созданных произведений, нам неизвестно. Однако можно говорить о датировке отдельных парусов. В своё время Харджиев и Гриц предложили следующую хронологию: главки 1-3 первого паруса – 1912, главка 4 – 1913, 2-й парус – 1913, 3-й – 1912, 4-й – 1911, 5-й – 1912, 6-й – 1913 (НП, 11). Предлагая эту хронологию, которую приняли Григорьев и Парнис (Творения, 691), исследователи, по-видимому, исходили из следующих фактов. 4-й парус упоминается в письме, отправленном М. Матюшину в апреле 1911 г. (НП, 360). 5-й парус, которому в черновиках Хлебников даёт название «Титаник»²⁰, является откликом на знаменитую морскую катастрофу 15 апреля 1912 г. Совпадение четверостишия из 3-го паруса с отброшенным черновым фрагментом поэмы «Напрасно юноша кричал...» (1912?) (НП, 433) позволяет датировать 3-й парус. Время создания 6-го паруса определяется на основе пометы «8. I. 1913» на одном из двух его черновых вариантов, хранящихся в ИМЛИ²¹. Что касается 1-го и 2-го паруса, то само обращение к орочской мифологии, сюжеты которой Хлебников разрабатывал в некоторых других произведениях 1912 г., даёт основания отнести к тому же году первые три главки 1-го паруса. 1912-м г. можно датировать и четверостишие, которым заканчивается 1-й парус, так как оно встречается в тексте поэмы «Любовь приходит страшным смерчем...», созданной в 1911-1912 гг. (Творения, 680). Однако наличие театральных мотивов в 4-й главке первого паруса и во 2-м парусе (например, «Поднимается занавес – виден зерцог Будетлянин, ложи и ряд кресел» – Творения, 432) связывает эти части сверхповести с летом 1913 г., когда группа «Гилея» обратила своё внимание на театр. Результатом их экспериментов стали постановки пьесы В. Маяковского «Владимир Маяковский» и «оперы» А. Кручёных «Победа над солнцем» в декабре 1913 г.

Необходимо отметить, что уже после выхода «Неизданных произведений» Н.И. Харджиев изменил своё мнение, о том, когда Хлебников работал над началом сверхповести. На письмо, которое я послал ему через несколько месяцев после отъезда из Москвы и в котором я выразил некоторые сомнения по поводу датировки, предложенной в «Неизданных произведениях», учёный ответил: «Если мне придётся готовить к изданию эту вещь Хлебникова [т.е. «Дети Выдры». – Х.Б.], то в датировку... будет внесена поправка. Не подлежит никакому сомнению, что прозаический “конспект” (2 и 3 “дело”, листы 9-17, 19-23) целиком написан в 1913 г. Следовательно 1913 г. должен быть датирован и “первый парус” печатного текста (кроме заключительного четверостишия)»²². Николай Иванович не объяснил, почему изменился его взгляд на этот вопрос, но новая датировка поддерживается тем простым фактом, что театральные мотивы присутствуют как в последней главке 1-го паруса, так и в предыдущих («В углу занавеси виден конец крыла» – Творения, 431).

Автор настоящей статьи должен признаться, что забыл об этом письме Харджиева, полученном столь давно. Однако два года тому назад, накануне международной конференции по Хлебникову в Амстердамском университете, мне довелось провести несколько дней в Музее Стеделийк, где я просматривал вместе с А.Е. Парнисом хранившиеся там материалы фонда Харджиева. Листая книгу из библиотеки Харджиева (второй том СП), я вдруг наткнулся на аккуратно вложенный в неё черновик этого письма. Таким образом, моё общение с Николаем Ивановичем, прерванное на долгие годы – в последний раз, если не ошибаюсь, я говорил с ним по телефону весной 1989 г., – возобновилось в странной, неожиданной форме.

В отличие от стихотворного черновика к 6-му парусу, в плане-конспекте нет чётких указаний на то, когда он был создан Хлебниковым. До сих пор те немногие хлебниковеды, которые занимались «Деть-



ми Выдры», считал, вслед за Харджиевым, что этот план-конспект является неким подготовительным планом к сверхповести или к какой-то её части и поэтому возник не позже 1913 г. Недавно эта датировка была поставлена под сомнение исследовательницей языка Хлебникова Н.Н. Перцовой, посвятившей этому автографу две статьи²³ и отметившей, что в одном из многочисленных эпизодов, из которых состоит черновик, упоминается полярный исследователь Георгий Седов: «Экспедиция Седова кончается»²⁴. Как известно, экспедиция Седова на Северный полюс, предпринятая в 1912 г. на пароходе «Св. Фока», не достигла своей цели, а сам Седов скончался 5 февраля 1914 г., пытаясь добраться до полюса на собаках вместе с двумя товарищами. На основе этого факта Н.Н. Перцова предлагает другую датировку черновика: «19 марта матросы вместе с телом своего капитана вернулись на судно. Вести об этом могли распространиться не ранее конца весны – начала лета 1914 г. Именно тогда, скорее всего, Хлебников и писал свою пьесу»²⁵. В связи с этим исследовательница приходит к выводу, что черновик («сценический вариант») является новым произведением, отражающим «промежуточный этап работы между «Детьми Выдры» (1911-1913 гг.) и «Ка» (1915 г.)»²⁶.

Признание этого достаточно смелого вывода потребовало бы корректировки общепринятой – безусловно, весьма неполной – истории текста «Детей Выдры» и пересмотра сложившихся представлений о том, над чем Хлебников работал в 1914 г. Однако предлагаемая Перцовой датировка нам кажется неубедительной²⁷.

Во-первых, далеко не ясно, что имел в виду Хлебников в процитированных выше словах о Седове. Вслед за ними в тексте идут две фразы: «дева льдов и Седов. Это <тоже> дети выдры». Возможно, что Хлебников собирался обыграть сюжет о связи смертного и мифологического существа, использованный им в поэме «Шаман и Венера» и некоторых других произведениях. Более того, упоминание о завершении экспедиции Седова не обязательно связывать с 1914 г.²⁸ Дело в том, что с момента отправления экспедиции в августе 1912 г. она находилась в поле внимания российской общественности. Пресса, в первую очередь спонсор, как сказали бы сегодня, экспедиции, газета «Новое время», регулярно писала о ней. А 19 и 20 сентября 1913 г. (по старому стилю) читатели газет по всей стране нашли в них сенсационное сообщение о возвращении в Архангельск капитана «Св. Фоки» Захарова вместе с четырьмя другими членами экспедиции, заболевшими и отправленными обратно. Захаров и его товарищи, проплывшие на плюшке 400 вёрст от Земли Франца-Иосифа, привезли с собой материалы, собранные экспедицией, а также известия о её тяжелом материальном положении: о нехватке угля, керосина, одежды, собак²⁹. Возникший в газетах ажиотаж относительно дальнейших перспектив экспедиции продолжался и в октябре. Он вполне мог дать Хлебникову повод упомянуть Седова в черновике, тем более что поэт явно интересовался путешественником. О последнем свидетельствует фрагмент из стихотворения, транскрибированного Харджиевым и сохранившегося в амстердамском архиве:

*А там в стране снегов <и> льдов
Идёт вдвоём. На лыжах лоси.
К концу земного шафа оси
С мечтой упрямою Седов»³⁰.*

Во-вторых, в черновике встречаются театральные реалии; причём Хлебников использует термины, введённые им в связи с театральными экспериментами бюджетян: «Костяк деес. Особы молчат. Но застенчий в будке иногда читает и объясняет, что происходит»³¹. Наличие этих неологизмов, вполне сопоставимых с лексическими новообразованиями в прологе Хлебникова «Чернотворские вестучки» к «Победе над солнцем» Кручёных³², позволяет отнести черновик, как и первые два паруса печатного текста, к концу лета или осени 1913 г. В середине 1914 г. поэт был занят другими темами и увлечение театральными неологизмами отошло на задний план.

В-третьих, в черновике встречаются два списка заглавий, которые легко соотнести с отдельными эпизодами или целыми парусами «Детей Выдры»: «Нушабэ и Александр», «Кинтал» (3-й парус), «Титаник» (5-й парус), «Ганнибал» (6-й парус)³³, «Смерть Паливодь» (4-й парус)³⁴ и др.; также упоминаются другие произведения, не попавшие в опубликованный текст – «Смерть Святослава», «Кучум», «Ермак», «Японская вещьца»³⁵. Составление подобных списков имело смысл в разгар работы Хлебникова над сверхповестью; если же, как полагает Н.Н. Перцова, черновик представляет собой новое произведение сценического типа, то трудно объяснить наличие этих списков на полях автографа.

В-четвёртых, один из эпизодов в прозаическом черновике³⁶ соотносится с опубликованным в сборнике

Хлебникова «Ряв! Перчатки. 1908 – 1914 гг.» (1914) небольшим произведением «Выход из кургана умершего сына»³⁷, которое Т.С. Гриц назвал «фрагментарным гротеском»³⁸. Как и первые два паруса сверхповести, как и план-конспект в целом, «Выход» – это «запись событий, происходящих перед глазами постороннего и не понимающего наблюдателя»³⁹. Согласно Н.Н. Перцовой, эпизод в черновике «представляет собой развернутую версию»⁴⁰ этого произведения. И действительно, в нём представлена не только «предыстория» действий, описанных в «Выходе», но и дальнейшие события (несмотря на это, мотивировка гротескного сюжета остается неясной). Тем не менее, нет оснований считать, что более короткий текст предшествует во времени более пространному: обычным для Хлебникова, да и для многих поэтов, является переход от более длинного чернового текста, где автор прорабатывает возможные сюжетные и языковые решения, к более простому⁴¹.

Есть ещё одно свидетельство в пользу традиционной датировки плана-конспекта. В тот же день, когда я нашёл черновик письма Харджиева в Музее Стеделйк, я обнаружил в другой книге, принадлежавшей Николаю Ивановичу, обрывок тетрадного листа, исписанного с обеих сторон. Почерк я узнал сразу: он принадлежал не Харджиеву, а... самому Хлебникову. И тут я вдруг сообразил, что именно я держал в руках – это был фрагмент (верхняя треть) первого листа из той же самой тетради, хранящейся в ИМЛИ, в которой Хлебников набросал план-конспект «Детей Выдры». Передо мной находилось отсутствующее начало черновика.

Данный фрагмент хлебниковской рукописи не был зафиксирован в описи амстердамского архива. После консультации с сидевшим за соседним столом в читальном зале А.Е. Парнисом, я сообщил о находке сотрудникам музея. Они тоже были приятно удивлены и любезно согласились предоставить мне возможность опубликовать новонайденный черновик⁴².

Ниже приводится транскрипция этого автографа: сначала то, что можно считать основным, связным текстом, а потом фрагменты, вписанные поэтом то сверху, то справа. Там, где Хлебников не дописал какое-то слово (частое явление в его черновиках), я реконструирую вероятное окончание в угловых скобках. Не обязательно относить все записи на полях автографа к плану-конспекту: Хлебников часто делал пометы «для себя» или же просто начинал новое произведение поверх уже имеющегося. Так как сохранилась лишь часть листа, некоторые слова в конце обеих страниц не могут быть восстановлены. Текст на оборотной стороне листа зачёркнут почти полностью. Сначала поэт отказался от некоторых отдельных фраз или строк (ниже они заключены в квадратные скобки), а потом вертикальной линией перечеркнул всю страницу, что свидетельствует о его дальнейшей работе над данным отрывком.

Лицевая сторона, основной текст:

5 дел

[мо]

Я в мозгу

Уста<ми> <?> Воспом<инания> <?> лич<ины> <?>⁴³

Подмостки перенесены из мира в мозг, [так как нбо этот второй]

законы мозга более гибки, чем мира,

мыслимое больше бывающего

Сверху, слева:

1-ые немые разговоры

стоны

как будто несётся стая горли<нок>

багров<ых>

несутся из облаков

Сын выдры

Слева, вписано над словом «мозг»:

один из зрителей издаёт словцо

Справа, вдоль страницы:

Сборник самовлюблённых

Если нет тепла, то человек сам зажигает костёр;

Если нет любви, то человек дол<жен> сам полюбить себя
 само<о>писание м<еня>
 записки
 мозга
 закон<ы> об<ычай> <?>
 Кто я
 Титул заглавие
 (столб<е>ц)
 3 солнц<а> красное, черно<е> и бел<ое>
 <нрзб.>на⁴⁴ октября кот<орый> <?>

Оборотная сторона, основной текст:

[Потом задерживается облаками]
 Это земля шлемом спуск<ается> <?> к <нрзб.>⁴⁵
 через тускл<ое> стек<ло>
 [Напоминает поверхность солнца]
 [м<алые>] [Громадные струи огня поднимаются из нея]
 и два из н<их> м<нрзб.> <10 сл. нрзб.>
 [Три солнца стоят на небе]
 [стражей первых дней земли]
 все сильнее<е>
 зелён<ые> <?>

Жалоб<ы> Ветер буря, волны бьют в

в

[накалён<ые> до красные утёсы и громады]
 от [внутреннего тепла]
 [дрожащего красного камня]
 Лес огненных дымных стволов
 ущелья<м>
 Одинок<ий> пылающий лес вьётся по гребню гор
 [Эти п<нрзб.> золота] синее бород<ою> син<нрзб.>

Вписано справа, над словом «солнца»:

ро<га> <?> крас<ного> оле<ня> <?>
 желтея

Справа, вдоль страницы:

Черн<ое>
 Де<нрзб.>
 Красн<ое>
 Син<е>я
 бел<ое>

Непонятно, при каких обстоятельствах фрагмент рукописи оказался в руках Н.И. Харджиева. Почти наверняка это произошло после выхода «Неизданных произведений», так как в этом сборнике нет и намёка на существование каких-то других черновиков к «Детям Выдры».

Приведённый выше текст дополняет и отчасти меняет наши представления о свержповести.

Прежде всего, как видно из сопоставления начала свержповести с фразами в конце лицевой стороны и оборота листа, автограф включает – точнее, включал, поскольку сохранился лишь частично – черновую редакцию первых двух главок 1-го паруса, в которых описано солнцеборство героя произведения:

1.

Море. В него спускается золотой от огня берег. По небу пролетают два духа в белых плащах, но с косыми монгольскими глазами. Один из них касается рукой берега и показывает руку, с которой стекают огненные брызги; они, стелая, как лебеди осенью в тёмной ночи, уносятся дальше. Издали доносится их плач.

Берег вечно горит, подымая костры огня и бросая потоки лавы в море; волны бьются о красные утёсы и чёрные стены. Три солнца стоят на небе – стражи первых дней земли.<...>

2.

Волны время от времени удаляют о берег. Одно белое солнце, другое, меньшее, – красное с синеватым сиянием кругом и третье – чёрное в зелёном венке. Слышны как <бы> слова жалобы и гнева на странном языке.

(Творения, 431)

То обстоятельство, что почти в самом начале автографа Хлебников набросал предварительный вариант 1-го паруса (обрывочность сохранившихся записей не оставляет в этом никакого сомнения), окончательно опровергает гипотезу о том, что черновик, хранившийся в ИМЛИ, представляет собой некое новое произведение, созданное уже после выхода «Рыкающего Парнаса».

Новый автограф указывает на объём черновика – «5 дел», то есть, пять действий. В сохранившейся тетрадке находятся лишь два, причём неполных. Число запланированных «дел» – пять – близко к числу имеющихся парусов – их шесть – в тексте сверхповести. Не исключено, что один из парусов, «Смерть Паливобы», который столь сильно отличается от остальных, был добавлен поэтом в последний момент, в результате потери рукописи в типографии.

Особенно значимыми оказываются строки на лицевой стороне листа: «Я в мозгу. Подмостки перенесены из мира в мозг, [так как ибо этот второй] законы мозга более гибки, чем мира, мыслимое больше бывающего». Эти строки показывают, что Хлебников планировал создать произведение театрального типа: сверхповесть была задумана как «сверхзрелище» (по удачному определению А. Флакера⁴⁶), причём свобода от законов трёхмерного мира открывала широчайшие возможности для полётов фантазии. Ещё в августе 1909 г. в письме В. Каменскому поэт обрисовал контуры необычайного замысла: «Задумал сложное произведение “Поперёк времен”, где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывает к рюмке. Каждая глава должна не походить на другую. Хочу бросить на палитру все свои краски и открытия, а они каждое властны только над одной главой... Будучи напечатанной, эта вещь казалась бы столько же неудачной, сколько замечательной» (НП, 358). В 1913 г. Хлебников дал этому замыслу научное, психологическое обоснование.

Формулировку «законы мозга» не следует воспринимать лишь как поэтический оборот. Как показала С. Старкина, Хлебникова интересовали вопросы, оказавшиеся в центре внимания психологической науки конца XIX – начала XX веков. В частности, он был знаком с теориями физиолога и психолога-экспериментатора Вильгельма Вундта (1832-1920; его труды переводились на русский язык и были вполне доступны)⁴⁷. Об осведомленности поэта в этой области свидетельствуют его ранние статьи, сохранившиеся в фрагментарном виде⁴⁸. По мнению исследовательницы, идеи Вундта и его школы могли найти отражение в короткой пьесе Хлебникова «Госпожа Ленин» (1909-1912) – произведении, которое почти целиком состоит из разговора разных «голосов» в сознании героини и которое в прошлом рассматривалось как результат воздействия поэтики М. Метерлинка на творчество Хлебникова (НП, 455)⁴⁹. Скорее всего, работы Вундта также являются частью общего интеллектуального фона в более позднем замысле поэта.

Запись о «подмостках», на которых разворачивается сюжет хлебниковского черновика, напоминает о не менее необычном месте действия монодрамы Н. Евреинова «В кулисах души». В этой, по словам её автора, «самой оригинальной пьесе в мировой истории театра»⁵⁰ (написана в 1911 г., поставлена в театре «Кривое зеркало» в сезоне 1912/1913 г.), сценой является грудная клетка человека («там, где, по наивному представлению доморощенных психологов, находится душа»⁵¹), а главные действующие лица – его три «я» (рациональное, эмоциональное, подсознательное). Заметим, что пьеса Евреинова открывается пародийным прологом Профессора, который утверждает, что «“В кулисах души” – строго научное произведение, соответствующее новейшим данным психофизиологии. Исследования Вундта, Фрейда, Теодула Рибо и других доказывают, что человеческая душа не есть нечто неделимое, а состоит из нескольких “я”»⁵². Если, как мы полагаем, Хлебников на самом деле был знаком с данным произведением, то эти строки могли вызвать у него неоднозначную реакцию⁵³.

Фраза «1-е немые разговоры» намекает, быть может, на жанр «разговоров» или «споров», – то есть, философских диалогов, к которым Хлебников обратился в последнем парусе «Детей Выдры» и которые, как было отмечено выше, упоминаются в стихотворном черновике начала 1913 года. Возможно, что наброски «разговоров» находились на утраченных последних страницах тетради.

Наконец, если выражения «Сборник самовлюблённых» и «Если нет тепла, то человек сам зажигает



костёр; если нет любви, то человек должен сам полюбить себя» относятся к черновику сверхповести, то они свидетельствуют о том, что замысел произведения, по крайней мере, на раннем этапе, имел некоторую автобиографическую, психологическую подоплёку. К сожалению, эта сторона творчества Хлебникова, неоднократно конфликтовавшего с ближайшими родственниками и друзьями, терпевшего неудачи в любви, до сих пор изучена плохо. Приведённые фразы могут, однако, дополнить уже накопленный биографический материал, ждущий своего исследователя.

Итак, на вопросы, когда-то заданные Николаю Ивановичу Харджиеву, кое-какие ответы всё-таки удалось получить – однако спустя три десятилетия. Нет сомнения, что в амстердамском архиве – а тем более в фонде Харджиева в РГАЛИ, по распоряжению фондообразователя закрытом надолго, – найдутся ответы и на многие другие вопросы, касающиеся и Хлебникова, и авангарда в целом. Пожелаю всем исследователям, в том числе и себе, чтобы эти материалы стали доступны как можно скорее.

Примечания:

¹ Настоящая статья – переработанный текст доклада, прочитанного в июле 2004 г. на конференции «Возвращение авангарда: к столетию Н.И. Харджиева».

² «Сверхповесть» – термин, введённый Хлебниковым в предисловии к «Зангези» (см. ниже). В дальнейшем мы им будем пользоваться без кавычек.

³ Эти работы, согласно указаниям Николая Ивановича, я передал Р.О. Якобсону, который договорился об их издании с голландской фирмой «Mouton», выпускавшей в те годы огромное количество книг по славистике и лингвистике. Однако лишь одна из рукописей Харджиева – статья «Новое о Велимире Хлебникове» – вышла в только что основанном тогда «Мутоном» журнале «Russian Literature» (1975, № 9), ставшем почти сразу «органом» московско-тартуской школы и её западных единомышленников. Остальные работы, по-видимому, застряли в издательстве, отличавшемся грандиозностью замыслов и медлительностью в их осуществлении. Эти работы Харджиева – расширенный вариант статьи «Маяковский и живопись», комментированные воспоминания М. Матюшина и К. Малевича под названием «К истории русского авангарда» вышли в 1976 г. в Стокгольме под маркой издательства «Гилея», основанного Б. Янгфельдом, шведским специалистом по Маяковскому.

⁴ Следствием подобной установки стало то, что Н.И. Харджиев так и не создал своей школы в хлебниковедении, хотя отдельные исследователи считали себя его учениками.

⁵ Хлебников В. Незданные произведения / ред. и коммент.: Н. Харджиев, Т. Гриц. М., 1940. С. 11 (*далее – НП*).

⁶ Хлебников Велимир. Собрание произведений. Т. I-V / под общ. ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова; ред. текста Н. Степанов. Т. 2. М., 1929. С. 142-179 (*далее – СП*), Вышедшее под редакцией С.В. Старкиной «Собрание сочинений в трех томах» (СПб., 2001) воспроизводит текст и примечания пятитомника.

⁷ Хлебников В. Творения / общ. ред. и вступ. ст. М.Я. Полякова; сост., подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. М., 1986. С. 431-454 (*далее – Творения*).

⁸ Хлебников В. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. Стихотворения в прозе. Рассказы, повести, очерки. Сверхповести. 1904-1922 / под общ. ред. Р.В. Дуганова; сост., подгот. текста и примеч. Е.Р. Арэнзона и Р.В. Дуганова. М., 2004. С. 242-279 (*далее – СС*).

⁹ а) В 6-м парусе один из исторических персонажей, появившихся в «душе Сына Выдры» – некий Самко, – выступает с короткой речью: «Я жертвой был течений розных, / Мои часы или раньше звёздных. / Заведен люд на часы. / Чашкой гибели весы / Наклонились ко мне, / Я упал по звёзд вине» (Творения, 452). В «Собрании сочинений» третья строка этого фрагмента исправлена – «Заведен люд <как> часью» (Т. 5, С. 277): конъектура не оправдана, так как в черновике ясно написано «на часью» (ОР ИМЛИ. Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1 об.).

б) В новом издании мы находим следующее объяснение имени Самко: «в Творениях, 1986, с. 693: полковник Переяславского казачьего полка, казненный в 1663 г. за предательство; возможно, имеется в виду Иван Сирко... поднявший неудачное восстание против гетмана Выговского, который, вопреки политике Богдана Хмельницкого на сближение Украины с Россией, принял сторону Польши» (СС, 5, 443). На наш взгляд, и это толкование, и предыдущие (то есть В.П. Григорьева в «Творениях» и Н.Л. Степанова в СП (2,

315)), не соответствуют смыслу реплики Самко. В одном из черновиков находим её более развернутый вариант: «Сам<о>. [Сердца следуя приметам / Я хотел быть Магометом / Кровью северных славян / В лагах был немой соперник / И в моих мечтах изъян / Мне поведал са<м>] Коперник / [Изъяснял <2 сл. нрзб.>] / Я жертвой был течений розных. / Мои часы шли раньше звёздных. / Заведен люд на часы / Чашкой гибели весы / Наклонились ко мне / Я упал по звёзд вине / Всё в своё время / Лило человечье [звёздное] бремя / На ранние плечи. / [Я восставал столько раз] /...» (ед. хр. 3, л. 1 об.). Эти строки проясняются в программной статье Хлебникова «О расширении пределов русской словесности» (1913), где он перечисляет ряд тем, нуждающихся, по его мнению, в разработке: «Само, первый вождь славян, современник Магомета и, может быть, северный блеск одной и той же зарницы, совсем не известен ей» (Творения, 593). Как здесь, так и в «Детях Выдры», Хлебников имеет в виду известного по «Хронике Фредегара» основателя первого славянского государства в VII веке. Об этом см., напр.: Кацис, Л. Ф., Одесский М.П. Идея «славянской взаимности» в творчестве В.В. Хлебникова и литераторов его круга // Изв. Акад. наук. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60, № 1. С. 26-28.

в) В примечаниях к 6-му парусу отмечается «многоголосие» соответствующих черновиков и упоминается, среди других персонажей, «король Жан Дарк» (мужская ипостась героической орлеанской девы) (СС, 5, 442). Данное толкование – результат неправильного прочтения черногового текста, где Хлебников создает необычное рифмующее слово: «Ж<ан> Д<арк>: Я Жан Дарк. / Карю» (Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 4, л. 3 об.).

¹⁰ В «Зангези» отдельные части Хлебников называет «плоскостями».

¹¹ Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия. набросок первый: Подступы к Хлебникову // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования. (1911-1998). М., 2000. С. 41 (впервые: Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. набросок первый. Виктор Хлебников. Прага, 1921).

¹² Кручёных А. Наш выход. К истории русского футуризма / сост. и авт. вступ. ст. Р.В. Дуганов; коммент. Р.В. Дуганова, А.Т. Никитаева, В.Н. Терёхиной. М., 1996. С. 128.

¹³ Там же. С. 222.

¹⁴ «Хлебников многократно перерабатывал свои стихи не только для того, чтобы придать им более “законченную” или “совершенную” редакцию, но и потому, что он ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс, как путь к созданию нового поэтического языка» (Харджиев Н., Тренин В. Ретушированный Хлебников // Харджиев Н.И. Статьи об авангарде. В 2 т. / сост.: Р. Дуганов, Ю. Арпишкин, А. Сарабянов. М., 1997. Т. 2. С. 238-239)

¹⁵ ОР ИМЛИ. Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3.

¹⁶ Там же, ед. хр. 4.

¹⁷ Пометки Хлебникова: «I. Б[еседа Ганнибала и Сципиона]. II. Сп<ор Ганнибала и Коперника>. III. Тени. IV. Мысли» (Там же, ед. хр. 3, л. 5).

¹⁸ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 5.

¹⁹ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 6.

²⁰ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1; ед. хр. 6, л. 5 об.

²¹ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1. Прозанческий набросок 6-го паруса не датирован, но, скорее всего, возник почти одновременно со стихотворным.

²² Письмо сохранилось в моём личном архиве.

²³ Перцова Н.Н. О сценическом варианте «Детей Выдры» Хлебникова // Russian Literature. Amsterdam, 2001. Vol. 50. № 3. P. 307-317; Перцова Н.Н. Куда идёт слон из стихотворения В. Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» // Евразийское пространство. Звук, слово, образ. М., 2003. С. 359-370.

²⁴ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 6, л. 7.

²⁵ Перцова Н.Н. О сценическом варианте... P. 307.

²⁶ Там же.

²⁷ В своих статьях исследовательница приводит обширные отрывки из черновика; к сожалению, её транскрипция текста является далеко не полной (что отчасти объясняется характером черновика) и также содержит ряд ошибочных прочтений. Приведём несколько наиболее наглядных примеров. В статье «О сценическом варианте...»: а) «Несколько борзописцев человек с горькими лицами» (Л. 1) – должно



быть: «Несколько борзописцев человек с юркими лицами»; б) «а светописцы постоянно снимают» (Л. 1) – должно быть: «а светописцы поспешно снимают»; в) «...и видно, что они присоединяются к танцующим не стесняя их, любезно встречаемые хозяином “великолепно”, хозяйкой» (Л. 4) – должно быть: «...и видно, что они присоединяются к танцующим не стесняя их, любезно встречены хозяином в смокинге, хозяйкой»; г) «Это на экране видят из гроба в истории» (Л. 7) – должно быть: «Это на экране выхо^дят из гроба в ресторан». В статье «Куда идет слон...»: а) «Смоляной светоч вожатого с сн^опом <дыма> гаснет» (Л. 2 об.) – должно быть: «Смоляной светоч вожатого с седой бород^{ой} гаснет».

²⁸ Об экспедиции см.: Симаковский В.А. Экспедиция Г.Я. Седова к северному полюсу. Архангельск, 1912; Пинегин Н. В ледяных просторах. Экспедиция Г. Я. Седова к северному полюсу 1912-1914 г. Л., 1924.

²⁹ См., напр.: [Б/п]. Подробности возвращения капитана «Св. Фоки» с вестями об экспедиции Седова // Новое время. 1913. № 13479, 20 сент. (3 окт.). С. 2; [Б/п]. Подробности зимовки Седова // Новое время. 1913. № 13480, 21 сент. (4 окт.). С. 2; В.-ский. Вести об экспедиции Седова (корреспонденция «Нового времени») // Новое время. 1913. № 13481, 22 сент. (5 окт.). С. 6-7; [Б/п]. Из отчётов лейтенанта Седова // Новое время. 1913. № 13490, 1 (14) окт. С. 5; [Б/п]. Из отчётов об экспедиции лейтенанта Седова // Новое время. 1913. № 13492, 3 (16) окт. С. 5; Белавенец Н. Работы Г.Я. Седова на Новой Земле // Новое время. 1913. № 13555, 5 (18) дек. С. 5.

³⁰ Stedelijk Museum. Khardzhiev Collection, Box 136. Харджиевым текст не датирован.

³¹ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 6, л. 1 об.

³² См.: СП 5, 256-257.

³³ Ф. 139, оп. 1, ед. хр. 6, л. 5 об.

³⁴ Там же, л. 6.

³⁵ Там же.

³⁶ 5-й, 6-й вид – лл. 4-4 об.

³⁷ Сборник вышел в декабре 1913 г.

³⁸ Гриц Т.С. Проза Велимира Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова... С. 244.

³⁹ Там же. С. 245.

⁴⁰ Перцова Н.Н. О сценическом варианте... Р. 309.

⁴¹ Объяснение Н.И. Харджиева в его письме: «Теперь о “Выходе из кургана...”. В “конспекте” большая часть этого эпизода перечёркнута вертикальными линиями... это свидетельствует о дальнейшей работе над рукописью. Как известно, в печатном тексте от перечёркнутого куска не осталось ничего, кроме темы “прогулки” на самобеге (весьма завуалированной контекстом). Зато отброшенный эпизод был подвергнут переработке и в качестве отдельного произведения отдан А. Кручёных, который и напечатал “Выход из кургана...” в сборнике “Ряв!”» (архив автора статьи).

⁴² За гостеприимство и помощь, оказанные во время работы в Музее Стеделийк, я хочу выразить искреннюю благодарность куратору архива Харджиева господину Герду Имансе и его коллегам.

⁴³ Отдельная строка по-видимому вписана позже.

⁴⁴ Начальная часть слова утеряна.

⁴⁵ Вписано над словом «напоминает».

⁴⁶ Flaker A. Сверхповесть или сверхзрелище? (Пространство «Детей Выдры») // Russian Literature. Amsterdam, 2004. Vol. LV. № I-III. Р. 84. В своём аналитическом пересказе содержания сверхповести – изящном, как всегда – А. Флакер допускает ошибку в изложении событий 3-го паруса: человек, освобождённый «из гроба» «старым индийцем» – не «руссо», павший в бою «при походе Искандера, т.е. Александра Македонского» (Р. 79), но либо «ушкуйник», который, «грустно негодуя», зовёт «толпу друзей на помощь» (Творения, 433), либо – и это более вероятно – юный герой другого произведения Хлебникова, поэмы 1912 г. «Напрасно юноша кричал...». При создании этой поэмы поэт использовал исследования, посвящённые духовной и материальной культуре языческой мордвы и волжских булгар. См.: Баран Х. О некоторых подходах к интерпретации текстов Велимира Хлебникова // American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists. Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978. Vol. 1, Linguistics and Poetics / Ed. N. Birnbaum. Columbus, OH, 1978. Р. 117-119; Баран Х. О подтекстах, об источниках и о по-

этике Хлебникова // *Russian Literature*. 2004. Vol. LV. № I-III. P. 19-20. См. также СС 5, 439.

⁴⁷ Старкина С. Драма В. Хлебникова «Госпожа Ленин» в свете экспериментальной психологии В. Вундта: (к постановке проблемы «Хлебников и позитивизм») // *Russian Literature*. 1995. Vol. XXXVIII. № IV. P. 461-472.

⁴⁸ «Заметки по психологии», «К вопросу индивидуальной семасиологии» (ОР РНБ. Ф. 1087). Эти фрагменты публикуются в статье Старкиной.

⁴⁹ Ср.: Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990. С. 196-202.

⁵⁰ Евреинов Н. В школе остроумия: Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М., 1998. С. 281.

⁵¹ Там же.

⁵² Евреинов Н. Драматические сочинения. Т. 3: (Пьесы из репертуара «Кривого зеркала»). Пг., 1923. С. 33.

⁵³ Проблема творческих взаимоотношений Хлебникова и Евреинова нуждается в дальнейшей разработке (об одном аспекте этой темы см.: Баран Х. О Хлебникове: контексты, источники, мифы. М., 2002. С. 214-222). В амстердамском архиве сохранилась первая страница «весьма неточной» (Харджиев) машинописной копии рукописи Хлебникова «Непроизнесённая речь», посвящённой Евреинову. Согласно записи Харджиева, оригинал, находившийся у Н.А. Степанова, утрачен.

« Ш Ш К А Ф »

МАРИНА МАТВЕЕВА

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ

(Татьяна Аинова «Тайные Тропы», Киев. Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2015. Предисловие к книге)

*Тень от клёна и юный цветок со слезой,
белопёрое облачко лета,
мотылька трепыханье и арка борзой
в перелётном прыжке с пафлетта –*

*вы незримы в культурологическом сне,
столь любезном написанным плитам,
где планетка Земля, совершившись вполне,
обрела совершенство гранита.*

Это строки киевского поэта Татьяны Аиновой – одного из лучших, на мой взгляд, современных русскоязычных поэтов Украины, да и, думаю, куда более широкого масштаба. Почему выбраны именно эти слова? Если бы данный скромный труд был суровым литературоведческим разбором, подробно раскрывающим образный строй, метафорический ряд поэта, то начинать нужно было бы именно с подобных образов – философских метафор. Когда частное, точечное вливается в общее так тонко и естественно, что и метафорой не кажется вообще. Но у формата «Предисловие» нет такой задачи: распластать перед читателем анатомию души и психофизиологию языковых возможностей поэта (а я считаю, что языковые возможности поэта – это именно его психофизиология, нечто на генетическом или даже гормональном уровне, хотя духовного начала в этом тоже отрицать нельзя).

У предисловий цель другая. Может быть, ещё больше запутать читателя, увести его в поэтические джунгли автора книги по тропе чьего-то ещё личностного, субъективного восприятия, дать в понимании рассматриваемого поэта некую отправную точку, которая... не твоя! Чем же ценно это «не твоё», если у тебя есть право и обязанность

на собственное восприятие стихов? А тем, что даёт возможность взглянуть на поэзию не просто с разных сторон, но – с разных высот и глубин. Кто-то видит поверхностнее, кто-то – глубже, и не факт, что поверхностное восприятие – хуже и менее важно. Не факт и то, что глядя в глубину, ты видишь именно этого поэта, а не себя.

Поэтому здесь буду говорить о личном восприятии парадоксально близкого мне творчества Татьяны Аиновой, и это будут, в большей мере, интеллектуально-эмоциональные впечатления, вызванные её стихами, нежели филологический разбор. И вы здесь не найдёте заумных лингвистических терминов, которые часто нужны литературным критикам для того, чтобы казаться умными. Ну, разве что оный термин забредёт сюда случайно, сам же и вызванный к жизни семенами интеллектуального начала в стихах Татьяны.

Первое впечатление от её поэзии в целом – переливы. Причём не каких-то там банальных речек или водопадов, а чего-то очень городского: например, неоновых реклам в ночи или даже... подвижных билбордов, медленно (иной раз раздражающе медленно) или, наоборот, так быстро, что не успеваешь воспринять информацию, сменяющих свои изображения посредством переворачивания составляющих их полос. Но в билбордах картинок две, максимум три, а здесь их настолько много... Почему бы не сказать просто, что это напоминает киноплёнку? Нет, нужен город. Его пространство, атмосфера, дух. Его время, расстояние, сила. Автор – городская жительница, это ощущается в её творчестве явно. Несмотря на то, что чувствование ею природы, понимание психологии-философии жизнедеятельности растений, зверей, экосистем, стихий может потрясти, но и

эти углубления «тайными тропами» в первозданный мир происходят как бы «со стороны города» и с обязательным возвратом туда. Чувствуется это и в том, как она перестраивает в текст жизнь полиса в целом ряде социопсихологических стихотворений. И в том, как отзывается о селе (нежно, но снисходительно: «Когда бы я была от сей земли, / во всем сродни её красе-разрухе, / которую обсиживают мухи / и лаем устилают кобели...»). И в том, как расставляет по местам людей («Есть люди, чьи звонки всегда по вечерам – не в уши, а в сердца, не в офисы, а в спальни»). Причём, не статуйно, а очень подвижно, но движение каждого можно отследить, и в нём есть особый смысл и значение для общей картины мира поэта.

В женской поэзии обычно невозможно без ощущения хаотичности. Разум женщины очень подвижен. Он не столько способен охватить многое, сколько с лёгкостью перескакивает с одного на другое, иной раз не успев осознать сути того, где только что был, а уже и не интересно (Ницше писал о женщинах, что они – пена на поверхности моря и не ведают его глубин. Цветаева тоже писала о себе: «Я пена морская», – хотя, скорее всего, имела ввиду что-то другое). Очень часто это заметно по женским стихам, даже самым лучшим. Но... большая часть по-настоящему талантливо пишущих женщин-поэтов имеет мужское мышление. Или смешанное, от чего понимать их ещё труднее. Именно это, «смешанное», ощущается мною в поэзии Татьяны Аиновой.

Хаотичность многотемности имеется. Очень выражены также эмоциональные спады и подъёмы: как будто автор то мило гуляет себе по аллейке – а то вдруг прыгает через неизвестно откуда взявшийся костёр, причём то с разудалым «Эх, ма!», то со скептическим «Достали вы меня с вашими кострами», а то и не прыгает, а идёт на аутодафе, как покорившийся судьбе еретик, чтобы... в последний момент вырваться из пут и улететь в небо. Именно это появление «костров» и кажется на первый взгляд непредсказуемым и не зависящим от автора, будто даже несколько подчиняющим её себе, чему протестует ее душа.

*Что это было – так неотвратимо –
и не сбылось?*

Было ли, если ушло, даже дверью не скрипнув?

Все – осязанья, картины и темы,

нежность и злость –

к непостижимости той безнадежный постскриптим.

Но если приглядеться, то увидишь, что она вполне все это контролирует и даже наслаждается этой властью над случайностью; что все эти огни

выстраиваются в некую чёткую картину, символ, пентакль или круг силы, окружающий автора и делающий её неуязвимой. Ибо только с выработанной годами (на интуитивном уровне) способностью к неуязвимости можно так чувствовать и так писать. Подобная чуткость восприятия не обходится без внутренних жертв, а значит, нужно защищаться, «львам заговаривать зубы в расщелинах сада». И делать это философски и художественно. Самозащита поэта Аиновой строится из самих же ощущений охватывающего её во время огненного прыжка жара, а то и ожогов. Они тут же преобразуются из эмоции в мысль, слово. Но не застывают, а просто помещаются под стекло – и там продолжают свою насыщенную внутреннюю жизнь.

А для разнообразия нужно прыгать и через ручьи, и даже через грязные лужи, через горные пики и высотные дома, через провалы, через облака, а иной раз и через людей. Для того же – чтобы впитать их в себя и преобразовать в творчестве. Не «отразить», как расхоже пишут критики о поэтах, а именно преобразовать. Ибо когда превращаешь человека в трансметафору (как в стихотворении «К истории моего псевдонима»), то от самого человека там ничего не остаётся.

... нельзя быть как все при таком лице.

Для всех – монотонный бетонный провал,

где все в мельтешенье своём мертво.

С таким лицом не качают права.

С таким лицом не ездят в метро.

Таких не живописал Глазунов,

не удостоился Голливуд...

Был вывод абсурден, и этим нов:

с таким лицом нынче-тут не живут.

Эх, были бы мы на самом деле теми, какими пронзительно описывают нас поэты, особенно – влюблённые поэты! Но это вовсе не значит, что человек в стихе – это уже не он. Если тебя так воспринял поэт, да ещё и одаренный внерамочным миропреломлением, не кажется ли тебе, что Вселенная хочет донести этим до тебя, каким ты на самом деле и должен быть? Или хотя бы как должен себя понимать. До чего тебе нужно расти.

Хотя, конечно, в этом присутствует доля поэтического идеализма, но, читая стихотворения Аиновой, вы будете чётко ощущать, что уж она-то – не идеалистка. Или как минимум очень сильно пытается показать, что не такая. Этот лёгкий скептицизм присуц поэзии столиц. Там всем ужасно важно не казаться наивными, романтиками, детьми. Татьяна также не избежала этого, но... и это у неё глубинно: за лёгким флером циничности, придающей её сло-



ву иглоострый шарм, видится способность трезво всё это оценивать, видеть причинно-следственные связи возникновения подобного чувствования у поэтов, и не только у них.

Критики часто говорят о глубине в поэзии авторов. Но обычно – для красного словца, и это такое значимое больше для них, критиков, понятие остаётся нераскрытым. Не рискну утверждать, что у меня получится отворить его вполне, однако поделиться собственными ассоциациями о том, что такое глубина у Т. Аиновой, попытаюсь.

Она связана именно с мужской составляющей её мышления. Исследовательской. Смелой. Рисковой. Видится мне геолог, мужественно и стойко бурящий глубокую скважину в твёрдой породе в поисках полезных ископаемых – и вдруг проваливающийся в пустоту... прямо на подземный город, в котором обитает некая неизвестная нам загадочная внутриземная цивилизация (если Татьяной создана цивилизация рыб со своим духовно-философским началом в стихотворении «Памяти эпохи рыб», так почему бы не добуриться поэту и до гуманоидов, обитающих в мантии планеты?). «Геолог»-Аинова едва ли станет сразу проявлять назойливое любопытство к такой находке. Она сначала побудет наблюдателем, рассмотрит со стороны, проанализирует. И, скорее, не она познакомится с этими странными существами и подружится с ними, а они – с ней. Ведь им тоже интересно, а интерес она вызвать умеет. Это уже по-женски, а вот снова по-мужски: при этом для неё это приключение ничуть не отменит первоначальной цели – полезных ископаемых. Никакая отвлечённость (хотя таковых множество в каждом стихе) не заставит этого поэта забыть о том, что она изначально хотела сказать, и это наличие целевого стержня, весомого и зримого, создаёт ощущение целостности, необыкновенно важное для личности современного мастера слова. Если стихотворитель слишком оторван от земли, нынешнему читателю он не интересен. Если же совсем «земной» – то это вообще не поэт, пусть и пишет в рифму, и имеет сотни поклонников из «простых людей». Баланс между взлётной полосой и устойчивым фундаментом у Т. Аиновой заметен, и именно это – главная её загадка. Чёткая хаотичность, идеалистический скептицизм, и, я бы даже сказала, духовный меркантилизм. Последнее, полагаю, нужно объяснить. Обычно духовно-душевным людям свойственно раздаривать себя направо и налево в своих альтруистических порывах и творческих откровениях. Здесь не так. Татьяна тоже способна на подарок (точнее, дар) себя в слове, на полную отдачу и даже выворот души наизнанку, но не бессмысленно и беспощадно, иной раз (как всё та же Цветаева). И уж если вы этот дар

получите, то он станет для вас бесценным.

Может быть, это ощущение возникает от «слишком художественности» её поэзии, обилия образности. Однако никогда об этом не скажешь – «красивости», ибо они не поверхностны. Её образы – это не косметика на лице. Это переплетение лицевых нервов, тех самых, напрямую связанных с мозгом, которые создают выражение и мимику этого лица, имеющие куда большее значение в восприятии тебя, чем все подрисовки.

*Я не возьму ни луны дозревающий персик,
ни с путеводной звездой болевое колечко.
Только с изнанки небес всю бесчисленность песен –
вольной тоской исцелять и любовью калечить.*

Особо острохудожественно и с большой долей иронии раскрывается Аиновой тема женщины, всех её особенностей, тела, возраста, зависимости от социума и общественного мнения, от личной жизни и пережитых разочарований. Татьяна – одна из немногочисленных поэтесс, которые в таких сюжетах далеко не всегда прячутся за лирическую героиню, а умеют «показать на себе» – но не просто показать, а указать выход из всех этих выморочных в своей мелочности проблем. Её личный выход – творчество, круто замешанное на самодостаточности. Автор чётко отличает именно самодостаточность (когда человеку хватает своего внутреннего мира и развитости) от тупой женской одинокой мизантропии, когда сидишь и всех ненавидишь, от мужчин до детей и животных, и эта ненависть и есть то единственное, что тебя составляет. Впрочем, о последнем – всего один текст. Гораздо больше таких стихотворений, читая которые, ясно представляется пушкинская Татьяна (ассоциативность по имени) с её внутренней развитостью, размышлениями, прогулками, чтением, изучением библиотек, кабинетов, восприятием природы и вещей – благодаря чему, даже будучи одинокой, даже испытав удар по самолюбию, она осталась спокойной, как чистое озеро, и не опустилась до мелочности обиженной бабёнки-мстительницы.

Ну вот, опять: начинаешь о творчестве автора, а получается психология. Его или своя – уже не важно, потому что это переплетение двух Психей – и есть то, ради чего живёт поэзия. И, может быть, анализ слов, неологизмов, находок, авторского стиля и не нужен никому, кроме литературоведов, а с человеком нужно говорить по-человечески. Хотя написать филологическое исследование по стихотворному строю Аиновой будет интересно. Например, название книги «Тайные тропы» можно

толковать двояко: не только «тропинки-дорожки», но и «тайные образные средства» (тропика) – только для посвящённых, способных понять. Но здесь я намеренно не хочу вдаваться в мелочи – дабы не раздробить общей, по-настоящему грандиозной и одновременно хрупкой картины.

Хочется добавить, что это поэт, который вдохновляет на собственное творчество. Иногда её стихи читать больно, иногда хочется метаться, сомневаться... Иногда наоборот находишь опору. И не столько в каких-то жизненных ситуациях, из которых автор нашёл выход и делится этим с тобой. Этого даже не так и много в поэзии Татьяны. Здесь другое: интеллектуально-творческая опора, чувство, что не перевелись ещё у нас истинные поэты, не вымерли, как мамонты, за ненадобностью – самоизгоями из невыносимой для них бордюрной линейности «потребляемого» общества.

*Свой принцип неучастия в коллонтае
какими словесами оправдать?*

Когда читаешь стихи Татьяны Аиновой, мысль «и я так могу» преследует постоянно. Это очень хорошая мысль, хотя понятие «так» – на самом деле вовсе не относится ни к стилистике, ни к техническим версификационным моментам, ни даже к идеям. «Так» – это значит, что твои глаза зажигаются от того же, или подобного ему, света, что и у расстроившего тебя поэта.

Эту книгу – «Тайные тропы» – нужно отыскать в себе. Указывания и навязывания со стороны автора здесь вы не дождётесь. Чувство личного выбора этой поэзии сразу поставит вас на какую-то иную платформу, чем те, с которых отходят привычные нам всем поезда в обыденность. А вот куда ты с этой платформы уедешь... Сначала дождись поезда.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

О ПОЭЗИИ ЕЛЕНА ИВАНОВОЙ-ВЕРХОВСКОЙ

Созерцательная и порой взволнованная трагическая естественность осознания себя в мире и мира в себе – таково ощущение, возникающее от чтения «выборки» стихотворений Елены Ивановой-Верховской... Творческое «Я» этого поэта музыкальным ключом, таинственно тонкой недосказанностью напоминает эмоциональный ключ Арсения Тарковского...

В стихотворении «Ромбики стекол во все горизонты...» будто бы речь идет о фрагменте ощущений. В нём – осколок воспоминания, будто запомненный с детства – преломление света в стекле, в котором в контуре сирени обретает магическое волшебство образ бабочки. Но эта картинка – не сама по себе, а звучит трагической нотой расставания – с садом безвозвратного прошлого...

*Ромбики стёкол во все горизонты –
Дачной террасы крыльцо,
Помню сирени расплывшийся контур,
Если приблизить лицо,*

*Бабочки плен. II насквозь, и навывлет,
II не касаясь перил...
Вот и растались. Как выйдет, так выйдет
С парой раскрашенных крыл,*

*С этим, как ветки, поломанным светом,
Тем, что попал под раздел...
С этой поры не случается лето
Больше со мною нигде.*

Эта женственная, прочувствованная поэтичность, горечь сожаления о тревожно-далёком...

Думаю, такое поэтическое воплощение поняла бы и приняла Марина Цветаева, если бы ещё жила среди нас. Это у неё была ярко вспыхнувшая встреча, а потом и разрыв, расставание с Тарковским. В каждой жизни, а тем более в жизни поэта есть своё расставание. Оно может быть лёгким, как взмах крыла бабочки, а может быть горестным, как вздох души ощущающей над во многом смертным миром... Вышеприведенный текст, у Елены заканчивается так –

*Съехали, сгинули, не поделили...
Будто три жизни назад,
Под пирамидой солнечной пыли
Спит мой непроданный сад.*

В заключающем словосочетании, словоспряжении – «непроданный сад» эхом отзывается всё стихотворение и строится, возникает в чувстве читателя камертон цельности, досказанности, «спетости»...



Образ бабочки возникает и в другом стихотворении Елены – в её «Диалоге». С кем диалог? – с Буддой. Тот отпускает в северные поля, где не выживает даже зверь, бабочек. И просит у Будды – умерить совершенство своего творения и пожалеть души-бабочки, посланные выживать на Север взаимной человеческой охлаждённости нашего подлунного мира. А насчёт зверя сказано особенно проникновенно –

*Местных бабочек родина – Древний Китай,
Я давно наблюдаю за ними оттуда,
И, целуя у Будды одежды край,
Говорю, – Не пускай их сюда, не пускай!
Что их ждёт здесь, поля да простуда...
Совершенство своё, умоляю, умерь,
Здесь у жизни предел, не справляется зверь,
Даже зверь здесь теряет надежду,
Обращён то в еду, то в одежду...*

Елена Иванова-Верховская – из тех душ, кто верит нашим братьям меньшим, верит в их природу, в искренность их звериной привязанности к тому, кого полюбили... Она в реальной, не застрочной жизни домашним зверям, попавшим в беду в меру своих сил помогает выживать, окружает заботой и дарит кормом насущным... Душа не ощущает пустоты, когда творит доброе дело. Человек, лишь отдавая добро от души, становится причащенным высшим мирам, где живёт Свет...

Поэт пишет о душевно мёртвых, неспособных у состраданию, клоноподобных людях, о которых «Бог безумец» у Джебрана Халиль Джебрана говорит как о живых мертвецах, у них

в душах – вечная Зима, у них нет духовной Родины, своего Китая, их жизнь покрыта закатным инеем...

*Кроме клонов безумной твоей сафрани,
Им хоть стену построй, хоть отдай им ключи
Поднебесной, забудут и схлынут,
И по кругу уйдут без возврата...
Так, так, так, – улыбается Будда во мгле
И рисует улыбку его на стекле
Белый иней земного заката.*

Елена умеет в четырёх строках показать трагедию целого поколения тех, кто родился и осознал себя при советской империи, и жил, меньше заботясь о хлебе насущном, чем о внутреннем мире и о встречах-беседах – в мастерских художников, в дешёвых кафе. Общение тогда увлечённо доминировало над меркантилизмом очень частных, приземлённых интересов. Но мир изменился – стал в новое время буржуазен и Старуха Процентщица по Ф. Достоевскому, из «Преступления и наказания» стала воплощением скаредного эгоизма. Всё это закономерно, и оттого – «неслучайно»!..

*Жить собирались одним только духом,
По мастерским, по дешёвым чайным,
А победила всё же старуха,
Процентщица. Видимо не случайно!*

И в стихотворении «Белле», скорее всего, посвящённом надмирной и тонко-лиричной, всегда недосказанной Белле Ахмадулиной, тоже есть след таких «горестных замет» – «Нынче все научились забрасывать невод, / Жаден стал человек, не то, что когда-то...».



ПЕРЕВОД С РИМСКОГО

Шут,
раскинув руки с 2-мя подвешенными к ним скелетами и
тем самым олицетворяя слепую Фемиду, созывает народ

ПРОЛОГ

**ВХОД ЗДЕСЬ - СВОБОДНЫЙ.
ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ - БЕСПЛАТНА.
ЭТО ДЛЯ ВЫМЕРШИХ ДУШ ТАК ОТРАДНО!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!...
ЧТО ЕЩЁ НАДО!
В МИРЕ ТРАГЕДИЙ ЖИЗНЬ - БУФФОН АДА.**

ЭПИЛОГ

опять в Колизее готовят премьеру.
внутри всё смешалось: гориллы и ёети,
рабы и плебеи, матроны, гетеры,
суккубы, горгоны, гибриды всех видов,
индиго, их клоны и прочие ёети
по красной дорожке бездонной колонной
спешат на поклоны к известной персоне
по замкнутой зоне,
вокруг не глаза,
в печи Колизея -
в котёл Колизея,
А

в центре -
АРЕНА,

взбешённая глотка,
как жерло вулкана в своём пароксизме,
салютом на тризне, и сущь балагана -
кровавый бифштекс на живой сковородке,
живой синтетический Хаос музея...

**Аншлаг в Колизее!
Аншлаг в Колизее!**

арена глядит в небо осоловело
дырявым фасеточным глазом циклопа
и видит своё отражённое тело...
ещё биомасса себя не доела!
таков мир во время чумы, о Холопы!
здесь сходятся всех чуманоидов тропы,
и люди, как трудяги, и люди, как пища...
в их элалчных зрачках полыхают кострища,
шизоид коллективного разума пылуэт,
и сами глаза их - рык ламы, афиши
для общества истребленья - косеют:

**Аншлаг в Колизее!
Аншлаг в Колизее!**

perpetuum mobile здесь был посеян,
рвут, требуя жрелиц, кровавый бассейн!



и выскочил шут со словами Эзопа,
как двигатель вечный, ростками из гроба:

Аншлаг в Колизее!

Аншлаг в Колизее!

а мы соучастники и ротоэму
кровавой безвыигрышной лотереи,
мы копать вкушаем, мы слушаем топот,
живых не считаем и мёртвых не ищем,
и сами уже обряцаемся в пищу,
войдя в Калигулу и тотчас же выйдя...

в антракте
согласно контракту,
затихнут литавры над трупами,
умрёт над Ареной беззвёздное небо,
и чёрная память - дыра бесконечная -
напомнит туристам из мира загробного:
здесь был Колизей.

И нет Колизея.

и пепел спиралью, как снег-фарисей,
кружится над ним, застилая кровать,
в корпускулах тьмы перестав узнавать
и бывших врагов, и закланных грузей,
спадая без слов на багровый альков
всех цивилизаций, лежащих валетом,
согласно входным безысходным билетам...

*но вот закончился антракт,
и шут явил себя сквозь голограмму катаракт,
и повторил на бис:*

и вечный труп раскланялся в ответ,
гражайшей твари свой скелет,
свой неразменный приз, вручая вновь,
и тотчас над ареной -
опять кровавый дождь бьёт в барабаны,
циничный ветер запекает кантилены,
и реки-плакальщицы поят икебаны.
звучат фанфары, празднует Аншлаг.
и вновь грядущее встречает новый век,
со временем, увы, нисколько не старея:
как встарь, премьера года - в Колизее,
и мёртвые опять живых зовут,
на Страшный Пир в аншлаги Колизеев,
и все пока ещё живые - шут как шут.

**ЭТО, ТВАРИ, КОЛИЗЕЙ!
СОБИРАЙСЯ И ГЛАЗЕЙ!**

**ШЁЛ ПО УЛИЦЕ ПАРАД
МИМО ВАВ ПРЯМО В ВА...**

**ЭТО, ТВАРИ, КОЛИЗЕЙ!
СОБИРАЙСЯ И ГЛАЗЕЙ!**

**ШЁЛ ПО УЛИЦЕ ПАРАД
МИМО ВАВ ПРЯМО В ВА...**

**ЭТО, ТВАРИ, КОЛИЗЕЙ!
СОБИРАЙСЯ И ГЛАЗЕЙ!**

**ШЁЛ ПО УЛИЦЕ ПАРАД
ШЁЛ ИЗ ВАВ ПРЯМО В ВА...**

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 19.01.2016 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 24,0.
Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17